

157

ГРАНИ

GRANI

Г
Р
А
Н
И

1990

157

1990

Verlagsort: Frankfurt/M., Juli-September

”ГРАНИ”

Ежеквартальный журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической жизни. Проза, поэзия, очерки современности, философия, публицистика, литературная критика и пр.

Журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного слова, свободного творчества; способствовать публикации произведений, которые не могут быть изданы на родине из-за цензурных или политических ограничений. Из широко известных авторов в ”Граних” были опубликованы произведения:

А. Ахматовой, Л. Бородина, М. Булгакова,
И. Бунина, Г. Владимова, В. Войновича,
З. Гиппиус, В. Гроссмана, Ю. Домбровского,
Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина,
Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Куприна,
С. Левицкого, Н. Лосского, В. Максимова,
О. Мандельштама, В. Набокова, В. Некрасова,
Б. Окуджавы, Б. Пастернака, К. Паустовского,
А. Платонова, Г. Подъяпольского,
Р. Редлиха, А. Ремизова, Ф. Светова,
А. Солженицына, В. Солоухина, М. Цветаевой,
И. Шмелева, В. Шмельгина...



Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е. Р. Романов

Редактировали:

1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов, Б. В. Серафимов

1947 – 1952 Е. Р. Романов

1952 – 1955 Л. Д. Ржевский

1955 – 1961 Е. Р. Романов

1962 – 1982 Н. Б. Тарасова

1982 – 1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч

1984 – 1986 Г. Н. Владимов

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XLIV

№ 157

1990

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Петр АЛЕШКИН
Свобода, равенство, братство. *Главы из романа* 5
- Олег ЧЕРТОВ
Стихи 67
- Юрий КОЛКЕР
Стихи 76
- Михаил ЭФРОИМСКИЙ
Задание. Спасение. Однофамилец. *Рассказы* 81

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- Леонид РЖЕВСКИЙ
Встречи с русскими писателями (*окончание*) 111
- Мария ШНЕЕРСОН.
Трагедия сына века 147

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

- Ольга КЛИМЕНКО
Десять лет (*начало*) 178

ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

Свящ. Вячеслав ПОЛОСИН

Размышления о теократии в России (*окончание*) 229

В. В. БЫЧКОВ

Умозрения Павла Флоренского -
венец православной эстетики 258

ИСКУССТВО

Александра ОРЛОВА

П. И. Чайковский о музыке 283

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Валентина СИНКЕВИЧ

Петербургский период Георгия Иванова
(новая книга Вадима Крейда) 306

Евгений КРОХМАЛЬ

Размышления у разбитого корыта...
(о Л. Петрушевской и А. Кабакове) 311

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

318

Обложка работы художника Н. Мишаткина

Петр АЛЁШКИН

Свобода, равенство, братство*

3. Вторая печать

*И сидящему на нем дано
взять мир с земли.*

Откровение. Гл. 6, ст. 4

Когда же в следующий раз они встретились? В феврале двадцатого? Да, три года спустя. Наверное, сразу после того случая появился "позорный лист", и отправился Мишка вновь на германский фронт. Надолго исчез из деревни. А осенью восемнадцатого Егор Антошкин добровольцем ушел в Красную Армию. Да, встретились они в феврале двадцатого у церкви на сходе. Егор был в отпуске после ранения, а Мишка уволен из Красной Армии подчистую. Поговаривали, что купил он увольнительную у уездного военкома. Может, ввали, как проверить? Вернулся Мишка в деревню коммунистом

* Главы из нового романа (Книга I). - Р е д.

и сразу стал во главе сельской партячейки. Отец Егора, комиссаривший в Масловке при Временном правительстве, при Комбедах ушел в тень. Ни с какой стороны к беднякам его пристегнуть было нельзя, самостоятельный мужик, грамотный, крепкий середняк, но и к кулакам не прислонишь: батраков не держал, оба взрослых сына—красноармейцы. А когда Комбеды разогнали, его избрали в сельский совет рядовым членом. Хотели председателем, но он отказался: покомиссарил, мол, хватит, пусть молодые стараются.

Вспоминается, как сидели за столом, завтракали. Семья почти в полном сборе. Николая только нет, старшего брата, Деникина добивает. Зато жена его молодая, Любаша, за столом. Был Николай в отпуске осенью и женился. Живот у молодой снохи уже круглиться стал, выпирать. Младший брат, пятнадцатилетний Ванятка, вытянулся за эти полтора года. Такой же, видать, как и Егор, высокий будет, крепкий. Опора отца с матерью. Пушок золотится на верхней губе, а разум детский: увидел именную шашку у Егора, полдня из рук не выпускал. Вынет из ножен, прочтет вслух: "Е. И. Антошкину. За храбрость. Командарм Тухачевский", зачнет рубить воздух, вертеть над головой. Игрушку нашел.

Завтракали, как всегда, молча, неторопливо. Отец не любил суетни, разговоров за столом: будни. Это на праздник за столом и выпить и поговорить можно.

Вдруг на улице будто бы песня взвилась. Егор не донес ложку до чашки с кулешом, замер, прислушался. Точно. Молодой озорной

голос чисто и звонко выводил в морозном воздухе:

Тигры любят мармелад,
Люди ближнего едят.

А дальше с присвистом, с посвистом лихим, разухабистым, видно, не один был певун.

Ах, какая благодать
Кости ближнего глодать!

И подхватили дружно, ахнули, рванули на всю деревню задорные голоса.

Э-э-эх, рыбина-соломина,
Это все хреновина! Эх-ха-ха!
Елки-моталки -
Получай по палке!

Егор недоуменно взглянул на отца: что за архаровцы?

- Троицкий идет... - буркнул отец, тоже вслушиваясь, только настороженно. - Не дай Бог останутся... Хучь бы в другую деревню...

Он не договорил, перебила мать, закрестилась громко на иконы, под которыми сидел отец:

- Господи, Царица небесная! Николай Угодник, прнеси и помилуй!

Егор заинтересовался, отодвинул занавеску, поглядел на улицу. По дороге на белом коне неторопливо и важно ехал человек в папахе, в черном кожаном пальто с меховым воротником, весь в ремни затянут. Застыл в седле, не покачнется, словно срослись в одно целое белый конь и черный всадник. За ним человек

двадцать верховых. Они-то и пели. И трое саней. На одних, тех, что с высоким задником - пулемет.

- Почему Троцкий? - спросил Егор, возвращаясь на свое место за стол.

- Продовольственный отряд имени Троцкого... Марголинская песня, чёрт бы его побрал. Прости меня, Господи! - перекрестился отец размашисто и буркнул: - Ешьтя!

Не прошло и полчаса, как забарабанили по стеклу, закричали с улицы:

- Игнат, в сельсовет требуют!

Отец, хмурясь, стал собираться. Мать тревожно следила за ним.

- Не гляди, вернусь.

- Откажися от Совета, некогда скажи, хвораешь. Сил нету...

- Хватит. - Отец притопнул ногой, забивая глубже валенок в галошу. Нахлобучил шапку и направился к двери, но у порога обернулся, глянул на Егора: - Ежли на сход звать будут, неча ходить. Я - там! - И вышел, уверенный, что слова его будут выполнены.

Мать, горбясь в старой куфайке, вышла вслед за ним, принесла со двора, втокнула двух козлят. Они закричали, заблеяли тонко и жалобно, потянулись назад, к двери.

- Померзнитя, разорались. Малы еще, - прикрикнула мать на них сердито и ударила тряпкой. - Кыш!

Козлята отбежали от порога, застучали по полу копытцами. Любаша стала подталкивать их за печь, в закуток.

- Напоить скотину? - спросил Егор. - Ай рано?

- Ступай.

- Егорша, можно я еще шашку посмотрю? - попросил Ванятка.

- Неча! - закричала на него мать, словно радуясь, что есть на кого крикнуть. - Игрушку нашел! Намашешься еще, никуда не денисси!

Егор просунул железный прут в ушки лоханки с пойлом и приказал Ванятке:

- Берись!

Овцы и козы окружили их на варке, толклись суетливо вокруг, когда они несли лоханку на середину варка. Сбились вокруг, присосались к теплой воде. Егор любовно гладил старую крупную овцу по спине, по густой влажной и жирной шерсти, запорошенной мякиной. Знакомые запахи двора щекотали нос, заставляли улыбаться. Егор прошел в конюшню. Чернавка, рыжевато-черная кобыла, увидев его, оторвалась от яслей, от овса, фыркнула. Рыжий жеребенок встрепенулся, оглянулся на Егора большими любопытными глазами, прижался хвостом к боку матери.

- Кось-козь-козь, - позвал ласково Антошкин и протянул к нему ладонь.

Жеребенок ткнулся мокрым прохладным носом в пальцы. Егор потрепал его за уши, и жеребенок отскочил в угол. Антошкин похлопал, погладил по тугой спине Чернавки, приговаривая:

- Чернавка, Черनावушка, ешь, ешь, сейчас мы тебя поить будем...

Потом пошел к корове Майке. Приласкал, погладил и ее, пощупал вымя, подумал - хорошо причала, скоро отелится, и спросил:

- Что же ты припозднилась, а? Надо было в январе телиться...

Майка жевать перестала, глядела виновато и грустно своими темными глазами.

- Ничего, ничего, это я так... Малых детей нет, дождемся, потерпим, - успокоил корову Егор, взял вилы и крикнул брату:

- Ванятка, попой Чернавку с Майкой, а я навоз выкину!

Антошкин поддел вилами свежий пахучий навоз и кинул через плетень на улицу?

- Егорша, ты? - услышал он радостный крик и глянул через плетень. На улице стоял сосед Андрей Шавлухин, молодой парень, чуть постарше Ванятки. По проулку шло несколько мужиков по одному, по двое, но все в сторону церкви.

- Я, - отозвался Егор.

Андрей, хрустя снегом, подбежал к воротам.

- Здорово, когда приехал-то?

- Вчера вечером.

- Подчистую?

- В отпуск. Контузия.

- У него сашка от Тухачевского. Так и написано: за храбрость! - крикнул Ванятка радостно.

- Сиди, сашка, - передразнил, смеясь, Егор.

- Покажи, - загорелся Андрей.

- Иди в избу, - позвал Ванятка.

- А куда это народ попер? - спросил Егор.

- К церкви, на сход. Марголин сзывает, - ответил Андрей и побежал к калитке.

Егор с Ваняткой напоили скотину, вычистили двор и тоже собираться стали.

- Отец чо сказал? - заворчала на них мать. - Сидеть дома... Ай неслухи? Слова отца для них, как сорочий ор...

- Мам, чего ты сердишься? - обнял ее нежно

за плечи Егор. — Можно мне на народ посмотреть, ай нет? А Ванятка? Так без него сход не сход. Слово его будет решающим.

— Ага, — фыркала мать, но ласка сына ей приятна была. — Ты не лезь там... Слухай, а не суйся. Марголин-то враз стрелньёт. Для него стрелнуть в человека, как плюнуть. Надься приехал, выпорол Серегу Кирюшина да Митьку Булыгина. Не по ндраву ему высказались... Не суйся...

Егор надел шинель с широкими красными полосами на груди, буденовку. Он надеялся увидеть возле церкви Настеньку, хотя понимал, что надежда слабая. Что ей делать на сходе утром. Вечером и девки приходят, а сейчас...

Шел по деревне с ребятами, здоровался с мужиками, отвечал на расспросы, поглядывал то на церковь, где в ограде и на улице клубился народ, то на попову избу: не видно ли Настеньки. Не видать! Тихо у избы попа, вытянул шею с веревкой журавль у сизого зазеленелого сруба колодца, торчат деревья из сугробов под окнами. Подумалось: может, Настенька смотрит в окно и видит, как он неспешно шагает по лугу, высокий, ладный, серьезный, в длинной шинели, островерхой буденовке. Чуть поодаль от входа в ограду церкви стояли те трое саней продотряда, которые видел Егор в окно. На мордах лошадей мешки с овсом. Толпятся рядом красноармейцы. Егор хотел подойти к ним, но передумал. Всадников не видно, не видать ни белого коня, ни его хозяина. В гудящей, взволнованной толпе у церкви на Антошкина поглядывали, узнавали, подходили. Ванятка ни на шаг не отслонялся. Не отошел и когда друзья-подростки

позвали. Дверь в церковь закрыта, паперть пуста. Пальцы привычно сложились в щепотку, а рука потянулась ко лбу, перекреститься на Божью мать с младенцем над входом, но вспомнилось: нельзя, комсомолец, и Егор сделал вид, что поднимал руку, чтобы поправить буденовку.

Масловская церковь во имя Покрова Богородицы небольшая, но аккуратная, стройная, ухоженная, какая-то воздушная, голубовато-розовая, внутри теплая, уютная. Хвалят ее за это в округе. Много народу с соседних деревень на престол собирается. Престольный праздник в Масловке - Покров, глубокой осенью, когда дела все сделаны, хлеба обмолочены, провеяны, лишняя скотина продана.

- Идут, - колыхнулось по толпе.

Вдоль ограды быстро шагал черный человек маленького роста в затянутой ремнями кожанке, тот самый, которого видел Егор на белом коне. За ним гурьбой - трое красноармейцев и высокий парень в сдвинутой на затылок шапке. Егор узнал Мишку Чиркунова. Он сильно возмужал за эти три года: усы загустели, лицо будто копченое, задубело. Только близкопосаженные глазки прежние: озорные, веселые. Толпа молча и быстро раздалась, освободила проход к паперти. Невысокий черный человек, Марголин, оказался совсем юным мальчиком: носатый, краснощекий, кожа нежная, должно быть не бреется еще, но глаза стальные, злые. Егору показалось, что новые узкие валенки мальчика ужасно жмут ему ноги, вот он и мучается, злится на себя, что надел их. Шел он по проходу быстро, ни на кого не глядя, сжимал в руке плетку. Прошуршал снегом, проскрипел ремнями

и кожей мимо Егора и легко взбежал по ступеням на невысокую паперть. За ним три красноармейца и Мишка Чиркунов. Это шествие показалось Антошкину наигранным, неестественным. Мальчик играет роль.

- Товарищи! - круто повернулся, вскинул голову Марголин, крикнул зычно поверх голов крестьян. - Дорогие мои! Два года Красная Армия ведет непрестанную борьбу со всеми врагами трудового народа. Два года без устали отражает нападение своих и иностранных бандитов, стремящихся вернуть помещикам землю, капиталистам фабрики и заводы. Несмотря на все препятствия, до сих пор нам удавалось накормить, обуть и одеть доблестную Красную Армию, спасти от голода и холода население центра Советской России...

Суровый мальчик раскачивался, рубил воздух рукой с плеткой, поворачивал голову то в одну сторону, то в другую, но кричал поверх голов. Ни на ком не останавливал взгляд. Голос у него оказался неожиданно мощным, громким, зычным.

- ...Все, что нужно нашей героической Красной Армии - мы дадим! Без полной поддержки тыла Красная Армия не может вести решительной и энергичной борьбы с мировыми хищниками. Наш боевой девиз: всё для Красной Армии, всё Красному фронту! Чем скорее, тем лучше! Да здравствует всемирная пролетарская революция! Да здравствуют вожди Революции товарищи Ленин и Троцкий!

4. Третья печать

Имеющий меру в руке своей.

Откровение. Гл. 6, ст. 5

Марголин опустил руку. Народ молчал. На некоторое время наступила тишина. Слышно, как фыркнула лошадь за оградой, звякнула удилами. Марголин, видимо, не ожидал такой тишины, что-то вроде растерянности появилось у него в глазах. Егор стоял в первых рядах возле ступеней паперти и хорошо видел его лицо.

- Да, забыл сказать, - не громко и не столь торжественно, как-то буднично проговорил в тишине Марголин. - Вам нужно сдать дополнительно к продразверстке по двадцать одному яйцу с десятины, по двадцать пять фунтов хлеба и по двадцать фунтов картошки с едока...

Толпа охнула, колыхнулась, зашумела. Раздались крики:

- Почему?

- Мы выполнили!

- Все сдали!

- Тихо! - рявкнул Марголин. - Говорю, дополнительно и добровольно! В подарок Красной Армии!.. Говори по одному, и сюда! - указал он плеткой на паперть. - Я лицо контрреволюционера хочу видеть. Глаза в глаза!

Крики прекратились, но гул и ропот стояли. Охотников выйти на паперть не оказалось.

- Товарищ, товарищ, - заговорил негромко,

обращаясь к Марголину, дед в драной шапке, стоявший неподалеку от Егора. - Я спросить хотел...

- Поднимайся сюда, - приказал Марголин.

- Не, я отцеда, я не нащот Красной Армии... Она тоже исть хочить. Я нащот товаров... По указу обещано нам, коль мы разверстку исполнили, мануфактуры два аршину, карасину поболе двух фунтов на едока...

- Я понял... Какое число сегодня, знаешь? Двадцать седьмое февраля, а в указе сказано - выдать до первого августа!

- Ну-да, ну-да, - согласился дед. - Это карасин и мануфактура... Месяц исшел, а где жа четвертушка фунта соли, полкоробка серников. Каждый месяц обещано давать... Ты не подумай чаво, я не контрреволюция... Соли нету...

- Будет вам соль, в марте за два месяца получите... Ну так что, согласны сделать подарок Красной Армии? Давайте, по домам. И срочно сюда, к церкви, хлеб, картошку, яйца. И пять подвод, чтоб отвезти на ссыпной пункт.

- Не согласны! - выкрикнула какая-то женщина из задних рядов. - Нету хлеба! Вымели под гребло. Хучь с сумой иди...

- Почему в Киселевке по восемь фунтов хлеба взяли, а с нас двадцать пять? - с другой стороны взвился мужской голос. - Мы рази богаче? Где Докин? Почему его нет? Где Советчики? Мы их на чо выбирали!

Докин - председатель сельского Совета. Действительно, ни его, ни отца не было видно. Только теперь заметил Егор, что отца нет. Где он? Куда делся? Прояснил Марголин.

- Я арестовал ваш кулацкий Совет за контрреволюционную агитацию. Мы их будем судить революционным судом!.. Потому, прежде чем вы пойдете за хлебом, нужно избрать нового председателя сельского Совета. Я предлагаю кандидатуру Чиркунова Михаила Трофимовича! Кто против этой кандидатуры, поднимите руки! И повыше!

Егор оглянулся. Никто руки не поднял. Но один торопливый вскрик раздался:

- Не жалаем дезентира!

- Кто крикнул?! Кто? Выйди сюда, - шагнул к толпе Марголин. - Найти крикуна! - вытянул он руку с плеткой в ту сторону, откуда крик раздался.

Два красноармейца с готовностью, как гончи, завидев зайца, слетели с паперти, ввинтились в толпу, продираться стали в то место, откуда крикнули. Остались наверху вместе с Марголиным Мишка Чиркун и чернявый красноармеец с веселыми глазами. Он все время улыбался, шевелил густыми черными бровями, вскидывал их радостно иногда, словно был на спектакле. Мишка стоял рядом с ним и тоже посмеивался в усы. Не посерьезнел даже тогда, когда предложили его на место председателя сельского Совета.

- Здесь крикун! - донесся возглас из толпы. - Вот он!.. Сюда идите!.. Ага, он. Держи его, держи крепче...

Гул, шелест по толпе прошел. Красноармейцы тащили человека, и почему-то их сопровождал сдержанный смешок. Улыбнулся и Егор, когда увидел, кого тащат красноармейцы. В их руках бился, вертелся Коля Большой, деревенский дурачок. Он сопел, упирался ногами в снег, высу-

нув мокрый язык, сопатился. Красноармейцы подтащили его к ступеням, на паперть поднимать не стали. Поняли по смешкам, что не того взяли.

- Это ты крикнул? - строго спросил сверху Марголин.

- Ага, - радостно кивнул Коля Большой и провел рукавом по верхней губе, размазав по щеке соплю.

- А что ты кричал? Крикни-ка еще раз.

- Не жалаем дезентира, - гнусаво просипел Коля.

Снова смешки раздались.

- Отпустите его, - кивнул Марголин и зычно заорал в толпу. - Выборы состоялись. Большинством голосов председателем сельского Совета избран Чиркунов Михаил! А Совет он себе подберет сам. Теперь расходитесь. Жду вас с хлебом...

- Где мы его возьмем? Всё сдали!

- Товарищи! Я не понимаю вас, в Красной Армии ваши же сыны, братья. И вы не хотите, чтобы они были обуты, одеты, накормлены? Товарищ красноармеец, - вытянул руку Марголин в сторону Егора. - Да, вы, вы! Поднимитесь, расскажите, в каких условиях сражается Красная Армия! Идите, идите...

Егор смутился, оглянулся растерянно: отказаться?

- Иди, просють, - подтолкнул его кто-то сзади.

Антошкин нерешительно поднялся на паперть.

- Коммунист? - спросил у него вполголоса Марголин.

- Комсомолец...

- Ну вот и врежь им по-комсомольски!

Растерявшийся Егор стоял на паперти, глядел на молчаливую толпу и не знал, что говорить. Дрожь охватила его, словно внезапный озноб налетел. Лиц ничьих он не различал, сплошная масса.

- Расскажи, какова на фронте житуха, - подсказал сзади Мишка Чиркун.

- Да, жизнь на фронте не сладкая, - начал негромко Егор. - Пирогов в постелю не подают... - И запнулся.

Кто-то засмеялся в толпе, подковырнул ехидно:

- Оратель выискался!

Егор обиделся, разозлился, крикнул:

- Да, пирогов не подают! Да и постеля не каждый день бывает. Ляжешь у костерка на шинелюшку, да шинелюшкой и укроешься. И холод, и голод - все бывало. И под пулями, под пулями... - Он приостановился, перестал орать, сказал тише. - Без вашей помощи мы ничего не сделаем, не поборем белых хищников. Нужен хлеб, мужики, нужен...

- И нашим детям нужен! - крикнул дед в драной шапке, тот, что спрашивал, когда соль будет, и Егор узнал его: это был Аким Поликашин. - Нам тоже с голодухи пухнуть неохота... Мы с твоим отцом в поле хрип гнули, а Марголин прискакал - и под гребло. Мякину оставил! И ту забрать хочить... Ловок ты лялешничать!.. Нету хлебушка у нас, весь выгребли, пока ты сашкой махал!

Ничего не ответил Егор, хотел сойти с паперти, но Мишка ухватил его сзади за руку, приобнял, отвел за спину Марголина, который заорал яростно на Акима Поликашина:

- Ты мне контру не разводи! Выпорю!

- Зна-ам мы, скор на руку... Не думай, не век тебе царевать, дойдет и твой черед!

- Что-о! - шагнул с одной ступеньки Марголин к деду и обернулся, приказал: - Выпороть! Сейчас же!

Те два пса, что вытащили Колю Большого, снова с готовностью скатились с паперти, подхватили деда под руки, довольные тем, что теперь легко смогут выполнить приказ. Один из них поймал на лету брошенную Марголиным плетку. Антошкин смотрел, как деда кинули на скамейку возле куста сирени, где обычно отдыхали старушки после заутрени, содрали штаны, взвилась плетка, и багровый рубец проступил на серой коже старика. Дед дернулся. Снова взвилась плетка. А Мишка совершенно не замечал истязания старика, говорил Егору, что рад его видеть. Расспрашивал: совсем ли? Подошел Марголин, протянул Егору руку. Познакомились. Марголин похвалил за выступление, подбодрил: это начало, мол, научись, и он, когда в первый раз перед народом встал, язык проглотил. А теперь часами может беседы вести, да некогда, деревень много, а народ, вишь, какой - кулаки, добром не отдают хлеб, каждый фунт вышибать надо... И чернявый руку протянул, назвал. Звали его Максимом. Заместитель комиссара продотряда, то есть Марголина.

- Кстати, Егор сын Игната Антошкина, члена сельского Совета, - сказал Мишка Марголину с каким-то умыслом.

- Игната?.. Беспокойный мужик... - Марголин заметил, что Егор морщится, страдальчески смотрит, как извивается на лавке дед под кнутом, сказал: - Мужика пока не выпорешь,

он не поймет, что от него требуется... - Потом крикнул своим псам: - Довольно! - И заорал в толпу: - Сход закончен! В течение двух часов, чтоб каждый двор сдал яйца, хлеб, картошку... Найдете! А не найдете, я найду! Кто не привезет, пусть пеняет на себя!

Он повернулся спиной к крестьянам, глянул на Мишку:

- Пожрать надо сообразить что-нибудь... У кого, ты говоришь, сальцо есть, огурцы соленые? Давай, командуй, кто у тебя тут из ребят пошустрей?

Чиркун оглядел из-за его плеча расходящуюся толпу, позвал:

- Андрей, поди сюда.

Андрей Шавлухин, ожидавший вместе с Ваняткой Егора, взбежал к ним.

- Хочешь быть членом сельского Совета, а?

Серые глаза Андрея загорелись, губы не удержались, расползаться стали.

- Ага, вижу - хочешь... Ты комсомолец - справишься! Первое тебе задание: надо реквизировать у Алешки Чистякова соленые огурцы, так, так... - Чиркун посмотрел на Марголина.

- Пятьдесят штук, - бросил тот кратко.

- Пятьдесят штук огурцов и два килограмма сала.

- Мало, три, - подсказал Марголин.

- Три килограмма.

- У попа вот такие моченые яблоки, - выставил Андрей большой палец вверх.

- Молодец, соображаешь, - похвалил Марголин. - Сто штук. Скажи, реквизиция производится по указанию уездного Совета.

- А если не поверят?

- Скажи, распоряжение у Марголина, - он

поднял вверх плетку, — если сомневаются, сам заеду, покажу, неделю чесаться будут.

— А к яблочкам, естественно, — улыбался хитренько Андрей.

Максим захохотал, хлопнул по спине Мишку.

— Ну и орла ты выбрал! Парочку еще таких, и за Масловку я спокоен, — и обернулся к Шавлухину. — И это, ессено, да поскорей!

— У кого, у Ольки Миколавны? — смотрел Андрей на Чиркуна.

— Вонючий у нее, зараза... — У нее завтра реквизируем. Щас у Гольцова, у него почище и покрепче.

— Может, эта... Один я не донесу... Мне бы красноармейца... на первый случай, чтоб потом знали, а?

— Соображает, стервец, — улыбнулся в первый раз Марголин и повернулся к красноармейцам, поровшим Акима Поликашина. — Ребята, под его команду ровно на полчаса. Возьмите сани.

Крестьяне разошлись, очистили церковный двор, ставший сразу просторным. По ту сторону ограды поджидал Егора Ванятка.

— Идем с нами, посидим, полялешничаем, — удержал Антошкина Мишка.

Егор не отказался. Беспокоил отец. Узнать хотелось, что он наговорил им? Что с ним собираются делать? Отпустят ли? Может, за столом размягчают, уговорит он их, отпустят отца.

5. Четвертая печать

И дана ему власть... умерщвлять мечом и голодом.

Откровение. Гл. 6, ст. 8

Не успели из саней вылезти возле избы Чиркуновых, как услышали в притихшей деревне бодрое покрикивание, понукание, и увидели скачущую лошадь. Подождали у плетня. Андрей Шавлухин, стоя в санях, погонял лошадь, покрикивал. Оба красноармейца сидели сзади. Подскакали. Андрей улыбался во весь рот.

- Готово, - доложил он и взял у одного красноармейца четверть сизого самогона, которую тот держал под шинелью. - Вот оно, лекарство от всех скорбей.

- Ух ты, даже гармошка! - воскликнул Максим. - Ну ты, брат... - И не нашел достойного слова - похвалить.

В маленькой избенке Чиркуновых сумрачно. Стекла обоих окон затянуты толстым слоем инея. Отец Мишки, Трофим, худой мужик со спутанной бородой, увидев четверть, закричал на печи, развернулся, выставил зад в заплатанных штанах. Нащупал голый ногой гарнушку и, держась за грядущку печи, спустился на пол. Надел валенки с дырявыми носами.

- Чего ты не подошьешь? Палец отморозишь? - указал на дыру Андрей Шавлухин.

- А-а, - махнул вяло рукой Трофим. - Некогда.

- Весь день на печи, а некогда? - засмеялся Андрей.

Закурили разом, глядя, как мать Мишки, высокая сутулая баба, складывает в глубокие глиняные чашки яблоки, огурцы, как Трофим, кряхтя и покашливая, режет сало, хлеб. Комната быстро наполнилась дымом. Но его не замечали в сумраке, пили, ели, обсуждали — удастся или не удастся выколотить из мужиков хлеб с картошкой. Егор молча слушал.

— Загнул ты с двадцатью пятью фунтами, — сказал Чиркун Марголину. — Многовато. Скости... Хотя бы пятнадцать или на худой конец двадцать.

— Отступать не буду... Увидишь — привезут.

— А с Советом что ты хочешь делать?

— С Советом? Погляжу, — хмельно оскалился Марголин. — Еще не придумал, — и взглянул на Егора: — Не бойся. Оставлю я в живых отца... Но угомонить его надо. Слишком неугомонный. Много еще хлопот Советской власти принесет...

— Я враз угомоню, будь спокоен, — ухмыльнулся Мишка.

— Эх, зарубку я им на память сделаю! — воскликнул Марголин, видимо, решив, как быть с членами сельского Совета. — Узнают, как Марголину перечить!

Андрей Шавлухин, улыбаясь, прислушивался к разговору, а сам потихоньку тянул гармошку туда-сюда у себя на коленях.

— Чего ты пиликаешь, — глянул на него Трофим. — Играть так играй бодрей.

— Максим, рвани-ка! — подмигнул своему заместителю Марголин.

Максим взял гармонь, подергал, приноровливаясь к ней. Сразу обнаружил, что два клапана западают, меха худые — воздух шипит.

Но неважно, не на сцене, и заиграл уверенно и громко, запел. Егор узнал его высокий голос. Это он утром пел о том, какая благодать кости ближнего глотать.

- Крутится-вертится шар голубой...

- Эх-да! Крутится-вертится да над головой,
- пел Максим.

- Брось! - остановил его Марголин. - Давай лучше "Цветы ЧеКа". - И объяснил всем: - Мне его из ЧеКа дали. Марголину кого попало не дают. Знают... Мне Гольдин, наш губпродкомиссар, наказывал: не жалея родных мать-отца, когда задания партии выполняешь! И я не жалею.

Максим с шипением сдвинул меха гармони и запиликал, запел, играя своими черными бровями.

На вашем столике бутоны полевые
Ласкают нежным запахом издавека,
Но я люблю совсем иные,
Пунцовые цветы ЧеКа.

Максим пел озорно, легко, вздергивал черную бровь, подмигивал Андрею Шавлухину, который влюбленно улыбался, глядя, как он играет, как поет.

Когда влюбленные сердца стучатся в блузы,
И страстно хочется распять их на кресте,
Нет большей радости, нет лучших музык,
Как хруст ломаемых и жизней и костей.

Вот отчего, когда томятся ваши взоры
И начинается страсть в груди вскипать,

Черкнуть мне хочется на вашем приговоре
Одно бестрепетное: "К стенке! Расстрелять!"

- Ловко, а! - захохотал Андрей восторженно, налил полстакана и протянул Максиму. - А с каких лет ЧеКа на работу примаает?

- В ЧеКа с улицы не берут, - взял стакан Максим, держа гармонь на коленях. - Нужны заслуги перед партией, народом. Поработай в Совете, поглядим, может, и ты удостоишься доверия.

Поговорили еще немного, и Марголин поднялся: пора дело делать, день короткий. Показали назад, к церкви. Сани постукивали, подпрыгивали на ухабах, шипели по накатанной дороге. Сытая лошадь помахивала хвостом на бегу, попеременно показывала желтые подкованные копыта, бросалась снегом. Еще издали увидели возле ограды двое оставшихся саней, да отряд красноармейцев рядом. Никто из крестьян не привез ни фунта.

- Твою мать! - ругнулся зло Марголин, снова входя в роль, хлестнул плеткой по задку саней. Блестящие глаза его остекленели. - Они запомнят, запомнят... Отряд!! Слушай мою команду! Разобраться по пяткам!.. Солодков, со своим пятком в Вязовку! Ужанков, на Хутор! Трухин, на Масловку! Ивакин, в Крестовню! Юшков, в Угол! Быстро по дворам! Кто не сдаст хлеба, забирать всю скотину: овец, коров, лошадей, и гнать сюда, в ограду, - указал он плеткой на церковь. - И быстро! Засветло надо сделать. Выполнять приказ!

Красноармейцы с сумрачными лицами зашуршали снегом, по пятеро двинулись в разные стороны деревни. У Егора тоже было тревожно

на душе, хоть и захмелел. Такое ощущение, будто ввязался он в неприятное, нехорошее дело. Он буркнул Мишке:

- Я пойду... скажу своим, чтоб сдали... - И не дожидаясь ответа, пошел следом за красноармейцами в Угол.

Мать по-прежнему была хмурая, сердитая. Она со снохой сидели на полу, на тряпках, щипали козу, лежавшую со связанными ногами между ними. Серый козий пух воздушной горкой возвышался на старой шали над приступкой. Сноха притихшая, молчаливая. То ли чувствовала настроение свекрови и не тревожила ее разговором, то ли мать успела отругать ее за что-то. Ванятки не видать. Услышав скрип двери, мать обернулась, сказала ехидно:

- Оратель заявился... Где отец?

Видно, кто-то, Ванятка или кто из соседей, сказал ей, что Егор выступал на сходе, и она не одобрила это.

- Арестованный... Со всем Советом... Отпустят.

Мать, сердясь, наверное, слишком большой клок пуха уцепила, рванула. Коза вскинула голову, закричала жалобно. Мать резко придавила ей голову ногой. Стукнули, заскребли по полу большие ребристые рога козы.

- Лежи!

Егор с виноватым видом, не раздеваясь, сел на лавку у двери.

- Мам, хлеб надо сдать... Приготовить. Щас красноармейцы привалять...

- У тебя он есть, хлебушек, ты и сдавай! - кинула мать. Она яростно рвала пух так, что бок козы дергался. - Щедрый какой... Где его взять-та. Сами одним кулешом перебиваемся...

За семенной браться? Пожрать, а потом зубы на полку? Так?

- Ничего рази нет? - тихо спросил Егор.

- Глянь поди в ларь... Пусто! До зернышка выгребли. Сроду такого не было.

- А как же быть? Они щас всю скотину заберуть, - пробормотал Егор.

- Как заберуть? Куда? Кто им дасть?

- Не спросят. Приказ Марголина... Собрать в ограду церкви и держать, пока не сдадите...

- Как же так? Майке телиться скоро...

- Вот и отелится... в снег. Да и с отцом как бы чего... если заартачимся...

С улицы шум донесся, крики, бляение овец. Егор выглянул в окно. Мать поднялась с пола, тяжело опираясь на колени, подошла, смотрела, как топнут в снегу по брюхо овцы, коровы, как кричит на кого-то невидимого из окна красноармеец, грозит винтовкой. Началось.

- Царица Небесная, Заступница ты наша, когда же кончится эта мука! - запричитала мать. - Господи, за какие жа грехи ты нас наказываешь! Чего жа мы сами исть будем, чем жа питаться? Святым духом...

Она, вытирая глаза, горбясь, двинулась в сенцы. Егор пошел следом. Когда разгоряченные красноармейцы, стуча сапогами, ввалились к ним, Егор с матерью взвешивали безменом рожь и ссыпали в мешок.

- Сами привезем, - буркнул Егор.

Не мог вчера представить себе он, входя в тихую, можно сказать, сонную деревню, что сегодня он увидит такое... Женские крики, взвизги под ударами плеток, мычание коров, утопавших в снегу, не понимающих, что от них хотят, куда и зачем гонят, хриплые голоса

овец и тонкие, испуганные коз. И это по всей деревне, со всех концов. Особенно шумно на лугу, у церкви. Все перемешалось здесь: овцы, лошади, люди, коровы, подводы. Кое-кто, как и Егор, наскреб оброк, сдавать привез. Очередь образовалась. Принимал и отмечал Мишка Чиркунов. Помогали ему Андрей Шавлухин и два таких же молодых паренька. Комсомольцы, догадался, Егор, будущие советчики. Мужики неразговорчивые, сумрачные. Пакостно и на душе Егора, так пакостно, что ни на кого смотреть не хочется. И непонятно — то ли он виноват перед мужиками, то ли они перед ним. Жалко мать, отца. Он-то уедет через десять дней в свою часть, на готовенькое, а они перебивайся. Егор сидел на соломе в санях, смотрел исподлобья, как заполняется скотиной церковный двор, как распоряжается там Максим, покрикивает на ребяташек, чтоб помогали загонять. Марголина не видно. Потом, когда пришли все красноармейцы, исчез и Максим.

Подводы, сгрузив зерно, картофель, яйца, отъезжали от Мишки Чиркунова. Мужики сразу оттягивали кнутом свою лошадь и мчались домой без оглядки. Только хриплые, густые голоса доносились: Но! Но! Зараза! — да шлепки кнутов по спине неповинной лошади, мерное постукивание сбруи да хруст снега.

Скотина в церковном дворе орала на разные голоса, топталась в снегу. Ворота закрыли. Вдруг от двора Федора Гольцова, где в его крепком сарае были заперты арестованные члены Совета, донеслись выстрелы, нестройный залп, какие-то крики.

— Советчиков расстреливают, — ахнул кто-то.

Егор, готовившийся сдавать дань, прыгнул в сани, круто натянул поводья, раздирая удилами рот Чернавке, развернулся и погнал по разбитой дороге ко двору Гольцова. Сердце его яростно рвалось в груди, грохотало: убьют отца, зубами загрызу! Подскакал, и в это время новый залп грохнул, оглушил. Егор увидел человек шесть красноармейцев возле входной двери в сени избы Гольцова. Они смотрели в сторону сарая и смеялись. Из-за сарая выскочил белый мужик в исподнем, в нижней рубахе и кальсонах. Бежал он по снегу босиком, держа в охапке полушубок, валенки и другую одежду. Егор не сразу узнал отца в этом ошалевшем мужике с растрепанной бородой. Узнал, кинулся навстречу. Отец шарахнулся от него. Антошкин поймал его за рубашку, обхватил сзади, потащил к саням, чувствуя, как он дрожит, сотрясается весь, усадил на солому, стал помогать натягивать валенки на ярко розовые мокрые ноги отца, укутывать в полушубок.

- Взвод! Пли! - услышал Егор и выпрямился, оглянулся на сарай, за которым что-то творилось. Треснул залп, раздался крик веселый: - Еще одну сволочь расстреляли! Тащи другую!

Егор, дрожа, кинулся туда, вылетел из-за угла и увидел, как от омета, засыпанного снегом, два красноармейца с веселыми лицами оттаскивали, волочили по снегу за руки мужика, который, как и отец, был в исподнем. Антошкин, не помня себя, бросился именно на этих двух красноармейцев. Почему-то всё зло, весь ужас расстрела сосредоточился на них. Ни пятерку бойцов с винтовками, ни Марголина, командовавшего ими, ни Максима у двери са-

рая - он не видел, подскочил, врезал одному бойцу в лицо, вкладывая всю силу. Тот не ожидал, упал навзничь, выпустив мужика. Егор сцепился с другим, оба покатались в снег. К ним кинулись, растащили. Егор извивался в снегу, бил ногами. Его скрутили, крича:

- Очумел, вахлак! Мы шуткуем! Смотри, очухался твой мужик. В омраке он, со страху! Вверх палили...

Антошкин перестал биться, сел в снег. Лежавший на спине мужик, которого тащили от омета бойцы, зашевелился, перевернулся набок. Он оглядел всех белыми, как у бельтюка, глазами, потом поднялся, опираясь голыми руками о хрустевший проминающийся снег. Шум возле сарая отвлек от него. Егор увидел, как в распахнутую дверь выскочил из полутьмы сарая Петька Докин, председатель сельского Совета, без шапки, с редкими короткими седыми волосами и широкой бородой. В руках у него - винтовка. Выскочил, ткнул штыком стоявшего у двери Максима, бросил винтовку и кинулся мимо сарая за омет. Максим шархнул от него назад, пяясь, ухватился за ствол винтовки, споткнулся о сугроб у стены и упал в снег. Докин, видно, не причинил ему вреда, сугроб спас. Максим вскочил сразу, перехватил винтовку за приклад и первым побежал за омет, за Докиным. Произошло это мгновенно. Все онемели, опешили. Егор, сидя в снегу, видел, как Докин выскочил из-за омета по ту сторону и по целику, по сухим будылкам, торчащим из сугроба, проваливаясь, прыжками помчался к катуху соседнего двора. Хлестнул за ометом выстрел... Максим стрельнул. А

Докин еще быстрее, еще энергичней запрыгал по снегу. Катух уже близко, в пяти саженьях. Над головой Антошкина захлопали, оглушая, выстрелы. Красноармейцы, кто стоя, кто с колена били по бегущему председателю. Перемахнуть через сугроб осталось ему и два шага до угла. Но упал на четвереньки в сугроб Докин, утоп обеими ногами, застрял, застыл на четвереньках. А выстрелы все хлопали. Оглянулся Докин напоследок и ткнулся седой бородой в снег.

Егор поднялся, дрожа и покачиваясь, побрел к саням мимо сарая. Внутри, в полутьме что-то делали люди, слышались негромкие голоса.

- Сердечником он их... Сердечник в сарае валялся. Ох, не заметили мы...

- Тащи их на свет!

- Теперь им все равно: что свет, что тьма.

- А может?..

- На можа плохая надёжа.

Навстречу Егору вытащили, положили в снег двух красноармейцев с пробитыми головами, с залитыми кровью лицами. Антошкин узнал тех самых псов Марголина, которые с такой охотой, разудало ввинчивались в толпу за Колей Большим, потом пороли дела Акима Поликашина. Один из бойцов вынес из сарая железный сердечник от телеги, кинул в снег рядом с убитыми. Егор не остановился, прошел мимо. Отец лежал в санях, на соломе, возле мешков с зерном, дрожал: полушубок и шапка его содрогались. Антошкин сел рядом, хлестнул лошадь.

6. Пятая печать

И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число.

Откровение. Гл. 6, ст. 11

Два дня отец не вставал с постели, отлеживался, думал. Тихо в избе было, говорили вполголоса, как при больном. На третий день, когда хоронили Докина, встал, молча собрался, пошел на похороны. Мать было заступила ему путь: не пушу. Но он глянул на нее, отодвинул. Она не стала упорствовать: Марголин собрал оброк и покинул деревню. Вернулся отец с поминок порозовевший немножко, хмельной. Взял кошелку, сам решил задать скотине корма на ночь. Егор помогал ему. Входя в избу за чем-нибудь, видел, как мать тревожно прислушивается, что делает отец в катухе, потом не выдержала, спросила, с тревогой и надеждой вглядываясь в лицо сына:

- Как он? Разговаривает со скотиной?

- Разговаривает.

- Слава те, Господи! - кланяясь иконам, перекрестилась мать.

За ужином отец сказал ей:

- Следить надоть - корова не ныне-завтра отелиться.

- Я заметила, - согласилась мать.

Больше за ужином слова не было сказано. Глухо стучали деревянные ложки об алюминии-

вую чашку да слышались прихлебывания. Отец, выйдя из-за стола, как обычно, три раза широко перекрестился, сел на сундук, стал вертеть сигарку, задумчиво уставившись в пол. Закурил от лучины, еле освещавшей избу, и поднялся, сказав вслух самому себе:

- Идти надоть...

- Куда эта? - обернулась от судника мать. Егор догадался, что она все время следила за отцом, прислушивалась.

- Недалёко.

- Сидел бы... Прищемил...

Отец не ответил, надел полушубок, шапку, достал потертые меховые рукавицы, на пороге приостановился, глянул на Егора, хотел что-то сказать, но промолчал, вышел.

Егор, не выходявший из избы три первых вечера своего отпуска, тоже потянулся к шинели. Надеялся увидеть Настеньку, может, придет на посиделки.

- А ты куда?

- На улицу.

- Какая тебе улица теперь? Не праздник, небось...

- Комсомольцы ничего не признают, - подержала мать сноха. - Песняка режут, как в праздник.

- То ж комсомольцы, - вывернула мать. - Анчутки проклятые, отродья анчихристовы!

- Мам, и я комсомолец, - сказал Егор.

Мать повернулась к нему, опустила руки. С тряпки, которой она мыла посуду, стекала, капала на пол вода. Егор засмеялся, подошел, обнял ее, прижал к груди, поглаживая ладонью по спине.

- Видишь, не все комсомольцы анчихристовы дети. Рази ты анчихрист, а я анчутка?

- Зачем ты? - жалобно прошептала ему в грудь мать.

- Мам, я за новую жисть воюю, а потом... потом буду строить ее, новую жисть.

- Кому она нужна такая жисть? Большакам-коммунистам? Рази власть дана, чтоб изгаляться над народом? Ежли они себя народной властью величают, должны народ защищать, а не измываться над ним... Видал, каково при новой жисти. Зубы на полку клади. Не нужна нам такая жисть!

- Мам, это сперва трудно. Сметем всех, кто мешает, и зачем жить по-новому.

- Охо-хо! Дай Бог, дай Бог... Но чо-то дюже не верится...

Звезды на небо крупные высыпали, перемигиваются. Снег бодрячком повизгивает под ногами. Хорошо шагать по вечерней деревне. Собаки то тут, то там взгавкивают. Окна изб в большинстве своем черны. Только кое-где теплятся, горит лучина. Керосина почти ни у кого нет. А у кого есть, бережет на черный день: время такое, что черные дни на пороге стоят. Облюбуют дом, только успевай отворять ворота.

- У кого ребята собираются теперь? - спросил Егор у брата, шагавшего рядом уверенно.

- Да все там же, где и вы собирались: то у Иёнихи, то у Парашки Богатовой, а када и Кланька Цыганочка пускает... Но боле у Иёнихи. По щепотке соли соберем, она и рада - неделю играем.

В этот вечер тоже у Иёнихи были. Но напрасно Егор жадно окинул взглядом девчат, когда вошел, напрасно вздрагивал при каждом

стук входной двери, не было Настеньки, не пришла. Дружков прежних тоже нет, все на фронтах. Или в бегах. Дезертиры по гулюшкам не шляются. Зимой, как отец рассказывал, взялись за них. Человек двадцать из Масловки выдернули, воевать отправили, а Пантелея Булыгина судили в Борисоглебске. Теперь в Тамбове в концлагере сидит. На пять лет определили. Сам сказывал. Видели его в Тамбове на станции, пути от снега чистил. Довольный. Лучше, чем на фронте кровь лить да мерзнуть... Не пришла Настенька, и Егор заскучал, засобирался домой. Ванятка умоляюще смотрел на него, просил побыть еще чуточку. Егор задержался чуток, посмотрел, как играют в "колечко". И больше не захотел сидеть.

Подходя к своей избе, увидели огонек в катухе и заторопились, заскрипели снегом резче.

- Где вас носить?! - заругалась мать, услышав их шаги в сенях. - Корова телиться, а они все разбежались. Ни отца, ни их...

Вошла она со двора с тускло горевшим фонарем.

- Опросталась? - схватил Егор старую деюжку с ларя.

- Не спеши, пушай оближет маненько, - удержала его мать, прикручивая фитиль, чтоб даром керосин не горел. - Обошлось вроде. Телочка, слава те, Господи!

Пестрый, белокоричневый теленок лежал на соломе, дрожал, раскачивал беспомощно головой. Майка стояла над ним и облизывала ему спину, выглаживала языком шерсть. Не подняла голову, когда вошли Егор с матерью и Ваняткой, осветили, только скосила глаз на них,

словно понимала, что новорожденного отнимут сейчас и увидит она его только весной, и продолжала торопливо исполнять свою нежную работу, лизать, гладить языком дрожавшего теленка.

- Майка, Маечка, - приласкала, поводила рукой мать по хребту, шее коровы, - намучилась бедная... Ну, хватит, хватит лизать. Мы телочку в тепло унесем. Там хорошо... Будем поить молочком твоим, холить будем, обхаживать... Бери, Егорка.

Антошкин обернул дерюгой мокрого теленка, обхватил руками и понес в избу, стараясь держать так, чтоб не испачкать в слизь шинель. Сноха уже приготовила за печкой под полатами угол, настелила соломы. Ягнята с козлятами путались под ногами, когда Егор нес в закуток телочку, укладывал, шуршал свежей соломой, поправляя неловко вытянутую заднюю ногу теленка.

- Лежи, лежи, сейчас согреешься, - приговаривал он. - Кшыть, любопытный! - шлепнул ладонью по мягкой кудрявой спине ягненка, отогнал. - Познакомишься, успеешь! Дай малышу отгреться!

Отца долго не было. Егор, лежа на полатах рядом с тихонько сопевшим братом, слышал, как вздыхала на кровати мать: беспокоится, не спит. Но когда отец пришел, слова не сказала, не спросила. Он помолился, пошептал, улегся в постель и вымолвил вполголоса:

- У Митьки Амелина были... Думали, как жить дальше.

- И чего ж надумали? - шепотом спросила мать. По ее тону легко можно было догадаться, что она не одобряет эти думанья.

- Жить так дальше нельзя..
- Не нам решать, - буркнула мать.
- Нам! Вот именно нам, - взвился, зашептал сердито отец.

Мать умолкла, и больше они ни слова не проронили.

Утром Егор вытянул из-под снега возле риги пучок длинных ровных ветловых прутьев, приготовленных загодя, осенью, оббил от снега. Принес в избу, кинул на пол, собираясь вершу плесть. Обруч он согнул еще вчера. Отец, задав корм скотине, освободился, сидел у окна на сундуке, листал школьную тетрадь.

- Егорша, ты вот что, - позвал он сына каким-то просительным, несвойственным ему, тоном, - глянь сюда. Ты грамоте шибко обучен, прочти, ладно ли мы написали? Можя, подправить что, переиначить?..

- А что это? - взял тетрадь Егор.

- Мирской приговор. Ныне примать на сходе будем. Вчера написали.

Егор сел на сундук рядом с ним, стал читать.

МИРСКОЙ ПРИГОВОР

Мы, трудовые крестьяне-земледельцы, граждане деревни Масловки, собравшись на сельский сход 1 марта 1920 года, постановили следующий мирской приговор:

Заявить правящему в России Совету Народных Комиссаров и ЦИК Советов, что мы ждали с падением старого царско-чиновничьего правления счастливой вольной жизни, а между тем, после недолгой передышки, видим, как в новом виде восстанавливаются все тягости и весь гнет старого строя.

Мы решили поэтому изложить все наши горести, обиды и жалобы по пунктам:

1. От нынешнего правительства нам была обещана земля без всякого выкупа. Но с тех пор в виде всяких

поборов, реквизиций, обыкновенных и чрезвычайных налогов, платежей, конфискаций, повинностей и нарядов с нас несколько раз выбрали выкупную цену, и все же земля ныне не наша, не народная; советские чиновники всегда, когда им заблагорассудится, могут отрезать ее, и действительно отрезают для разных коммун и советских хозяйств, в которых мы покуда не видим ничего, кроме безхозяйности и дармоедства, убыточных и для народа и для правительства.

2. Нынешнее правительство не сумело с самого начала провести по всей России правильное и безобидное распределение земли между нуждающимися в ней, и этим между нас создались земельные споры, неравенство и зависть, и отчуждение. А власти, пользуясь этим, то и дело вмешиваются в наши дела для разных перемерживаний, отрезок и прирезок без твердого и равного для всех закона, единственно по своему произволу. Поэтому ни у кого нет уверенности в завтрашнем дне, а без этого не может быть и правильного хозяйства.

3. В поставленных над нами властях мы почти не видим знающих и понимающих наше земельное хозяйство людей, а чаще всего встречаются никчемные, бесхозяйные, неумелые люди, настоящие никудышники, которые во все мешаются, все путают, злоупотребляют своей властью, не отдавая нам никакого отчета и не зная над собой управы. Никто их не уважает и настоящей властью считать не может.

4. Мы поэтому от властей не видим никогда нужной нам помощи в обсеменении, в продовольствии, в снабжении нас мануфактурой, керосином и солью, в обновлении нашего износившегося инвентаря; дорожное, школьное и больничное дело мы видим в полном забросе. Словом, нынешние власти нам бесполезны, и ничего, кроме поборов, понуканий, мы от них не видим.

5. За отбираемые у нас по твердым ценам плоды наших тяжелых трудов нам не только не поставляют по таким же твердым ценам городских товаров, но мешают их приобретать даже по вольным ценам. Хуже, чем в помещичьи времена, всю Русь перепоясали заставами и наводнили заградительными отрядами, о которых ничего больше не скажем, кроме того, что повсюду их называют заградительными отрядами.

6. Мы так замучены всякими натуральными повинностями, что зовем их старым именем барщины. Мы, труженики деревни, не отказываемся работать и на общегосударственные нужды, но только при условии, чтобы и наши нужды принимались во внимание госу-

дарством. А между тем, во всем государстве мы видим безурядицу и разруху, и прекращение правильного производства. Города переполняются людьми, живущими на казенном содержании либо совсем без дела, либо в суете вокруг пустого места, а содержать всех приходится опять-таки одной деревне.

7. А между тем мы видим, что всеобщая кормилица - деревня начисто отстранена от всякого участия в управлении государственными делами. То и дело выходят новые постановления, узаконения и декреты, но никто нас не спрашивает, удобны ли они для нас, и каково нам при них живется. Обрушиваются они на нас каждый раз, словно снег на голову, и никаких наших выборных людей заранее с ними не знакомят и об утверждении их не спрашивают.

8. Хотя и числится, будто бы у нас существуют нами самими свободно выбираемые советы, однако это одни слова: к нам вечно пристают с указкой, кого мы должны, кого не должны выбирать, и с угрозами и застраиваниями. Да и не стало охотников выбирать на общественные должности, потому что сверху не дают нашим выборным ничего делать, и теперь идут на общественные должности, как и раньше при самодержавии, неохотно, упираясь, словно отбывая тяжелую неприятную казенную повинность.

9. Еще мы видим большое зло в том, что всякому свободному человеку у нас теперь зажат рот крепче прежнего, а кто посмеет пикнуть слово против какой-нибудь несправедливости, - его тотчас хватают, увозят и неизвестно куда девают. Земля наша, как встарь, становится бессудной, и вместо правосудия в ней водворяется самоуправство.

10. Всего хуже приходится всем нам, простым людям, от господ в кожаных куртках, зовущих себя агентами чрезвычайных комиссий. Эти ведут себя с нами, словно завоеватели в покоренной стране, и от них никто не может чувствовать себя в безопасности. Над ними нет никакого закона, а их произвол - всем закон.

11. При таких порядках не диво, что везде идут разговоры о новом советском крепостном праве, и находятся даже такие, что жалеют о старом царско-помещичьем правлении. Мы, несогласные на возврат к прежней неволе, виним в этом не их. Виноваты те, кто, имея в своих руках власть, допустили столько стеснений и обид простого деревенского народа, что жизнь ему стала непереносимой. И вот теперь стоит появиться какому-нибудь лихому новому Деникину, как сейчас находятся столько недовольных нынешней вла-

стью, что начинается гражданская война, где брат идет на брата, сын на отца. Мы заявляем, что мы вконец измучены этой гражданской войной, залившей кровью наших сыновей и слезами родителей всю Россию, отнимающей от хозяйства лучшие рабочие силы и разоряющей все государство.

12. И еще под конец мы заявляем, что ждали после падения старого строя новой жизни и правды в людях, мы ждали, что сами сделаемся новыми людьми, отложим злобу и корысть, станем жить, как братья, по правде, совести и любви. Мы ждали, что новая власть будет в этом нами руководить, неся нам сверху только свет и показывая пример справедливости и правдолюбия. Но с горечью в сердце мы убедились, что сверху к нам несут произвол, стяжательство, презрение к жизни человеческой, насильственность и грубость. И вместо святой радости за торжество свободы и правды мы видим кругом во всех сердцах растущее ожесточение, огубление и горечь.

Таковы в двенадцати пунктах наши жалобы, обиды и неудовольствия. И мы в тревоге за будущее наше и детей наших. Мы боимся, что обиды и притеснения, которые терпит наш деревенский простой черный народ, приведут на Руси к новым, еще небывалым смутам, бунтам и кровопролитиям. И жалея кровь и жизнь человеческую, мы обращаемся ко всем братьям нашим крестьянам с предложением: обратимся все, как один человек, к нынешнему правительству. Оно называет себя рабоче-крестьянским, а потому не может и не должно желать сохранения своей власти против воли крестьян и рабочих. Пусть же оно обратится к народу, в один день назначит во всей Руси поголовную всенародную подачу голосов: кто одобряет действия Совета Народных Комиссаров, доволен его чиновниками и заведенными им порядками и желает оставления его у власти, а кто наоборот, не доволен им и желает, чтобы он сложил с себя власть и передал ее в руки народных выборных, чтобы учредить новую власть, учредить новое правительство и учредить новые порядки в стране. Стало быть, Народное Учредительное Собрание.

Если сам народ прямым поголовным голосованием решит, чему быть — больше никто спорить и прекословить не будет, и это положит конец всем смутам и гражданским войнам, иначе же кровопролитию конца не будет, и все мы захлебнемся в нем и погибнем.

Голосование должно быть закрытым, чтобы не было места никаким застрашиваниям, чтобы всякий подал

голос по совести, не боясь за это поплатиться. Довольно мы видели выборов и голосований, которые были не что иное, как сплошная фальшь и ложь, которыми окверняется завоеванная свобода.

Еще мы постановляем: обратиться к нашим братьям по труду, городским рабочим, с просьбой рассмотреть наш приговор и поддержать наши справедливые жалобы и требования, в особенности наше главное домогательство: проверочного всеобщего поголовного голосования по всей России, кто хочет оставить в руках нынешних Народных Комиссаров власть, и кто желает сложения ими власти в руки всенародных избранников. Бояться такого голосования или избегать его можно только тем, у кого нечистая совесть. Мы верим, что городские рабочие не захотят оказаться предателями против своих братьев, тружеников земли, и не положат начала братоубийственной вражде между городом и деревней.

Настоящий наш приговор постановляем послать в Совет Народных Комиссаров и в ЦИК Советов. А чтобы его не положили под сукно, копию постановляем послать людям, которых знает вся Россия: писателям Максиму Горькому в Петрограде и Владимиру Короленко в Полтаве. Ждем повсеместного присоединения к этому приговору крестьян и рабочих, а после этого поголовного всенародного голосования, которое решит судьбу России. Отказать в установлении такого голосования или не послушаться его могло бы только такое правительство, которое открыто является врагом народа.

Когда Егор читал, отец сидел рядом, глядел сбоку в тетрадь и шевелил губами, шептал, наверное, снова, в который раз, прочитывал про себя, повторял отдельные понравившиеся мысли.

- Ну как? - спросил он нетерпеливо.

- Тут у вас обращение к крестьянам других деревень, а как они узнают? Рабочие как?

- Если сход согласится, по деревням пойдем, читать будем... Сумлеваются кое-кто - надо ли? - вздохнул отец.

- Вот и я...

- Надо-надо! - перебил его отец, выставив бороду. - Моготы нет терпеть. И просвету

нету. Покуда весь народ слова не скажет, так и будет править лихо на Руси. Ежли власть трудового народа, пушай народ и правит, а не под Марголинскую плетку пляшет. Ныне решим, решим!

Мать встряла от судника, заговорила сердито:

- Ты чаво затеял? Мало вас Марголин учил? Чаво затеял-та? Сам, старый вергугуй, в петлю лезешь и сына тянешь. Сына не путай...

- Отвяжись! - отмахнулся отец, хмурия брови.

- Сына, говорю, не путай...

Отец, как обычно, не стал ей перечить, отвернулся к окну, делая вид, что не слушает ворчание матери, помолчал и снова глянул на сына:

- Ты зачем тада на паперть полез, а? Если б не расстрел, я б с тобой чикаться не стал, не одну б хворостину измутьызгал о хребет, не повадно чтоб было...

- Я не сам, вытянули, - буркнул виновато Егор, понимая, что не пустые слова отец говорит, действительно мог хворостиной отхлобыстать.

- Вытянули его... Головы нет? И с этим... Чиркуном не вожжайся, подальше держись. Никудышный он человек. Поплачет из-за него народ, ой поплачет... И эта... ныне на сход не вздумай явиться. Знай дело свое, ты отпускник, отдыхай, копи силы, а к нам не лезь. Ты отстал... оборкаться не успел, да и не к чему, тут без тебя жисть кутыркнулась, раздрызганная стала, все, как слепые посередь леса, один туды тянет, другой сюды. Никто не знает, где дорога, а все указывают. Иной, скорозе-

мельный, таким соловьем поет, точно, мол, знает, за каким бугром рай, заслушаешься, бегом бежать следом охота, а приглядишься...
- Отец махнул рукой. - Неча те делать на сходе, отдыхай. Сами как-нибудь разхомутаемся, с матерей будь... Вершу плети. Верша эт хорошо. Весной жрать нечего будет. Можя, рыбкой перебиваться будем...

Не пошел на сход Егор, хоть и тянуло послушать. Вернулся отец, когда стал меркнуть короткий день. Антошкин дергал крючком просяную солому из омета, набивал в кошелку, чтоб корове нести. Отец подошел веселый, возбужденный. Щеки малиновые, то ли от мороза, то ли от неостывшего волнения, кинул бодро:

- Приняли! Двое против пошли...

- Чиркун, небось, с Андрюшкой Шавлушиным?

- Точно! - Отец обернулся на быстрый приближающийся хруст снега.

К ним торопливо подтрусил Андрей Шавлухин, оглянулся с опаской, выпалил:

- Дядь Игнат, схорониться те надо, да поскорее. Стемнеет, запрягай лошадь и гони хоть в Киселевку. Только не ночуй дома! Ни слова никому, что я сказал... Только поскорее!

Андрей говорил, а сам крутил головой, не видит ли кто, что он разговаривает с отцом.

- Мотри-ка, напужал, чиленок! - засмеялся отец. - Прям трясучкой трясусь. Ай-яй-яй! Ухватистые вы ребята! Только и умеете тремуситься да болтать... Чаво смухордился, беги и скажи этому охломону - я в хоронючки с ним играть не собираюсь!

- Мотри, дядь Игнат, я как лучше хотел. Твое дело! - Андрей легко перемахнул через

сумет, провалился в снег, чуть не зачерпнул в валенки и выбрался на тропинку.

Антошкины смотрели ему вслед.

- Затевают что-то, - пробормотал Егор, чувствуя возникающее беспокойство. - Можя, лучше уехать?

- Пушай! Народ решил, не я... Пушай сами дрожать! Не буду я в хоронючки со всякой шелупенью играть. Пужать они меня вздумали!

Вечером ужинали при лучине. Пахло щами, свежим хлебом. Вся семья за столом. Каждый на своем законном месте. Только рядом со снохой место брата пустует, как будет пустовать место Егора, когда он вернется на фронт.

Не успели опростать чашки со щами, как дверь в сенях громыхнула, решительные и тревожные шаги затопали, застукали. Распахнулась дверь в избу, впусив клубы серого морозного воздуха, и из мрака сеней первым шагнул через порог плотный, в подпоясанном белом полушубке и белой шапке командир заградительного отряда Пудяков. За ним - Мишка Чиркунов и двое в шинелях: милиционер и волостной военком. Вошли гурьбой. Тесно стало в комнате.

- Хлеб да соль, хозяйева. - Пудяков снял рукавицы, потер свои темные от мороза широкие выступающие скулы. - Извиняйте, что прервали... За тобой мы, Игнат Лексейч. Народ баламутишь. Контрреволюцией занимаешься... Негоже так, негоже...

- И добром сдай тетрадочку! - строго приказал Мишка Чиркунов.

Он изменился за эти три дня. Стал чем-то

походить на Марголина, играющего роль вельможи. Может быть, взглядом. Решительнее стал, суровее.

- Все равно разыщем, отдай, - попросил Пудяков.

Мать окаменела с приоткрытым ртом, с испуганными побелевшими глазами.

Отец неторопливо вылез из-за стола, разгладил рукой бороду, распушил.

- Китрадку я сдам. Разыщите, верно... - смиренно пробормотал он.

- Ты всегда мужиком умным слыл, - без иронии сказал Пудяков. Он был родом из волостного села и давно знал отца.

- Сдать-то сдам, тока право за собой оставлю правду искать. До Москвы дойду, а узнаю, имеете вы право народу рот затыкать. - Отец вынул тетрадь из-под подушки. - Этот приговор мир вынес, трудовые крестьяне. Триста тридцать душ свой голос подали, а вы их за горло берете... Кабы сами не задохнулись от всевластья...

- Давай, давай, агитируй, - выхватил тетрадку Мишка. - Мы сами кого хошь сагитируем. Собирайся! Поедем!

- Куда жа на ночь-та, родименькие мои! - запричитала мать, вскакивая с лавки с мокрыми глазами. - Да в мороз такой!

- Глань! - прикрикнул строго отец. - Охолони!

- Игнаша! Чаво они с тобой исделают?

- Сядь... Вернусь...

- Ничего, тетя Глань, - протянул тетрадь Пудякову Мишка, - три года назад моя мать не так выла, когда твой муж меня арестовал, чтоб на германский фронт вернуть, милое ему

Временное правительство защищать. Как видишь, живой, не пропал. Вернется и Игнат...

Пудяков раскрыл тетрадь, подошел ближе к столу, к лучине, сощурился, вглядываясь в страницу.

- Тусменно как у вас.

- Када я комиссарил, карасину было хучь купайся в нем. А ваша власть довела, в лампу залить нечего... - съязвил отец.

- Не путались бы под ногами, все б было.

- Плохому танцору все мешает.

- Собирайся давай! Хватит язык чесать, - посуровел, нахмурился Пудяков. - До Заполатово путь не близкий.

Егор понял, что отца сначала повезут в волость, а потом уж в Борисоглебск. А может, и из волости отпустит. Приговор-то не отправил.

Но отец из Заполатово не вернулся. Кончился отпуск у Егора, поехал отмечаться в волость к военкому и узнал, что отца отправили в уезд, в Борисоглебск. Повез его Мишка Чиркунов с двумя красноармейцами. И вестей оттуда пока никаких нет.

Так и не увидел больше отца Егор Антошкин. Сражался с Врангелем. В мае тяжело ранен был. Отлежался в больнице, в Тамбове, получил справку в Тамбовском Окружном Эвакуационном пункте, что по случаю тяжелого ранения освобожден от несения военной службы от 10 июня 1920 года по статье № 26 Литер Д, и вернулся в Масловку. И только тогда узнал, что отец убит по дороге в Борисоглебск якобы при попытке к бегству.

[...]

16. Шестая труба

И не раскаялись они в убийствах своих.

Откровение. Гл. 9, ст. 21

Вторую неделю жил Егор в Масловке. Газеты писали, что армия Антонова разбита. Но газетным сведениям привыкли не верить: болтают большаки. О самом Степаныче ни слова не было: значит, ушел от Тухачевского, воспользовался кочками. Егор знал, что в Змеином болоте в больших кочках срезаны верхушки и выдолблены ямы, в которых свободно мог поместиться человек, спрятаться, пересидеть, если болото возьмут в кольцо. Пройдешь по кочке и не заметишь. Жив Степаныч, а армию ему собрать недолго.

Власть в Масловке, бывало, менялась на дня три раза: Алексей Чистяков, как посмеивались, не успевал алый красноармейский башлык и буденовку на стенку вешать или прятать в сундук.

Николай вернулся в Масловку еще в апреле, перед севом, когда амнистию объявили. Он стал сильно сутулиться, горбиться, смотрел исподлобья: взгляд всегда настороженный, угрюмый, стал еще более молчаливым, не покрикивал ни на мать, ни на жену, ни на Ванятку. Если что не так, глянет исподлобья, обожжет взглядом, и промолчит. Съежится, увянет сразу тот, на кого он взглянул.

— Уж лучше бы поругался, а то как бирюк,
— сокрушенно вздыхала мать.

Тишина в избе стояла жуткая, если б не Гнатик. Только ему одному позволялось шуметь, пищать, только он мог вымолить ласку у отца, только тогда видели домочадцы кривую улыбку на лице Николая, когда Гнатик сидел у него на коленях и вцеплялся в его давно нестриженную неухоженную бороду. В церковь не ходили — закрыта с весны. Отец Александр куда-то исчез вместе с попадьей. Утром однажды услышали соседи — ревет скотина во дворе попа, не кормлена, непоена, глянули — заперта дверь в дом, лошади с телегой нет, скотина вся на месте: и никто ничего не знает. Думали, вернется поп к вечеру, а нет: ни к вечеру, ни на следующий день, ни через неделю не вернулись, и весточки не подали. Исчезли напрочь. Скотину соседи разобрали, чтоб не подохла с голоду, надеясь вернуть попу, когда он объявится. Но до сих пор не объявился. Одни говорили, что попа ночью чекисты забрали, другие — зять прознал, что попов истреблять велено, и увез, спрятал тестя.

Большевистская ящечка распалась сама, когда власть перешла в руки Союза трудового крестьянства. Бывшие коммунисты остались в деревне, никто их не трогал, а одного из них, Дмитрия Амелина, избрали секретарем сельского комитета СТК. Но с возвращением Советской власти ему-то и поручили воссоздать партячейку в деревне. Удивились этому многие. Председатель СТК дрожал, ждал расправы, а его секретарь организовывал партячейку. Аким Поликашин сразу нашел объяснение этому, заявил об Амелине:

- Митька дошлый мужик! Чует мое сердце - на два хронта работал!

Вряд ли он был прав. Партячейка в деревне нужна. Тамбов спросит у Борисоглебска - почему нет? Кто берется организовать, тому и поручают. Митька, скорее всего, испугался - прижмут за связь с партизанами, и попросят. В этой мысли Егор укрепился, когда Амелин зашел к нему вечерком и спросил - не собирается ли он восстанавливаться в партии.

- А восстановят? - усмехнулся Егор. - Я, ить, ты слышал должно, у Антонова был...

- Приходи завтра к Кузичевым, поговорим. Придешь?

- Подумаю...

Не верил шибко Егор в бумажку Чиркунову, хотя и выручила она его однажды - показывал командиру красного эскадрона, занявшему Масловку. Командир покрутил бумажку, спросил, был ли у Антонова. Егор ответил, что был, а потом, мол, перешел к красным, кровь, вот, свою пролил. Командир взглянул на затянутое тряпкой плечо Егора и ушел, оставил в покое. Но думал Антошкин, что не дошли пока руки до него, дойдут, начнут разбираться, докопаться могут, кем он был у Антонова. Потому и затеплилось, засветлело в душе, после разговора с Амелиным. И он написал заявление о восстановлении в партии, покаяться.

Шел к Кузичевым, думая, если примут, значит, обойдется, не тронут его. А рука подзаживет, в Борисоглебск уйдет, там его не знают. Устроится как-нибудь. У Кузичевых в тесной избенке человек десять собралось, дымили, переговаривались, но не оживленно, сдержанно, как-то виновато-боязливо, с огляд-

кой, каждый боялся лишнее слово сказать: прежде чем рот открыть, долго думал — скажешь не то, а народ перевернет, переиначит, расплачивайся потом незнамо перед кем, то ли перед красными, то ли перед партизанами. Когда Егор вошел, устроился на лавке у стены, Дмитрий Амелин протянул ему две газеты "Известия Тамбовского губисполкома", попросил, указывая на напечатанные приказы:

— Прочти вслух, ты шибче читаешь — я по складам.

Егор взял газеты. Мужики молча, угрюмо смотрели на него сквозь дым. Керосиновая лампа желто освещала голые беленые стены избушки с низким потолком. Антошкин читал глухо:

ПРИКАЗ

участникам бандитских шаек

Ваш главный атаман Антонов понес полное поражение.

На этот раз его не спасли быстрые ноги награбленных коней. 2-го июля главные его силы — Вторая армия, в составе — 4, 14, 16 и частей других полков, всего в числе до двух тысяч сабель, бежавшие из-под реки Вороны, были настигнуты легким бронеполком у деревни Елани. Антоновцы были разбиты. В течение девяти дней неутомимого преследования бронеполк, при содействии красной конницы, отбил у Антонова все пулеметы, весь обоз, положил на месте до восьмисот человек бандитов, еще больше вывел из строя ранеными, рассеял остальных. Теперь остатки добиваются крестьянами по селам, вылавливаются в лесах. Сам атаман, раненный в голову, скрылся в какую-ир нору всего с десятком наиболее отпетых злодеев.

Кончил "гулять" Антонов. Железные кони Красной Армии взяли верх над награбленными конями белых бандитов. Они втрое быстрее самых быстроходных коней. Не уйти белым бандам от их погони.

Участники белобандитских шаек, партизаны бандиты, сдавайтесь. Или будете беспощадно истреблены. Ваши

имена известны. Ваши семьи и все их имущество объявлены заложниками за вас. Скроетесь в деревнях – вас выдадут соседи. Если у кого ваша семья найдет приют, тот будет расстрелян, и семья того будет арестована. Всякий, кто окажет вам помощь, рискует жизнью. Если укроетесь в лесу – выкурим. Полномочная комиссия решила удушливыми газами выкуривать банды из лесов.

Сдавайтесь! Руки назад вашим организаторам, командирам, ведите их в Красный штаб, сдавайте оружие. Советская власть будет милостива к вам, кто раскается и проявит свое раскаяние. Советская власть будет беспощадна к нераскаявшимся злодеям. Сдавайтесь!

11 июня 1921 г. г. Тамбов

Полномочная комиссия ВЦИК
Председатель: Антонов-Овсеенко
Командарм: Тухачевский
Предгубисполкома: Лавров
Секретарь: Васильев

– В Андрияновском лесу газ пустили – стадо коров подохло, – буркнул один мужик, не поднимая головы.

– Стадо чаво – наживное дело, – вздохнул Алексей Жариков, мужик лет сорока, бедный, многодетный; он сжулился на сундуке, опираясь локтями о колени, крутил в руках мятую засаленную кепку, говорил, ни на кого не глядя, смотрел в пол. Серая борода его рассыпалась на такой же серой рубаше с белыми пуговицами. – В Савино, гряд, человек двадцать задохлось, детишки, бабы... Ветер туда дул.

– Ладно, ладно, – перебил Амелин и кивнул Егору: – Читай другой!

ПРИКАЗ № 171

Начиная с 1-го июня, борьба с бандитизмом дает быстрое успокоение края. Соввласть последовательно

восстанавливает труд крестьянства и переходит к мирному и спокойному труду. Банда Антонова решительными действиями наших войск разбита и рассеяна, вылавливается по одиночке.

Дабы окончательно искоренить эсеров-бандитские корни в дополнение к ранее изданным распоряжениям, комиссия приказывает:

1. Граждан, отказывающихся назвать свое имя, расстреливать на месте.

2. Селениям, в которых скрывается оружие, властью Уполиткомиссии или Райполиткомиссии объявляется приговор об изъятии заложников. Расстреливать таковых в случае не сдачи оружия.

3. В случае нахождения спрятанного оружия расстреливать на месте без суда старшего работника в семье.

4. Семья, в доме которой укрылся бандит, подлежит аресту и высылке из губернии. Имущество ее конфискуется, и старший работник в этой семье расстреливается на месте без суда.

5. Семьи, укрывающие членов семьи или имущество бандитов, рассматривать как бандитские, и старшего работника семьи расстреливать на месте без суда.

6. В случае бегства семьи бандита, имущество таковой распределять между верными соввласти крестьянами, а оставленные дома сжигать.

7. Настоящий приказ проводить в жизнь сурово и беспощадно.

Прочсть на сельских сходах.

Егор дочитал и сказал:

– Подписано теми же: Антонов-Овсеенко, Тухачевский, Лавров.

– Да-а, круто! – снова вздохнул Алексей Жариков и зашевелился, разогнулся на сундуке. – Власть народная, милосердная и детишек в спокойе не оставляет... Не, мужики, вы как хотите, а я больше в этой партии состоять не жалаю. Пойду я... – Он поднялся и неторопливо, грузно, ни на кого не глядя, вышел из избы, прикрыл за собой дверь.

Его проводили глазами молча, угрюмо.

- А ежели партизаны озлятся и - так же с нашими семьями? - спросил тревожно тот мужик, который рассказывал, что в Андрияновском лесу коровье стадо газом отравили.

- Антонов не тронет, - уверенно ответил Дмитрий Амелин. - Он народ защищает.

- Эт народ! А вы, скажет, коммунисты, не народ: как вы с нами, так и мы с вами... Да и где он таперь Антонов, слышали, - кивнул он в сторону Егора, - ушел с кучкой... Партизаны таперь на кучки разбиты, каждый сам по себе. Тронуть их семьи, а они за наши возьмутся... Надоело в хоронючки играть. Спокою нет... Охота без заботы хлеб убирать! И я не жалаю в партию возврататься. Ну иё... Пойду... Не осуждайте...

Ушел и он.

- Кхек! - крикнул Амелин. - Ладно, это их дело. Пушай... Дело добровольное. А как нам решать? Как мы, эта, будем в партию возврататься, аль как? Заявления принесли?

Заявление Егора забраковали, сказали - лучше не писать, что он в партизанах был. В Борисоглебске не утвердят. Допросы начнутся, а там, глядишь, дознаются, что с самим Антоновым якшался.

- Чаво он там якшался, - возразил Амелин. - Сапоги чистил, нябось. Дюже важна птица!

И все же большинство решило выработать один текст заявления, а потом его всем переписать от себя. Написали, что сельская партячейка распалась, когда власть сменилась, но в душе они оставались коммунистами, и как могли помогали Советской власти укрепляться в деревне, а теперь просят восстановить их в

партии, выдать новые билеты. Избрали Амелина секретарем партячейки. А утром он повез заявление и протокол собрания в Укомболь в Борисоглебск. Вернулся через три дня. Утвердили всех, кроме Антошкина.

А спустя неделю по приказу Тухачевского с Масловкой, как и с другими деревнями, расправилась Красная Армия.

Помнится, Илья Эскимос забежал утром к Антошкиным встревоженный.

- Войска какие-то округ Масловки. По виду - красные. Ты не слыхал? - глядел он своими серыми мутноватыми глазами из-под русого чуба на Егора. - Чей-та они?

Антошкин ничего не знал. Вышли на улицу, направились с Эскимосом к Семена Петрова двору, к озеру, откуда с кручи хорошо просматривалась дорога до самого Киселевского бугра. И точно. С Киселевки по дороге двигался большой отряд конных. В этом не было бы ничего удивительного, часто как раз оттуда, со стороны Кирсановского тракта и появлялись отряды. Но конные всегда шли быстро, а эти не торопились, как будто чего ждали. И левее, на бугре за озером, виднелись солдаты, пешие, стояли кучками: и в Устиновом овраге расположились бойцы. Явно видно было, что Масловка окружена полукольцом красных войск. Есть ли войска со стороны Коростелей, Скорятниевки и Шпикливки, - отсюда не увидишь.

- Чей-та опять затеяли, а? - спрашивал Илья тревожно, щурясь на ярком утреннем солнце.

Тревожно стало и Егору. Тревожно шумел ветер, трепал ветки высоких ветел, шуршал соломой крыши избы. Антошкин, бодрясь, ответил:

- Что ты взгалчился? Ты ж Антонову не помогал?

- Ну да... А Иван где?

Иван - младший брат Ильи.

- Он у Антонова? Ты говорил - в Курске?

- Ну да, в Курск уехал... Но докажи им, скажут в партизанах. Документа нету... Объявят семьей бандита и - в концлагерь, в Борисоглеб. А то и шмальнуть, как старшего в семье. Скорые на это... Хорониться надоть... А схоронишься - найдут, без разговору шпокнуть.

Красные все чего-то ждали, потом от конных отделился отряд и стал быстро приближаться. Егор с Ильей не решились дожидаться, разошлись по своим дворам. Лучше не попадаться на глаза.

Антошкины все собрались в избе, притихли, как во время грозы. Даже Гнатик присмирел на коленях у Любаши. Николай сидел у окна на сундуке и, выставив бороду, косился, глядел на дорогу, ждал, когда появится отряд. Возле него билась о стекло, жужжала муха. Николай вдруг отшатнулся резко: из-за угла неожиданно выскочил всадник, осадил коня у избы и застучал рукояткой плетки по стеклу, наклоняясь с коня, чтоб заглянуть внутрь. Увидел Николая, крикнул:

- Хозяева, все на сход! все! И мужики, и бабы! Проверим: кого найдем, пеняй на себя!

Круто развернул сытого, помахивающего хвостом пегого коня, взмахнул плеткой, ускакал.

Братья переглянулись.

- И мне, что ль, идить? - недовольно буркнула мать. - Сроду я там не была.

И не пошла, осталась с Гнатином.

Шли вчетвером мимо поповой избы. Егор косился на угрюмые пустые окна. Зброшенный двор заростал травой. Лебеда вперемежку с крапивой закрывали завалинку, тянулись к окнам. И возле ступеней крыльца поднялись заросли. Сразу видно — покинутый дом.

У церкви на лугу многолюдно, так многолюдно, как никогда не было. Картузы, кепки, платки разноцветные: белые, в горошек, серые, черные. Многолюдно, но нет обычной в таких случаях галды, смеха, суетни. Мужики насто-роженные, бабы хмурые, разговоры приглушен-ные. Даже ребята не снуют под ногами, не бегают, не кричат. Тут же на лугу в сторонке от толпы — эскадрон китайцев в буденовках. Многие из-за малого роста кажутся подрост-ками. С коней не сходят, к толпе не приближа-ются, тоже насто-роженные: посматривают, по-блескивают черными узкими глазами. Рядом с эскадроном три тачанки с пулеметами. Пуле-метчики и кучера белокурые, с загорелыми лицами, крепкие синеглазые ребята. Все худо-щавые, длиннолицые, словно их нарочно подо-брали так, чтоб они походили друг на друга. Латыши. Если китайцы держатся сторожко, рук с шашек не снимают, то латышские стрелки, несмотря на то, что к толпе они ближе, чем эскадрон, беззаботны на первый взгляд, про-гуливаются возле тачанок, переговариваются на своем языке, пересмеиваются, поглаживают по бокам коней, похлопывают ласково. Кони раз-нузданы, уткнули морды в траву, жуют, из-редка передвигают тачанку на шаг.

Наконец появились комиссары. Шли гурьбой, быстро, деловито. Выделялся среди них высоким

ростом Мишка Чиркун. Он как и все в кожаном картузе, тужурке, перетянутый, перепоясанный. Держался чуточку позади невысокого лобастого комиссара, который резко и как-то сердито выбрасывал вперед короткие ноги, словно старался шагнуть как можно шире, опасаясь, что его обгонит длинноногий Мишка, и никто не поймет, что он здесь самый главный. Дмитрий Амелин виновато и как-то побито ковылял сбоку. Лобастый комиссар подошел к тачанке, вскочил на железную подножку и оглядел толпу. Кожаная тужурка обтягивала его толстенькое тело так, что казалось, повернись он резко - брызнет по швам. Шея короткая, жирная, переходила в круглый, обозначенный морщиной, подбородок.

- Хряк, - бормотнул кто-то тихо позади Егора.

Чиркун остановился рядом с тачанкой. Лобастый только на вершок возвышался над ним. Вероятно, решив, что он не совсем на виду, лобастый влез на тачанку, повернулся и зарорал поверх голов сиплым голосом:

- Граждане сельчане! Я - представитель Уездной политической комиссии, объявляю Масловку на время операции по очищению от бандитизма на осадном положении. Масловка оцеплена. Въезд и выезд на время операции запрещен! Все, кто попытается бежать из нее, будет расстрелян на месте. Командовать операцией будет командовать ваш односельчанин Чиркунов Михаил. Ему слово!

Мишка поднялся только на подножку. Серьезный, возмужавший или, вернее сказать, суровый, мужественный: всем видом своим он показывал, что на него Советской властью

возложено ответственное дело, и он его выполнит, даже если на пути встанет родной отец.

- Односельчане! Родные мои! - Голос у Мишки окреп, уверенный, твердый, стал чем-то напоминать Марголинский. - Помогите нам очиститься от бандитской скверны, помогите раз и навсегда вырвать семена зла! Довольно удобрять кровью матушку-землю! Она уже захлебывается нашей кровушкой. Будьте благоразумны! Выполните добровольно приказ нашего легендарного командарма Тухачевского, и мы оставим Масловку в покое. Слушайте приказы! - Мишка зачитал, произнося громко и отдельно каждое слово, приказы, знакомые Егору. - Исходя из этих приказов, вы должны немедленно, в течение двух часов выдать всех бандитов, скрывающихся в Масловке, сдать все оружие, а также сообщить, кто еще скрывается в банде. Все бандитские семьи должны быть арестованы, а имущество их конфисковано! Я знаю, вы скажете - нет оружия у вас, нет бандитов. Есть! Есть и оружие и бандиты! Сейчас согласно приказу Полномочной комиссии ВЦИК, мы отберем шестьдесят заложников, и если вы через два часа не выполните наши требования, они будут расстреляны! Амелин! - махнул Мишка скукожившемуся возле лошадей секретарю партячейки. - Иди сюда. Читай список!.. - И снова заорал в толпу. - Все, кого он назовет, - сюда! - указал он в пространство между тачанками и эскадроном.

Егор стоял неподалеку и видел, как подрагивал, трясся листок в руках у Дмитрия Амелина.

- Читай! - приказал властно Чиркун.

- Антошкин Николай, - прослюнявил, первым назвал брата Амелин дрожащим голосом.

- Да громче ты!.. Корова, что ль, язык отжевала, - прикрикнул Мишка и поманил пальцем Николая. - Иди, иди сюда!

Егор думал, что теперь вызовут его, но Амелин погромче прочитал:

- Булыгин Микит, - но все еще дрожащим голосом.

- Булыгин! Есть Булыгин? - вглядывался в толпу Мишка. - Выходи, выходи, вижу!

Мужики понуро скапливались за тачанками. Эскадрон китайцев растянулся вдоль схода, охватил толпу полукругом, прижимая к церковной ограде. Лобастый комиссар устал, видно, стоять, присел на скамейку тачанки спиной к пулемету и снял картуз. Волосы у него оказались белесыми, реденькими, спутанными.

- Черкасов Семен! - дочитывал Амелин уверенно и буднично.

- Где Черкасов? Нету?.. Уехал? Удрал, значит... А кто из Черкасовых есть?.. Жена? Давай жену... Сюда, сюда! Застенчивая какая!

Черкасова Анюта, молоденькая бабенка, двадцати лет, должно быть, ей еще не было, растерянно краснея, неуверенно выбралась из толпы, встала за тачанками сбоку от угрюмых мужиков, теребя пальцами конец белого в синий горошек платка. Живот у нее круглился, разглаживал спереди складки длинной серой юбки.

- Чистяков Алексей!.. Тоже удрал? А-а, дед тута! Иди, иди, Константин Митрич. Становись... Все?.. Приказ всем ясен? Если в двухчасовой срок оружие и бандиты не будут здесь, заложников расстреляем! Расходитесь!

Народ разбредался, переговаривался, спрашивая друг у друга испуганно и недоверчиво:

- Неуж расстреляют?

- А не неж...

- Не посмеют, вы чо! Видали, кого отобрали, одне хозяева... Пугают!

- Пушай пугают. Мы пуганые...

Любаша онемела вначале, потом уж возле самой избы стала всхлипывать.

- Миколай из лесу ничего не принес? - спросил у нее Егор.

Любаша мотнула головой: нет, мол.

- А ты? - глянул Егор на Ванятку, чуть приотставшего от них. - Не хоронишь ничего, а то найдут, и к стенке.

- Нету.

- Смотри... А то брат из-за тебя сгинет.

Мать чехвостила их все эти два часа томительного ожидания, охала, снова и снова принималась ругать: мол, понесли их черти на этот сход, не пошли бы, схоронились, и никто бы их не искал. Ни Егор, ни Любаша не возражали, молчали. Не верилось им, да и никто в Масловке не верил, что заложников расстреляют. За что? Не дождавшись окончания срока, побрели на луг. Никто из односельчан оружия не принес, никто не выдал ни одну "бандитскую" семью.

Помнится, когда пришли на луг, заложники были в церковной ограде у стены церкви. Все три тачанки стояли рядом, спинками вплотную к ограде, стволы пулеметов жадно уставились на заложников. Китайцы спешили, разделились на два отряда и с карабинами наизготовку стояли с обеих сторон тачанок возле углов ограды. Появился еще один эскадрон.

То, что было потом, помнилось, мучило, терзало, как жуткий бред, всю жизнь. Но сон, бред забываются быстро, а это всплывает в памяти до мелких подробностей, жжет. Помнится, когда Чиркун поднял руку и заорал, глядя на припавших к пулеметам белокурых молодцев:

- Приготовиться!

Его перебил тонкий вскрик:

- Погодится! Стойте!

Крикнул Аким Поликашин. Он кинулся к красноармейцам, кольцом окружившим толпу, оттолкнул ближнего к нему, не ожидавшего такой дерзости от старика, подскочил к группе комиссаров, крича на бегу:

- Не по делу! Нарушаете, приказ нарушаете! Как Тухач приказал: старшего в семье стрелять... Я - старший! Я! - стучал Аким себе кулаком в грудь. - Сына почему взяли?.. Меняйте, меняйте сына!

Чиркун опустил руку, переглянулся с лобастым комиссаром, сказал, кивая на Акима:

- В списке он был.

- Туда его, - вяло повел рукой комиссар в сторону церкви.

Аким, помнится, обрадовался, с готовностью засеменил ко входу во двор церкви. Он, вероятно, не слышал, как Мишка спросил у комиссара:

- А сына?

- Нечего...

Чиркун снова поднял руку. А Аким подбежал к сгучившимся у стены заложникам, крича на бегу: "Митёк! Митёк!" - ухватил сына, рослого сорокалетнего мужика, и потянул из

толпы, не слыша, не обращая внимания на крик Чиркуна:

- По врагам революции! Огонь!!!

Так и стоит перед Егором недоуменное остекленевшее лицо Акима, обернувшегося к комиссарам, когда в лад в спину ему затрещали пулеметы; стоит перед глазами вскинутая к небу быстро шевелящаяся борода Николая. Он - на коленях в траве, прижимает белые руки со сцепленными пальцами к груди, шепчет, молится. Видит Егор, как брат вздрагивает, дергается, опускает бороду на грудь и бочком ложится в густую траву. Всплывает в ушах визг Анюты Черкасовой. Ее мужики за свои спины спрятали, а надо бы наоборот, чтоб не мучилась. Помнится, ее дико разорванный рот, выкаченные глаза, прижатые к животу руки. Анюту никак не могли убить: уже затихли мужики, захлебнулись в крови, а она все билась, пыталась подняться. Мишка зло орал на пулеметчиков. Они хлестали, щербатили стену церкви, поднимали розовую пыль, а Анюта визжала, билась, пыталась подняться...

Помнится, потом оглушенные крестьяне, как овцы, послушно выскакивали из толпы, когда отбирали новых заложников. Выкликнули и Егора. И он, помнится, совершенно не соображая, что делает, оцепеневший, оглушенный, тупо побрел в ограду церкви, стараясь не глядеть в ту сторону, где лежали расстрелянные мужики. Какая-то баба, дико голося, вырвалась из толпы, окруженной китайцами и подошедшим эскадроном чекистов, и кинулась к ограде, к тому месту, где лежали мертвые. Ее схватили на полпути китайцы, потащили назад. Баба билась, визжала, царапалась, снова вырвалась

и - к ограде. Разъяренный китаец, которого она, наверное, сильно поцарапала, оттянул ее сзади плеткой. Мужик, шедший впереди Егора, не выдержал, метнулся к китайцу, махнул кулаком. Китаец загремел карабином в пыль. Но тут же в мужика с двух сторон воткнулись два штыка. Он дернулся и обмяк, повис на штыках.

Мужики жались к стене, держась подальше от убитых, ждали. Одни жадно курили, другие молились. Помнится, ждать недолго пришлось. Первой прибежала, принесла вилы старуха, кажется, это была бабка Марфутка из Угла. Принесла, кинула на луг под ноги Чиркуну.

- Что это? - строго спросил у нее лобастый комиссар.

- Оружия.

- Какая же это оружия? - передразнил ее сердито комиссар.

- С имя сын в прошлом годе на Тамбов ходил.

- И где же он теперь? Твой сын?

- В Красной Армии.

- Опомнися, значит... Ну ладно, ступай, - отшвырнул вилы ногой лобастый комиссар.

Следом за Марфуткой другая старуха принесла красный партизанский флаг. Комиссар развернул полотнище, прочитал надпись: "Да здравствует трудовое крестьянство!" И так же строго стал допрашивать старуху:

- Где взяла?

- Это внучек, внучек у бандитов спер, - с готовностью затрясла головой старуха. - Он дитё еще, глупой... Я отобрала у него, сгодится, думала...

- Зачем сгодится? Куда?

- Ды как жа, матерьял-то крепкий! Перекрась - на юбку пойдет, аль на исподнее: износу не будет...

Комиссар перебил ее, отпустил, скомкал полотнище флага, кинул в тачанку.

Спешили бабы к церкви, несли топоры, вилы, штыки от винтовок с самодельными ручками, которыми мужики кололи свиней. Кто-то принес пыльное ружье с расколотым прикладом. Наверное, сам хозяин давно забыл о нем: сунул на чердак и забыл. Но и винтовка одна появилась. Принес ее мальчишка. Его сразу же ухватил Мишка Чиркун.

- Где взял?

- У пьяного бандита, - опустил голову паренек, но ответил бойко.

- Врешь, - схватил его за ухо Чиркун. - Говори, отец винтовку прятал?

- Не-а! - закричал громко и тонко мальчик. - Я своровал - играть!

- Брось ты его, - поморщился лобастый комиссар. - Добьешься теперь...

Когда все, кто мог что-то принести похожее на оружие, пришли к церкви, Чиркун оставил эскадрон китайцев охранять заложников и крестьян, а сам с отрядом чекистов поскакал шерстить Масловку, делать обыск. Вернулся Мишка, когда от солнца на горизонте остался крошечный, тускнеющий на глазах, язычок, вернулся довольный, привел Семена Черкасова, молодого бледного мужика. Семен, должно быть, знал, что беременную жену его Анюту расстреляли. С тоской в глазах тянул шею в ту сторону, где лежали мертвые, не обращал внимания на вопросы комиссара, не отвечал, вероятно, не слышал, не понимал их.

Заложников отпустили, а Черкасова повели к стене, держа с обеих сторон под руки. Шел он покорно и все тянулся, высматривал среди трупов свою жену. Его оставили у стены, отошли, и он тупо двинулся к мертвой жене, перешагивая через трупы. Встал на колени, бережно взял ее голову в руки и стал расправлять спутанные русые волосы.

- Встань, твою мать! - матерился, орал на Семена Чиркун, но Черкасов не обращал внимания на крик, будто не слышал, а может быть, потрясенный, действительно не слышал, не соображал, что происходит вокруг. А Мишка драл глотку, посерел от злости, почему-то нужно было ему расстрелять Черкасова стоящим у стены. Наверное, этого требовал ритуал расстрела, а Семен его нарушал. Наконец, Чиркун не выдержал, влетел в ограду, размахивая маузером, подскочил к Черкасову, рывкнул над ухом: - Встать! И ударил носком сапога в бок Семена. Тот откачнулся, не выпуская из рук головы мертвой жены, глянул страдальчески и недоуменно снизу вверх на Мишку. Чиркун со злостью выбросил руку с маузером, стрелял в упор. Видно было, как дергалась его рука после каждого выстрела.

Расстреляли Семена красные, потешили душу и в сумерках ушли из Масловки. Оставили в покое, но, как оказалось, ненадолго. Недели через три взяли Егора Антошкина прямо в поле. Страда была в разгаре. Половину поля с Ваняткой скосить не успели, прискакали двое и увезли Егора в Масловку. Там оказалось, что не его одного взяли: собрали всех мужиков и погнали пешими в Борисоглебск, в концлагерь.

Помнится, мужиков было в концлагере -

страсть! Муравейник. В бараках все не помещались, на улицах спали. Благо лето, тепло. Спрашивали на допросах у всех одно: кто из односельчан был в партизанах? И кто скрывается сейчас? За предательство обещали тут же освободить. Но, судя по тому, что никого так и не отпустили, предателей не нашлось, хотя большинство арестованных никакого отношения к партизанам не имели. Остро мучил голод. В концлагере почти не кормили — только раз в двое суток приносили сухари. Но разрешали родственникам привозить еду. Помнится, из дальних деревень привозили в мешках морковь: сыпанут из мешка через проволоку, кинутся мужики, давятся, ползают по земле, собирают, рвут друг у дружки из рук, а красные тешатся, хохочут. Дизентерия начала косить мужиков. Помнится, больного Алексея Жарикова, того самого мужика, который отказался восстанавливаться в партии, не имевшего никакого отношения к партизанам, прямо в лагере красные просили указать, кто из масловских был в партизанах. Обещали немедленно поместить в больницу, в живых останется. Бледный, беспомощный Жариков бормотал, как в горячке, одно и то же: "Не знаю, не знаю, не возьму грех на душу!" Так и угас, умер, не назвав никого.

Надоели красным пустые допросы, выстроили крестьян вдоль колючей проволоки, отсчитали каждого десятого, вывели из строя, расстреляли, а остальных отпустили.

[...]



ГРУЗИЯ

Не распознать, а полюбить,
Не раз-глядеть, а за-глядеться
В глубины собственного сердца
Держась за памятную нить.

В наивернейшем из зеркал
Душой усталой отразиться,
Семью лучами преломиться
Через магический кристалл.

Две покаянные слезы
И два неосквернимых слова
Успокоения земного
Под перекрестием лозы.

И всё минувшее избыть,
Чтоб просветленным взглядом детства
Не разглядеть, а заглядеться,
Не распознать, а полюбить!

1981

ЗАКОН

”Если провести маршруты Великого переселения народов - такое впечатление, будто кто-то высек Земной шар прутиком”.

Из лекций Л. Н. Гумилева

Удар бича на коже Шара
Не всяким зрим.
Но горький дым степных пожаров
Задушит Рим.

Слепые изберут слепого,
Но всякий миг
Непостижимо пальцы Бога
Пронзают мир.

И если поспешает зрячий
Уродам вслед,
Глаза он под ладонью спрячет -
И будто слеп.

Его раскаянье настигнет
На склоне лет,
И он ладонь от глаз отымет,
Но света нет!

Неотвратимо очи Бога
Пронзают мир.
Настигнет мщение любого,
Кто изменил!

1983

* * *

Бидзине Рамшвили

Год к весне. Дым клубится.
Почернели поля.
Засвистала синица.
Задышала земля.

Будто в детстве надежда,
Будто в детстве светло.
Кто-то робко и нежно
Постучится в стекло.

В дом войдет без усилий,
И привидятся вдруг
Благодатные крылья
Вместо ласковых рук.

И в мерцании зыбком
От сияющих крыл
Скажет с грустной улыбкой:
"Я о вас не забыл".

1982

ТРИ АНГЕЛА

Моим грузинским братьям

В мой дом, стоящий от дорог вдали,
Три ангела, усталые, вошли.
Стучалась в дом, срывая дверь с петель,
Жестокая декабрьская метель.

Явились в полночь спутники мои –
Три ангела, три брата, три судьи.
И в утешенье моих давних слёз
Благую весть один из них принёс.
Другой дал то, чего я ждал давно –
Святое покаянное зерно.
А третий подаянье завершил,
Мне протянув терпения кувшин.
Сказали: "Всё теперь для жизни есть:
Осветит путь во тьме благая весть.
Для утоленья голода дано
Святое покаянное зерно.
А в день испепеления Земли
Водой терпенья жажду утоли".
И, возвращаясь в первозданный снег,
Они шагнули в темноту и вверх.
Но, уходя от моего тепла,
Мне подарили по перу с крыла.
Так и живу с тех пор: в окно смотрю,
Терпенья пью да крылья мастерю.

1984

ЗВЕЗДНЫЕ БРАТЯ

Жить на два дома трудно одному:
Друзья не застают, уходят гости,
Уходит время, как вода из горсти,
И больше суетиться ни к чему.

А в прежнем доме свет в окне горит.
Над городом морозными ночами
Восходит Ключник и звенит ключами,
Смеется и дорожку серебрит.

А там, в конце дорожки, звёздный мальчик –
Наверно, позабытый ангел мой –
Держа в руке пульсирующий мячик,
Другой рукой нетерпеливо машет
И весело кричит: "Иди домой!"

1985

ВЕЧНЫЙ ДОМ

1.

В свой Вечный Дом я братьев приглашу.
Их встретит белый Страж сапфирных врат.
Он поведет их сквозь волшебный сад,
Чьим воздухом я изредка дышу.
Они взойдут по лестнице Судьбы,
Сочтя число моих ступеней-лет,
И сквозь проём дверей нездешний свет
Озолотит заветные дубы.

О светлом доме я просил для них.
В нем будет светел день и свят ночлег.
В резных шкафах его библиотек –
Старинные тома сакральных книг.

В нем фресок Грузии высокая печаль,
"Шен хар ванахи"* расправляет там крыла.
Им поднесёт, та, что меня спасла,
Вино и музыку, разлитые в хрусталь...

* "Ты – лоза" – древнегрузинский церковный гимн.

Когда ж измученный, веригами звеня,
Я упаду вблизи сапфирных врат,
Мне руки протянув, Любимый Брат
Умолит Ангела впустить меня...
Умолит Господа простить меня.

1982

2.

В природе – сдвиг, вначале неприметный,
Но мрачно изменилось естество.
Ненастный день похож на путь посмертный:
Ни впереди, ни сзади – никого.

С полночных стран на ледяном пароме
К нам подплывает снеговая жуть.
Кто впереди – уже укрылись в Доме.
Кто сзади – не решатся выйти в путь.

”Достигни Дома. Преклони колени.
Зажги огонь в камине, стол накрой
И ожидай в надежде и терпении,
Кого при жизни ты сковал с собой.

В миру мы были и глупы, и слепы.
Как просто было нас ко злу склонить!
Но там, во тьме, стеснительные цепи
Преобразятся

в световую

нить!”

1985

*** * ***

Как пред тобой я виноват,
Мое растерянное братство!
Твое неяркое богатство
Дороже мне небесных врат.

Молюсь о вас, мои друзья,
Мои бездомные скитальцы,
Когда накладывает пальцы
Судьба на горло бытия.

Вы помните ль, как Ангел Сил,
Над херувимскими чинами
Дары Отца делил меж нами
И братством нас соединил?
И было семя – мне в удел.
Взлетая, падая порою,
Кормя его своею кровью,
Растил я Древо, как умел.

Вот зашумел зеленый свод,
И бьется мысль на нитке нерва:
Не то, что Каин срубит Древо,
А то, что Авель вкусит плод!

1986

*** * ***

Мне мнилась синяя прохлада,
Но горько обманулся я:
В аллеях сумрачного сада
Бессмысленная толчея.

Нерадостная суматоха.
Шипенье. Свечи зажжены.
Гудит порожняя эпоха
Под колотушкой сатаны.

И этот гул на низкой ноте,
Как погребальный звон стране,
Где острый разум – не в почете,
И чистый голос – не в цене.

Где в ватном мраке вязнет Слово,
Где над кровавою рекой
Живописания слепого
С надеждой слушает глухой!

Где гнев и страх – родные братья,
Где в ночь – раздолье мрачным снам.
Где приготовлены распятия
Всем Человеческим Сынам.

Где лжеучитель колченогий
Мечтает Бога побороть...
Где заколдовали дороги,
Что к свету проложил Господь!

1988

* * *

Ограблен Град. Отравлен водоём.
Тень сатаны на матовом экране.
Всему конец – я это знал заранее,
Но проку что в предзнании моём?!

Свидетельствую, Господи, Тебе:
Ты справедлив и сдерживаешь слово.
И вот – предел нечестия земного,
И вот – итог бессмысленной борьбе.

Бреду по полю мёртвого жнивья,
Где "зёрна от плевел". Темно и жутко.
Непостижим для моего рассудка,
Ты медлишь там, где не стерпел бы я.

Бреду по двум путям. В любом из двух
Я пораженья путаю с победой.
Ну что мне делать, Господи, поведай,
Пока еще я не утратил слух!

Яви Свой гнев, чтоб начисто стереть
Гоморру и полынью сделать воду,
Покуда мы не обрели свободу,
С которой жить страшней, чем умереть!

1989



ВОСЛЕД ЗА ПЕРСЕФОНОЙ

1

За топкой, на Адмиралтейской шесть,
Оставил я автограф мой в бетоне,
Дыру в стене заделав: след ладони.
Как знать, не виден ли он там и днесь?

В тот год последняя сгустилась мгла,
И, полнясь жертвенностью отрешенной,
В котельные, вослед за Персефоной,
Камена петербургская сошла.

Там, под имперской правильной иглой
Морей ревнительницы азиатской,
В ревнивой обездоленности братской
Пророков сонм уютился удалой.

От входа обмуровкой скрыт на часть
Был круглый стол, и кресло раскладное
Стояло, время празднуя дневное,
Запретным ложем к ночи становясь

(уставом спать не разрешалось). Там,
В зловонной утопической юдоли
Так обреченно грезилось о воле...
И рок отсчитывал дежурства нам.

2

Мне чудилось: я Молоху служу.
Гудело пламя, стоны раздавались,
Танцовщицами стены покрывались,
Подобными плясуньям Лиссажу.

В любовной изнурительной борьбе
По рыхлым сводам, грязной занавеске
Живые пробегали арабески
И исчезали в отводной трубе.

Сова садилась на байпас. Геккон,
Подслеповатый красноглазый ящер,
По кафелю, цивилизаций пращур,
Отвесно шел, к сознанию устремлен.

Язычество, неистовством полно,
Игрою упивалось ритуальной.
Его авгур, алхимик карнавальный,
Клюкой стучался в тусклое окно.

Открыть - ворвется, старый краснобай,
Присев, щепотку соли в топку бросит
И, чуть займется натрий, зверя просит
(как те поляне): "Боже, выдыбай!"

3

Вот трое у стола, за дверью дождь,
Один в ударе, двое, в терпеливом
Сообщничестве, хором молчаливым
Его торопят: скоро ль ты уйдешь?

Вот женщина, с ней девочка, шести
Примерно лет, - чуть мешкают у входа.
Что привело их в гости? непогода?
Как будто нет, уже не льет почти.

Вот карбонарий: за его спиной -
Барак, поземка, пермские раздолья.
Шепнуть бы гордецу, что и неволя
Порой не к чести сводится одной.

А этот гость - на нем уже печать
Разлуки вечной и такой внезапной:
Лицо аскета, трепет неослабный
В глазах - и как я мог не замечать?

Теперь они все вместе, у огня
Другого, у другой реки державной
Сошлись в кружок - оплакать этот давний
Вертеп, в судьбе несбывшейся родня.

4

На площади Св. Марка, у
Столпа бескрылого (был зверь в починке), -
Вот где живые всплыли вдруг картинки:
Закут припомнил я, лежанку ту.

Над Арно, где, слезу смахнув тайком,
Входил впервые я под свод Уффиций,
Душа опять на миг взметнулась птицей -
Куда? Туда, под крышу, с гусаком.

Баварский мюнстер, что о двух главах
(и обе луковкой), Пинакотекка

(где Лукас Кранах чудный и Эль-Греко), -
И вдруг - задвижки масляной желвак.

Шекспировская труппа, Барбикан,
Зарезан братец Кларенс - славный норов
у Ричарда! а рядом - главный боров,
Запорный клапан, роторный стакан.

В котельной, на Адмиралтейской шесть...
Уж если говорить о ностальгии,
Она - по молодости: мы другие.
И кто теперь дежурит там? Бог весть!

5

Рациональный гений не у дел
Был меж твоих мыслителей гонимых,
Адмиралтейская. Размытый снимок
Беды воображеньем их владел.

И то сказать, в прелюбопытный век
Пришлось им мыслить: небеса застыли;
Историю - указом отменили;
Чуть кто почешет за ухом - побег!

Уж тут изверишься... Под Рождество
Сидит у нас компания, случалось,
Большая. Половина причащалась,
Но и другой не чуждо торжество.

Им слышен дождь: январская капель,
Во двор со звоном рушатся сосульки.
О чем они? Бахтин. Леонтьев. Рильке.
Закат Европы. Нострадамус. Бёлль.

Случалось, пили: что тут скажешь? Тьма
И пламя, храм роднящие с таверной,
Одушевляли этот быт пещерный,
С руки его кормила Колыма.

6

"Веди и помни!" – вот ее слова.
Сперва лугами шли, и асфодели
В пятне лампы сухо шелестели,
Как на земле – опавшая листва.

Потом – Альгамбр нависли потолки.
В стоутом сталагмитовом подвале
Дышала магма, монстры пировали.
Потом пошли забои, рудники.

И вот забрезжило... Сюжет велит
Всё позабыть, в истерике забиться.
Тут выручит – горчичная крупица,
Зерно гранатовое исцелит.

В двойной ограде сей – уста певца
Деревьям и камням служить не станут,
Их ящеры и птицы не обманут,
Лукавый зверь не выманит словца.

Вожатый встанет и продолжит путь.
За милой – штольни страшные сомкнутся.
Теперь пора. Тот волен оглянуться,
Кто мученицу к жизни смог вернуть.

27. II. 89



Задание

”За демагогией деспотического порядка скрывается агрессивность и массовая паранойя. Внешнее насилие есть не более, чем продолжение насилия внутреннего, и его кажущаяся немотивированность обманчива.

В. Малявин ”Чжуан-цзы”.

Сколько раз, сколько раз, сколько раз оно наваливалось на меня, – то сладким сном, то навязчивым кошмаром. По ночам подкатывало к изголовью или совсем некстати догоняло меня днем. Я начинал сосуществовать в двух реальностях: одна реальность – повседневная, а другая – какое-то странное инобытие, которого, вероятно, и не существовало, но которое упорно давало о себе знать, пыталось прорваться через меня, заставив мысленно пережить и записать его, хотело через это за столбить себе право на существование и сравняться с реальностью, пусть лишь в прошедшем времени.

Да в прошедшем оно и надежнее – прошло... было... значит свершилось. В этом нет эфемерности нынешнего и неопределенности будущего. Итак, свершилось! Вот Оно – вновь одолевает меня, на этот раз уже неотвязно; герои этой истории теснятся вокруг меня, их коллизии и

страсти обступили меня вплотную, и я уже там — один из тех, один из них. Передо мной разворачивается картина...

*

До чего приятны маленькие южные города поздней весной! Природа уже вовсю отмечает праздник своего возрождения, а вперели еще целое южное лето и, стало быть, еще куда более буйный разгул зелени и цветов, вакхические танцы пестрых мотыльков, оживляющих оцепеневший от зноя безветренный день, потом — замечательный вечер с рано проступающими крупными звездами и неестественно ярким декоративным месяцем, а после — южная ночь с тонким пением цикад на чуть заметном ветру, со сказочным полетом ночных бархатных бабочек... Да мало ли можно назвать приторных примет несказанного южного лета, которые еще не вполне проявились весной, но вот-вот будут, вот-вот дадут о себе знать. Чем хороша весна на юге — это вот таким ласковым предчувствием надвигающегося безудержного пиршества.

Но увы, увы... В эту почти идиллическую южную весну примешивается война.

Война издавна маячила на далеком горизонте, порой давала это понять отдельными многозначительными знаменами. Потом она исподволь примешивалась к жизни города и, наконец, ворвалась в нее властно и свирепо. Еще не ложатся снаряды на северной окраине, но редкая ночь не разорвется дробью эскадронных копыт по мощенной камнем улочке. За городом

ежедневные учения со стрельбой, марши; где-то спешно готовят укрепления. Всех старших гимназистов призывают в юнкера, а рестораны переполнены офицерами.

Где-то случилось ночное нападение на офицера — раскроили голову, отняли пистолет, сняли форму. У кого-то арестовали соседа — он оказался связан с анархистами.

В город пришла война...

*

В город пришла война... По городу ходят офицеры — начищенные сапоги, скрипящие португали, гордость, выправка. Да только что это за офицеры? — большинство вчерашние московские и петербургские студенты 11-13-го годов выпуска. Кто понюхал пороха на германской войне, а многие тогда и не нюхали. Но, невзирая на это, властно перекрутила и изломала их судьбы революция. Кто-то помогал стачечникам еще в 1905-м, кто-то имел контакты с эсерами, кто-то с социал-демократами. А теперь все они здесь, в уютном южном городке: часть вступает в город, лошадей — в конюшни, под надзор денщиков, сами — на квартиры, туда, ближе к центру, вверх по улочкам, мимо мощных срубов, где живут выходцы из казаков, мимо белых мазанок, где живут обрусевшие украинцы. Лучше в верхнюю часть города, где дома отделаны белым туфом, там и публика поприличней — интеллигенция, купечество. Театр есть и парк, и дворянское собрание рядом. Нет, положительно я вам говорю, милостивые государи, лучше поселиться в верхней части городка.

Так и рассудил мой друг Олег, едва ставший штабс-капитаном, но уже год как ставший мужем Полины Ассоджиоли, талантливой пианистки и очаровательной женщины.

Да, господа, она была тогда поистине очаровательна, иначе не скажешь.

Мы расположились тогда почти рядом: я - в особнячке по соседству со штабом вверенной мне дивизии, они - в минутах ходьбы через площадь в доме священника отца Феоктиста - огромного старика с раскатистым шалыпинским басом. Должен вам сказать, проповеди Феоктист читал мастерски, но я сразу понял, что по натуре он крамольник и баламут. Впрочем, это я отвлекся от темы.

В тот раз господин командующий впервые возложил на меня ответственность за оборону целого города. Помимо дивизии мне был подчинен немногочисленный гарнизон, стоявший здесь доселе, и четыре отменных офицерских полка. Полки были конные, но по опыту прежней войны я велел спешить их и обстоятельно окопаться, - местность за городом была изрыта балками и это лишало конницу преимуществ. Долгие арьергардные бои, мучительное отступление под согласованными ударами большевиков и махновцев изнурили нас, и лишь месяц-другой в крепкой обороне позволил бы нам перевести дух. Судьба тогда распорядилась, увы, иначе, но, господа, я твердо знаю, что в этом не было моей вины. Впрочем, я вновь отвлекся. Простите.

Олег был младше меня лет на восемь, но это не стало препятствием нашей дружбе. И дело было вовсе не в том, что он стал незаменимым штабистом. Между нами наладилась эмоцио-

нальная связь, какую мне и высказать трудно. Мы, скажем, не только любили одних композиторов — Монтеверди, Альбини, но любили их одинаково; как и я, он несколько интересовался историей германских языков, да и на военное дело наши взгляды всегда совпадали.

Немногие свободные часы с радостью проводил в их милом кругу, — мы перекидывались в карты, о чем-то болтали, Полина с удовольствием садилась за рояль. Порой говорили всерьез — о судьбе многострадального отечества, о его горькой истории, о бездарности покойного государя, о войне, о революции, о вере.

Эти нечастые вечеринки изрядно скрашивали мою тогдашнюю жизнь, насыщенную заботами и уже исподволь отравленную тягостным предчувствием поражения. Как дорога была мне эта чета! И я, право, никогда не принимал всерьез заверения начальника контрразведки подполковника Аристархова, будто Олег в бытность студентом Технологического института состоял в связях с революционерами. Кто из нас не грезил этим на заре юности!

Я не слушал Аристархова, а этот старый педант умел действовать на свой страх и риск. Все было удивительно просто: кто-то из его помощников сболтнул Олегу о якобы завербованном нами информаторе в рабочей среде в соседнем городе, где уже стояли красные. Агентурное наблюдение показало, что указанный человек был через день с семьей взят в ЧК и след его затерялся.

И тут еще одна крупная удача Аристархова: не стесняясь, вероятно, в выборе средств, он заставил заговорить перехваченную связную

подполья. Она удивила нас осведомленностью, и все, наконец, прояснилось.

Олег уже успел переправить материалы по готовящейся обороне, но не это было его главным заданием - в момент самого начала наступления он должен был меня убить.

Не стану рассказывать о моем потрясении. А в плане обороны мы многое успели изменить, хотя, увы, при тогдашнем соотношении сил это мало что дало. Да разговор сейчас не о том, разговор об Олеге.

Оборона уже трещала по швам, а я все не решался санкционировать приведение приговора... Полина долго добивалась, чтобы я принял ее, наконец я дал согласие. Она вежливо и сухо поздоровалась, сообщила, что Аристархов отказал ей в последнем свидании с мужем. Я распорядился разрешить. Она столь же сухо отблагодарила и поспешно удалилась. Я понимал причины этой торопливости; позднее мне сообщили, что по выходе из штаба с ней на крыльце случился обморок.

Все силы понадобилось собрать этой милой изящной женщине, чтобы скрыть под маской всю степень своего отчаяния. Но кто бы знал, господа, всю меру отчаяния, переполнявшего тогда мое сердце! Кто бы понял мою тоску и мое горе!

А через день снаряды с бронепоезда "Пролетарий Украины" рвались на станции, к вечеру красные заняли окраинную слободу. Под утро я и командующие соседними участками фронта получили приказ оттягивать войска в юго-западном направлении - все ближе и ближе к роковой крымской западне.

Все было ясно мне, и, уже садясь в штабной

вагон, я все-таки решился: я так и не отдал приказа. Через час красные ворвались в здание тюрьмы.

Да, господа, да, и говорите, что хотите, но именно по моей вине он так и не был расстрелян. Нет, Аристархов тут ни при чем. Я, кстати, ожидал, что он напишет на меня рапорт, но Аристархов не стал, — вероятно, и ему уже тогда все было ясно, а он, смею вас заверить, вовсе не был жестоким человеком, хоть и стяжал такую славу. Такова его служба. Я заблуждаюсь? Что ж... быть может, я заблуждаюсь. Мда-сс.

Так дальше, господа, вы, верно, и сами знаете. Я отплыл с бароном Врангелем, в Париже вступил в долгожданный контакт с Борисом Савинковым.

После его пленения я отошел от борьбы, поняв ее безнадежность.

Не будем, не будем спорить, господа, — я вполне тверд в своем мнении, хоть и тяжело об этом говорить.

А об Олеге я, представьте, вновь услышал, и уже в тридцатом году. Оказывается, сразу после войны он не пользовался доверием своего руководства. Еще бы! Он недовыполнил задание. Притом он еще и необъяснимым образом спасся. Но, похоже, его всегдашняя энергичность, да и прежние заслуги одержали верх. К тридцатому году он занял некое место в большевистской иерархии, но равнялся, как я понял, на Троцкого и его сподвижников. Когда Троцкий окончательно попал в опалу и был изгнан, в то же время Россию были вынуждены покинуть и кое-кто из его приверженцев. Так вот, представьте, Олег был среди них! И оказался в Париже, во-

образите! Эх, проучила же его судьбина! Будет ему, над чем поразмыслить, вы не находите?

Он ведь, несмотря ни на что, интеллигентный человек, и весьма. А стало быть, его затяжной флирт с большевиками не мог завершиться иначе, как драмой!

*

Итак, они уже почти рядом. Судьба непреклонно вершит свое неведомое дело. Безошибочно движутся сокрытые рычажки, замыкаются и размыкаются и вновь замыкаются неведомые разуму связи. Прислушайтесь! - это как перестук далекого поезда: судьба - судьба - судьба - судьба...

Кому это нужно и кто это задумал? И неужели нельзя этого избежать? Обладаем ли мы на деле хоть какой-то степенью свободы в этом мире?

Но не станем, не станем задерживаться, ибо судьба уже на пороге.

Итак, Олег, интеллигент, романтик в душе, борец по складу натуры, выходец из революционного петербургского студенчества, не удавшийся, как выяснилось, большевик, бежал в Париж, бежал без средств и без планов, измотанный и потрясенный. Куда теперь? Что впереди? Кто подаст руку? Кто устроит на работу? Кто одолжит на хлеб насущный ему и его семье?

Как кто? Да, конечно, ОН - он, тот самый, кто один раз уже преподавал ему неожиданный урок милосердия.

Короткий телефонный разговор: сперва обо-

юдное молчание – перехватило голос у обоих. "Здравствуй. Конечно, узнал. Конечно. Да. Давай немедленно ко мне. Жду".

*

Это инобытие, эта иная реальность, развернувшаяся в моей больной памяти, властно подступает и жаждет выхода. Я – автор и жертва этого мифа, – стремясь освободиться от налегающего груза человеческих судеб, испуганно тороплю развязку нелепо завязавшегося сюжета.

И вот я наконец открываю вам – он выполнил Задание! Представьте: то задание – сейчас. Зачем? Недоумеваю... Как? Тоже не знаю.

Наверное, выстрел из упрятанного в кармане миниатюрного пистолета, выстрел в открытую грудь человека, уже расправившего могучие руки для объятия...

А может, в ходе теплой беседы – удар повернувшимся тяжелым предметом по затылку, как это однажды и было на деле...

Я не знаю, и меня это не тяготит. Писать о том, что случилось дальше с Олегом, с Полиной, легко и незаконно: накатанных эмигрантских сюжетов уйма – выбирай на вкус.

Но автор уже теряет инновидение: силуэты героев все менее четки, их призраки отходят, эфирные тела расплываются в пространстве. Медитация кончилась... Я сбросил это. Больше не тяготит.

Да, чуть не забыл:

я спокоен, я спокоен, я совершенно спокоен...

15-17. 02. 88 Ленинград

Спасение

На город спускалась ноябрьская ночь. Павлов стоял в густой грязной траве, почти касаясь лицом почерневшего дощатого забора. Стоял и смотрел сквозь дырочку от вывалившегося сучка, как шел обыск в его комнате. Там горел свет, и по белой застиранной занавеске торопливо скользили длинные тени, они перекрывали друг друга, менялись в размерах, поспешно исчезали, чтобы тотчас появиться вновь в новых пропорциях и позах. Вот на мгновение проявился орлиный профиль Семки Берковского. Павлову стало не по себе. Сегодня они вместе с Берковским допрашивали задержанных. Теперь Берковский может так же допросить его, Павлова.

Глупости, конечно!

Но в чем дело?! В чем? Он же кристально чист — пролетарское происхождение, воевал, работал в одесском ЧК. Да и здесь, в Белоруссии, уже есть на его счету результаты.

Донос? Лыков не поверит. Лыков доверяет ему. Кто-то из арестованных умышленно показал на него, чтобы оклеветать — едва ли. Хотя ничего другого думать не остается.

Если Лыков принял это всерьез, его по всем правилам допросят и расстреляют.

Павлов устало вздохнул, прикоснулся лбом к мокрой доске, и перед ним поплыли нелепые сновидения: щербатый кирпич с присохшими лепешками извести, вода на цементном полу, тусклая желтая лампочка под низким потолком в сумраке подвала. Если стрелять из нагана, пули застревают, а если из маузера, то все-

гда идут насквозь, вышибают из кирпича рыжие крошки. Кирпичная кладка раз от раза делается все более щербатой. А на новую выщербину часто вослед пуле брызжет фонтанчик крови. Одежды-то нет, вот он и брызжет беспрепятственно. Тело сползает по неровной стене, оставляя на ней грязные потеки крови... Но это все им - врагам! Он-то здесь при чем? Что за ерунда? Подняться, что ли, в квартиру, к ребятам, узнать, в чем дело, объясниться? А если тотчас скрутят? Берковский получит благодарность за успешное задержание... Прямо в ЧК! К Лыкову. Или даже к нему домой!.. Застрелит, застрелит под горячую руку запросто - у него не заржавеет.

Пронзительный звук заставил его встать - скрипнула дверь в доме. На улицу вышли Хухро и Першин. Переходят улицу. Идут сюда. Так, и свет в окне погас, но Берковский и Шутов не выходят. А эти идут прямо сюда, к калитке заброшенного сада. Готовят засаду.

Неслышными шагами Павлов отошел от забора, потом тихонько побежал, но, оказавшись на противоположной стороне большого сада, остановился.

Куда дальше? Любой ночной патруль его задержит - от этих ребятишек не скроешься. Рано утром можно влиться в толпу фабричных рабочих. Фабрика на самой окраине. Там лесок. Уже легче...

А ночь лучше всего переждать здесь - под самым боком у засады. Никому в голову не придет.

Ладно, дальше что? Куда? Россия велика - укрыться можно. Нет, пожалуй. Не выйдет. Сейчас они весь город поставят вверх дном.

Пригороды можно прочесать – так уже делалось. На товарной станции наверняка засады – вариант испытанный. О вокзале и говорить нечего.

Вот, если бы недельки на две где-то схорониться... Где? Негде. Значит, каюк. Каюк тебе, Коля.

Дрожащая рука полезла в нагрудный карман за махрой – надо курнуть, успокоиться. В кармане – сложенный вчетверо листок. Что за листок? А, ну да. Сапожник Каразеев сообщил, что брат местного учителя Петра Ивановича Белобородова, Вячеслав Иванович Белобородов, был полковником царской армии, что по сей день в дом к Белобородовым по вечерам ходят незнакомцы с военной выправкой, что у жены Белобородова есть родственники в Гдыне.

Хотел завтра завести дело, наладить слежку за домом. Не судьба... Ладно. Не подшили к делу – скрутим на сигарку.

Стоп! Озарение! Восхитительный в своей дерзости и простоте план спасения сложился в один миг.

*

– Не спрашивайте, Петр Иванович! Ни о чем не спрашивайте – я не вправе говорить. Господин полковник позволил воспользоваться вашим гостеприимством лишь в самом крайнем случае. И вот этот крайний случай наступил. Наша группа была на грани провала. К счастью, костяк удалось сохранить, но мы буквально обложены и лишены связи со своим руководством.

– Ни о чем не спрашиваю господина ротми-

стра, мы к Вашим услугам. Но скажите же, ради Бога, жив ли Вячеслав?

- Жив. Вы не знали?

- Где он?

- Вероятно, в Берлине. Если с Божьей помощью перейду границу, непременно с ним встречу.

- Господи! За два года никакой весточки не передал!

- Петр Иванович! Агентуру в личных целях не используют. Да это могло бы и опасность на вас навлечь.

- Да, да, конечно, ротмистр, я понимаю. Каковы ваши планы?

- Как я уже сказал, мне вменено в обязанность перейти границу. Вы в состоянии чем-нибудь помочь?

- Я - нет, но у нашей семьи есть много друзей. Кое-кто из них, полагаю, сумеет помочь вам. Ведь, в конечном счете, надо просто нанять проводника из местных жителей и только.

- У меня нет ни копейки денег.

- О чем вы говорите, ротмистр!

- Благодарю Вас, благодарю! А, признаться, я был уверен, что у вас есть и своя организация и контакты за кордоном.

- Нет, ротмистр, я, увы, не таков, как мой брат. Это не для меня. Но помочь человеку в беде - это естественный долг. Тем более, что вы друг Вячеслава.

- Друг - это слишком громко. Я имею честь быть с ним знакомым. А теперь, если позволите, Петр Иванович, я бы поспал. Трое суток без сна, вы уж простите бесцеремонность.

- О да, конечно! Верочка, постели гостю.

*

Лежа на невесомой перине, он впервые расслабился и спокойно припоминал разговор с Каразеевым.

Напоследок он сказал: "Спасибо, товарищ, за сигнал. Будем разбираться. А вы пока ни слова - это ясно? Ваши претензии на дом Белобородова рассмотрим позже".

Каразеев - ушлый тип. Но раньше, чем дней через десять, сам он в ЧК по новой не сунется. В общем, неделя есть.

Что делать, если он и вправду попадет в Польшу, об этом Николай пока запретил себе думать. Сейчас главное - остаться в живых, бежать из этой мясорубки. Неделя есть.

Он потянулся, выключил бра и сразу провалился в безмятежный сон.

*

Все выходило именно так, как хотелось Николаю. Шесть блаженных радостных дней проплыли перед ним словно сон или детская сказка, и из этой сказки не хотелось уходить.

Он будто бы вспомнил что-то очень важное для себя и забытое в далеком детстве. Пытался сам себе объяснить это словами, но не сумел. Это выплывало из самых сокровенных родников его подсознания и не выражалось на словах, а лишь ассоциировалось: ассоциировалось с колыбельной песней давно почившей матери, с радостной весенней солнечной капелью из того далекого детства, где впечатления свежи, а мысли чисты.

Он впервые никуда не торопился, ничего не желал, и даже недавний животный страх отступил под гипнозом благодати, мира и любви, которые царили в семье старого учителя. Казалось, никакие отзвуки свирепой действительности – ни стрельба на улицах, ни отсутствие дров и привычной пищи – не в силах были нарушить эту дивную гармонию человеческих сердец. Все тревоги тех легендарных лет – грабежи, обыски, перестрелки, голод и нищета – могли прокатиться через этот дом, оставаясь всегда чем-то внешним и проходящим. И лишь смерть была вправе задуть свечу и прервать гармонию.

Но Николай смутно ощущал, что и тогда сами стены дома надолго останутся безмолвными хранителями этой атмосферы любви, порядочности и покоя.

То был внутренний покой, присущий самым честным и мудрым людям – тем немногим, что в любой ситуации, не колеблясь, поступают в соответствии с совестью и разумом, а если ситуация выходит за рамки логического анализа, поступают в соответствии с голосом своего сердца. Это хранит их от ошибок, от излишнего благополучия и вселяет в их души незыблемую уверенность в том, что они в любой жизненной передрыге окажутся на высоте человеческого достоинства.

Именно к такому разряду людей принадлежал неприметный провинциальный учитель Петр Иванович Белобородов.

Этот интеллигент исповедовал, как иногда говорят, идею абстрактного гуманизма. Сам он, естественно, подобного термина не знал. Просто, когда судьба свела его с затравлен-

ным, обозлившимся, измученным человеком, Петр Иванович без колебаний ему помог.

Это сулило смертельную опасность ему и его несравненной Верочке Андреевне, но откажи они человеку в помощи, и это нарушило бы в них что-то потаенное и священное, без чего жизнь их почти теряла смысл.

Приютив бежавшего офицера и деятельно принимая участие в его судьбе, Петр Иванович вовсе не перестал вспоминать эпизод своей жизни времен девятнадцатого года, когда он укрыл и выходил раненного подпольщика. Петр Иванович тогда убедился, что революционеру могут быть присущи и острый ум и сила духа, но увы! — подпольщик оказался стопроцентным марксистом и безбожником; это вызвало благородное негодование Петра Ивановича. Однако же это не причина для того, чтобы оказать в помощи страждущему!

Петр Иванович так и не узнал, что подпольщик был спустя год повешен в Симферополе за шпионаж по приказу полковника Вячеслава Ивановича Белобородова.

Вот ведь какие прихотливые сюжеты закручивает озорная и беспощадная судьба в своей неведомой игре, неожиданно сплетая и путая наши земные пути и обрывая их порой на самом интересном месте!

Но не будем сейчас о чужих судьбах, ибо кости уже брошены, рулетка замерла и наших героев ожидает не менее причудливый сюжет.

*

К исходу шестого дня все было готово.

Николай простился с милыми людьми, приютившими его, и, сменив френч на цивильную одежду, шел по указанному Петром Ивановичем адресу, где жил близкий друг Петра Ивановича, ныне – почтовый служащий, а в прошлом – пианист.

Николай приблизительно представлял, что будет дальше – скрипящая подвода на лесной дороге, дальний хутор, проводник, неведомая пограничникам зыбкая гать. Что дальше – неясно, но это и неважно, ибо дальше – жизнь.

Николай шел в толпе рабочих, спешащих на фабрику, и чувствовал себя в безопасности, но сейчас ему придется свернуть в проулок и в одиночку преодолеть последние семьсот-восемьсот метров.

Ничего, в ноябре светает поздно, и кругом стоит кромешная тьма, а фонарей тут нет, и лишь горящие окна домиков намечают ему дорогу.

А эта улочка вроде знакома. Ну да, еще бы! Здесь живут Берковский и Хухро. Сейчас надо пройти мимо этого дома.

Николай почти перешел на бег, но услышав громкое хлюпанье осенней грязи под сапогами, вновь умерил шаг. Еще немного...

- Колька! Павлов! Ты, сукин сын?

- Где прятался, дурак?

Крики, смех и запах перегара молниеносно окружили его со всех сторон и не давали ходу.

Рука должна была лезть в карман за наганом, ноги обязаны были стремглав бежать, но мелко трясущиеся руки не подчинились ему и ноги его не послушались. Теперь понял, почему говорят, что ноги стали ватными... Голо-

ва закружилась. Вспомнилась щербатая кирпичная кладка в грязных потеках...

- Колька! Тебя ж чуть в предатели не записали! На тебя двое показали, что помогал им. Потом распутали - оказалось, блеф. Ты их перед праздником допрашивал - помнишь? Им какую, так они решили и тебя за собой. Ха-ха! Ну, Лыков тогда психанул. Полк поднял, все кругом прочесывали, - долговязый Берковский сбивчиво кричал ему в лицо, содрогаясь от приступов смеха.

- Но ты где был, собака? Скрылся у какой-нибудь белогвардейской шкуры? А? Или просто у шкуры? Га-га-га! - Хухро сам подивился своему неожиданному остроумию и от избытка чувств хлопнул по плечу Павлова своей мощной потной пятерней.

- Я у ты на хате в засаде торчал, ну дела! - пробормотал Шутов. - А это шо за интеллигентский маскарад? Где френч, портупея? - добродушные глазки Шутова вдруг стали маленькими, колючими и подозрительно щурились. - Да расскажи наконец, где ты ошивался.

Великолепная реакция и на этот раз не подвела Николая:

- Вот что, ребята, я обнаружил целую подпольную сеть.

- Эсеры? Нацдемы?

- Белые. Собирают своих недобитков и переправляют за кордон. Не исключаю, что тогдашняя авария на переезде - дело их рук. Там разберемся. Сейчас их можно оперативно взять.

- Прямо сегодня?

- Сейчас! Тут рядом их явка. Там, кстати, находится их проводник, - надо брать немедленно.

- Кто их возглавляет?

- Белобородов. Бывший учитель гимназии. Его брат был царским офицером. А перебежчиков там встречают родственники его жены - они живут в Гдыне.

- Ну ты, Павлов, даешь!

- Слушай дальше! За домом Белобородова уже ведется наблюдение - там напротив живет такой Каразеев, сапожник, надежный человек. Давай-ка, Шутов, шлепай к нему и наблюдай в оба. Он уже ждет. Ты, Семка, жми к Лыкову, а мы с Хухро накроем их явку.

- Ну ты, Павлов, дае-ешь! Лыков от твоих штук офонареет. Без ордена ты явно не останешься.

- Ладно, ребята, вперед.

Павлов шел твердым шагом по пробуждавшейся улочке и гордо держал голову на своих могучих плечах, его мозг работал, как всегда, безошибочно, и сердце билось в привычном ритме. Рабочий город начинал свой новый день. И все становилось на свои места.

24-25. 02. 88 Ленинград



Однофамилец

Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых.

Откр. 2, 19

ГЛАВА I

На площадке перед крематорием остановились черная "Волга" и два автобуса - "Икарус" и маленький ПАЗ. Из Волги вышел подтянутый моложавый полковник с красными петлицами и два майора. Из "Икаруса" - полтора десятка пожилых и даже весьма пожилых мужчин. Все они были одеты в строгие идеально отутюженные костюмы темных тонов. У всех орденские планки, и многие еще сохранили былую выправку и гордую посадку голов. У каждого был в руках небольшой букет.

Из маленького автобуса выскочила шумная стайка молодых ребят в парадной солдатской форме и салатных фуражках. В руках - автоматы Калашникова.

По команде молодцеватого прапорщика они моментально построились и впредь вели себя тихо и торжественно.

Томительные сорок минут до начала гражданской панихиды прошли в коротких нервных диалогах:

- Ну что, Иван Трофимович, шесть лет уже не виделись. Теперь и ты в запасе...

- Так еще с позапрошлого года. Не знал, что ли?

- Да-а... Давно не виделись. И тут вот встретились. Не дело. Здоровье-то как?

- Да о здоровье долгий разговор. Ты звони, заходи - живем ведь почти рядом.

Или, скажем, такой диалог:

- Сережа, никак уже полковник!? Я тебя все капитаном помню, как ты из Выборга переводился. Это же вчера было. Ну, времечко летит!

- А я четыре года, как начальник паспортного стола.

- Так ты в МВД?

- У нас в тот год многих из управления перебросили в МВД. В основном, конечно, в политорганы, а меня вот - в паспортный стол и сразу на полковничью должность.

- Ну, правильно: у тебя за плечами и юрфак и ВПШ - тебе и карты в руки, я так считаю. Денис Ильич, наверное, тоже так считал, а?! - ветеран сладко улыбнулся и похлопал полковника по плечу. - Тестю наш привет передавай.

Полковник почувствовал, что на этом разговор прерывать неудобно, да и времени еще уйма. Спросил:

- Вы с ним с сорокового вместе служили?

- Да ты что?! Мы с Денисом еще с Беломорканала! Да с первых дней. Мы ж там всю работу ставили.

- Тесть кое-что рассказывал...

- Вот это служба была - врагу не пожелаешь! Морозище, еду не всегда в срок подвозят, массовые побег, саботаж. Служба была каторжная! Ну, а как дело поставили, легче стало. Я тогда первый орден получил. И Денис

был в том же приказе. В общем, так, Сергей - тестю боевой привет и пусть готовит закуску: на Первомай загляну. Лады?

Так за разговорами прошло время. Пригласили в зал.

Многое было сказано на панихиде - были и сухие казенные речи, были и теплые искренние слова благодарности, памяти и любви. Под звуки гимна пурпурный гроб уплыл в подземелье. Все вышли через боковую дверку на улицу, и загодя построенный взвод дал в воздух несколько холостых залпов.

Один из майоров взял под руку ветерана:

- Юрий Лукич, нам по дороге, подвезем. И вопрос имеется.

- Давай вопрос, Коля.

- Вы, конечно, в курсе - он был вдовец и бездетный. Помогите разобраться в его вещах и в архиве - кое-что пойдет в наш музей.

- Попробуем.

- Вот, кстати, - майор, сев в машину, вытащил из кармана две старинные мятые фотографии.

На первой была большая крестьянская семья. Коренастый бородач средних лет в поддевке и в рубашке, застегнутой на все пуговицы, стоял в центре кадра. Справа на стуле сидел еще более бородатый старик вида хмурого и почти величественного. По левую руку стояла женщина с трех-четырёхлетним мальчуганом на руках. Рядом с ней были две удивительно похожие девушки в платках и пацан в пиджачке на вырост и явно потертом картузе. Его живые глазенки изумленно и испуганно глядели прямо в объектив. Карточка была мятой и изрядно вы-

цвела, поэтому черты лиц уже казались смазанными.

На втором снимке, столь же мятом и выцветшем, была различима красивая молодая женщина, судя по одежде — из крестьянок. В ее позе и взгляде чувствовалась некая нарочитость и напряженность: похоже, ей тогда впервые довелось быть у фотографа.

На карточках снизу была мелко впечатана фамилия фотографа — Бухаловъ, что явно свидетельствовало о дореволюционном происхождении фотографий.

— Так в чем вопрос, Коля?

— Кто на этих фото? Не его ли это семья? Если его, то кто здесь он? — паренек слева или малыш на руках?

— Не знаю. Он мне эти снимки не показывал.

Через несколько минут ветеран вышел на улице Комсомола, а "Волга" выехала на площадь перед Финляндским вокзалом и свернула налево.

Посреди площади стоял позеленевший от времени бронзовый Монумент. Его простертая рука не то взметнулась в зловещем римском приветствии, не то указывала через Неву на большое здание, где майор работает уже много лет.

Сейчас они проедут Литейный мост, майор поднимется или спустится на свой этаж, откроет кабинет, выложит ненужные фотокарточки в стол и, вероятно, забудет о них.

Семку Бочарова взяли в Красную Армию в 1920-м. Потом он, само собой, всюду писал, что пошел добровольцем, но на деле его попросту мобилизовали, хоть и было ему всего шестнадцать. Иные не хотели, а Семен отнесся к этому спокойно — дома очередной неурожай, маета, а в армии хоть кормят путево. Да и парень был лихой — не сидеть же ему весь век в деревне Лёстово, что затерялась в лесах и топях под Волгой. Теперь вроде не то время.

В общем, поехал он в Вологду подзаработать, да и попал в очередную мобилизацию. Мог избежать ее, но не стал. И никогда об этом не жалел. Отписал родителям и невесте Татьяне: мол, так и так — надо годик повоевать за рабоче-крестьянское дело, вернусь красным командиром, на коне.

Солдатом стал хорошим. На службу не жаловался. А главное — пользовался доверием комиссара Федора Кнышу и доверие это всегда оправдывал. Так однажды, году уже в двадцать пятом, Семен случайно увидел в руках одного командира книгу, на обложке которой он ясно различил фамилию автора: Мартов. Семен доложил Кнышу, и что же? Вскрылось, что этот командир — неразоружившийся меньшевик. Его увезли в штаб дивизии, а назавтра по этому же делу туда взяли двоих военспецов. Перед строем комиссар объявил Сене благодарность, а после вызвал в штаб полка, убедился в обстоятельной беседе, что Семен прочно усвоил материалы политзанятий, и покровительственно сказал:

— Думаю, в органах ты сумеешь работать.

- Это что значит?

- Это значит, первым делом поедешь учиться.

Семен не вполне понимал, что за органы имел в виду Кныш, но безошибочное чутье подсказало, что в его жизни начинается что-то значительное, и дал согласие.

Как же раскаивался он в этом года через три! Он скрыл свое происхождение! Скрыл, написав в автобиографии, будто родился в семье бедняка. А ведь у отца было крепкое хозяйство - лошадь, да корова с телком (теперь уж бык, если не забили), да козы. А изба какая! С коньком и резными ставнями, отдельно - хлев и курятник. С каждым годом это родство представляло собой все больший криминал. И хотя контакт с семьей давно был прерван, Сеня с замиранием сердца думал о том, что может быть, если все вскрыется. В этом случае единственное, что хоть как-то ему поможет, - это ожог.

Ожог покрывал почти всю правую щеку, вывернул нижнюю губу и распластал свою тонкую щупальцу по левой щеке почти до мочки уха. А чуть выше, на левой же части лица был глубокий рубец.

Рубец он получил еще в двадцатом в лихой кавалерийской атаке, а ожог появился двумя годами позже. Передовые отряды красных на плечах золотопогонников ворвались в Севастополь, Сенина часть с энтузиазмом штурмовала большой винный склад. Шальная пуля попала в канистру со спиртом. Спирт вспыхнул, и несколько бойцов - в том числе и Семен - получили ожоги.

Ожог и сабельный рубец сильно изменили

внешность Семена Бочарова, но в любом случае они яснее ясного свидетельствовали о том, что он есть истинный борец за революцию и кожаную куртку с маузером носит не зря.

И все же, если кулацкое происхождение вскрыется, бывшие заслуги и шрамы мало помогут. Дернул же черт в это дело сунуться — теперь живи, как на гвоздях!

А время шло вперед. Новые успешные расследования, новое назначение и — надо же! — в Вологду.

Уже шла быстрыми темпами коллективизация, разворачивался новый ответственный фронт — фронт борьбы с кулачеством. Прежние страхи вновь одолели Семена Кузьмича. Пока одно было очевидно — на новом фронте он должен быть в первых рядах.

Но столь же очевидным стало и другое: если уполномоченным в Лёстово поедет не Семен, а кто-то другой из управления (неважно кто), ему — Семену Бочарову — конец.

Семья Бочаровых в Лёстово на виду и на слуху — раскулачат мигом. А они начнут вопить, что сын их Семен в двадцатом в Красную Армию ушел, достанут фотографии, письма. И все: тут ему, Семену Бочарову, крышка.

*

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Протекли четыре мучительных месяца, пока наконец Семену Кузьмичу стало ясно, что в район едет он. Так распорядилась судьба.

Судьба?!

Что мы знаем о судьбе?

Что знала о судьбе бывшая невеста Семена Татьяна, когда цыганка нагадала ей, что скоро встретит она своего суженого? Ее суженый канул в пучину Гражданской войны; с той поры она успела выйти замуж и овдоветь. Как понять предсказание?

Некоторые люди считают, что цыганке руку нельзя даже показывать – прорицатели, будто, не предсказывают ситуацию, а притягивают ее; предсказала – значит застолбила, значит так тому и быть, и нет альтернативы, и наша свобода в выборе судьбы становится иллюзорной (а может, она и прежде была чистой иллюзией?).

Как бы там ни было, Семен Кузьмич едет в район, едет во главе сводного отряда. Районные власти окажут ему полную поддержку. Ему выделяют и красноармейцев для конвоирования высланных.

В полевой сумке Семена лежит *разнарядка*.

ГЛАВА III

Жили – не тужили, пахали землю; урожаю – радовались, а в иной год и голодали.

В восемнадцатом земли дали – слава Богу. В общем, у Лёстовских было все, как у людей, – рождались, проводили дни и годы в своих заботах, помирали. Кто трудился – богател, кто пил – бедствовал. Все, как у людей.

И на тебе – дождались: приехал во френче. Не то оперуполномоченный, не то чекист – как его?..

На морде ожоги, рубец. В волосах седина, хотя по слухам ему едва за тридцать. А по выговору наш, вологодский. И фамилия-то, как у нашего Кузьмы - Бочаров. Лютует, сука!

Шестеро семей раскулачил - глазом не успели моргнуть. Одним хоть манатки дал спокойно увязать, а других обыскивать полез. Ну, Бочаровы - ладно: Кузьма мужик ушлый, мог обрез заначить, а у Татьянки-вдовы чего искать? У нее в избе не то что обреза - топора путного нет.

А корова была. И коза была.

Получается, кулачка.

Мы - колхозники. А Таня - кулачка. Вот так.

Во вторник их на станцию погонят. Говорят, под Архангельск их всех. А черт его знает, куда их на деле завезут.

Ну, жизнь пошла!

Семью вывели на двор.

Не узнали, кажется.

Не, не узнали.

Ну где же? Где? - мысль лихорадочно сверлила голову. А руки с той же лихорадочностью перерывали комод.

Ага! - письмо. Вот письмо, которое он по дуруости послал в двадцать втором. Там была фотокарточка - еще до ожога сделали. Вот она. Слава Богу.

На всякий случай прихватить старую карточку, где вся семья. Там, правда, еще пацаном снят, но береженого Бог бережет.

А, черт! Татьяне ведь написал тогда же. И такую же карточку послал. Ну да, их две было-то. Бегом к ней!

Красноармеец вывел заплаканную бабу на крыльцо. А уполномоченный с обожженным лицом деловито вошел в избу.

И вновь дрожащие руки рылись в комод. Отлично! - письмо есть. Где карточка? Где карточка?! Взгляд упал на стену и наступило долгожданное облегчение.

Ну, вдова! Нет бы на стенку карточки мужа повесить - пришила ту самую фотографию, где Семен в буденновке. Рядом - свою фотографию семнадцатого года; ничего была девка.

Взял обе карточки. Оправил френч. Шагнул к двери. Вернулся, отворил крышку погреба - пускай думают, что искал оружие. Все...

Теперь отправить рапорт, и пусть на завтра подадут товарный вагон и теплушку для конвоя.

Уполномоченный шел к правлению, когда дороге ему преградила пожилая женщина, старуха, можно сказать. Глаза встретились.

- Что в-вам? - это прозвучало хрипло и неуверенно, он сам не узнал своего голоса. В груди часто застучало, и сердцебиение подкатило к самому горлу. Стало поташнивать.

- Куда ж ты гонишь нас, сынок? За что так?

- Это все? - выдавил он.

- А звать тебя как?

- Не имеет отношения к делу, гражданка. Обращайтесь на Вы.

Почему так вспотели ноги в яловых сапогах? Почему френч душит? Надо расстегнуть верхнюю пуговицу.

- Да ведь Бочаров вы. И мы Бочаровы. Да... - это дрожащим заискивающим шепотом. Но

смотрит прямо в глаза. — Не родственник часом?

— Нет, гражданка, однофамилец.

Поспешно обошел старуху, выровнял шаг. Вот и правление. До спасительного крыльца еще семь-восемь шагов... Там можно ото всех запереться, переложить злополучные фотографии в нагрудный карман и спокойно написать рапорт.

18-20. 02. 88 Ленинград



Леонид РЖЕВСКИЙ

Встречи и письма*

(О русских писателях Зарубежья
1940-1960-х гг.)

М. А. АЛДАНОВ

Марк Александрович Алданов был интереснейшим писателем русского зарубежья. Ученый-химик по образованию, он, думаю я, художественную прозу считал подлинным своим призванием и опубликовал, еще живя в России, две книги, из которых первая носила название "Толстой и Роллан"; а за границей, куда он уехал в 1919 году, стали один за другим выходить его исторические романы, которые даже Краткая Литературная Энциклопедия в своей заметке о нем называет "увлекательными". Всего было их, как я сейчас подсчитываю, не менее пятнадцати. Увы, эмигрантской литературы я, конечно, не знал и, оказавшись после Второй мировой войны на Западе, всегда стыдился признаваться в этом зарубежным авто-

* Окончание. Начало см. в "Гранях" № 156(2), 1990 г. - Р е д.

рам, хотя – где же можно было тогда в Москве достать их книги?! Так и с Алдановым. "Вам, вероятно, не случилось прочесть что-нибудь из моих вещей?" – спросил он меня в одно из наших первых свиданий в Париже в 52-ом году. Кажется, было это в небольшом кафе неподалеку от зала Шопен-Плейель, где я только что читал лекцию о русских послеоктябрьских писателях.

– Не случилось, – подтвердил я, – но постараюсь теперь наверстать упущенное.

– Знаете, – сказал он, – в советской Литературной энциклопедии мои исторические романы названы "реакционными". Это в высшей степени несправедливо. Я никогда не занимался какими-либо обличениями, хорошее и дурное изображал в меру, в соответствии с правдой. И злостности в изображении русских интеллигентов, особенно современников, быть у меня не могло, наше поколение, как правило, было несчастливо, одинаково и радикалы и консерваторы... Да... А теперь расскажите-ка вы о ваших творческих планах.

Я тогда только еще начинал свои писания. Был редактором журнала "Грани", издававшегося во Франкфурте, и печатал там по частям свой первый роман "Между двух звезд", который годом позже выйдет в издательстве им. Чехова. В "Грани" я и попросил Марка Александровича дать что-нибудь свое.

– С охотой бы дал, – отвечал он, – но по соглашению все мои русские новые вещи я должен отсылать в нью-йоркский "Новый журнал"...

Следующая наша встреча состоялась примерно через год, тоже в Париже, у Ивана Алексеевича Бунина.

Алданов пришел с женой, Татьяной Марковной, и, как мне теперь кажется, "открыл" я его для себя в тот вечер гораздо полнее, чем в предыдущие встречи. Было в нем много большой душевной мягкости и доброты. Просидели мы за столом около четырех часов; Бунин с трудом преодолевал недомогание и усталость, раздражался на Веру Николаевну, жену, и Алданов с подкупающей доброжелательностью снова налаживал разговор. "А как идет ваша книга о Чехове, Иван Алексеевич?" - спросил он в одну особенно тяжелую паузу, - и Бунин вдруг оживился, достал страничку ялтинских своих воспоминаний, просил меня прочесть вслух... "Чехов - спасительная тема, если он не в духе, - сказал Алданов, когда мы уже возвращались в метро, - он упорно над книгой работает, несмотря на болезнь; дай Бог, чтобы удалось ему ее кончить!"

Увы, это была последняя моя встреча с Алдановым, дальше шла только переписка между Ниццей, где жил он, и Лундом, университетским городком южной Швеции, куда мы с женой переехали в том же, 1953, году, - меня пригласили в тамошний университет читать лекции.

Вот - из письма его от 28 января 54-го года:

Мне тоже была чрезвычайно приятна наша встреча у покойного Ивана Алексеевича. Помнят ли его еще в Швеции, читают ли? Знают ли других из нас? Меня до войны печатало стокгольмское издательство Гуго Геберса, но оно давно больше не существует, владелец умер. Тогда книги мои в Швеции читали (и хвалили), а теперь, верно, забыли. /.../ 20-ой книги "Граней" с Вашей статьей о Бунине пока не получил. Я написал об

Иване Алексеевиче по-французски в "Лё Монд", а по-русски в "Новом журнале". /.../

Очередные номера "Граней" неизменно ему посылались, и я с гордостью прочел в его письме от октября 54-го года доброжелательный отклик о напечатанной там моей повести:

Дорогой Леонид Денисович.

На днях я получил из Нью-Йорка посланную мне туда по моему прежнему адресу 21-ую книгу "Граней". Вероятно, это сделано по Вашему указанию, - разрешите сердечно Вас поблагодарить.

Ваша "Сентиментальная повесть" превосходна. Пишу это не только Вам. Позавчера, например, в письме к Е. Д. Кусковой я писал то же самое о "Сентиментальной повести", советовал достать и прочесть. Всё в повести отлично, есть и необыкновенно удачные словесные находки /.../. Посылаю это письмо по адресу редакции "Граней", не зная, где Вы теперь находитесь. Я всё пока в Ницце, наша виза в Соединенные Штаты продлена до будущего сентября. Был в Амстердаме на Международном литературном конгрессе, скоро буду в Париже. Не собираетесь ли и Вы туда? Мы оба шлем Вам и Вашей супруге самый сердечный привет и лучшие пожелания. Ваш М. Алданов.

В 2-3 следующих года своей жизни в Швеции я прочитал всё, написанное Алдановым, и в моем представлении возник облик большого и оригинального в русской литературе писателя, одновременно историографа и художника, мастера исторического портрета и живописателя исторических конфликтов. Не то чтобы все алдановские романы были на одинаково высоком творческом уровне, но впечатляла огром-

ность задуманного и осуществленного им творческого замысла – создать романские циклы, охватывающие крупнейшие исторические события, западноевропейские ("Девятое термидора", "Чёртов мост", "Святая Елена, маленький остров" и др.) и русские: "Истоки", "Ключ", "Бегство", "Пещера". В этом далеко не полном перечне романы "Истоки" и "Ключ" были, по моему, исключительными творческими удачами. Мне вдруг показалось совершенно диким, что миллионы русских читателей в СССР, как и я сам до войны, не знают интереснейших произведений Алданова, и я решил использовать свои права – члена литературоведческой кафедры шведского университета – и выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию. Я написал об этом ему самому – для послания в академию нужны были кое-какие справки. Вот отрывки из его большого ответного письма от 21 февраля 1957 года:

Дорогой Леонид Денисович.

Я чрезвычайно тронут Вашим предложением. Подробнее об этом не говорю, - трудно выразить чувства сердечной признательности.

Покойный Иван Алексеевич Бунин каждый год выставлял мою кандидатуру на Нобелевскую премию: как бывший лауреат он имел на это право и делал это ежегодно в январе-феврале заказным французским письмом на имя Шведской Академии. /.../ Совершенно согласен с Вами, что русскому эмигранту получить премию труднее, чем кому бы то ни было. /.../ Одним словом, если выставите, окажете мне огромную услугу. /.../ Я сам считаю лучшей из своих книг роман "Истоки", избранный в Англии "Обществом книги"; в 1948 году появился там под заглавием "Before the Deluge"

("Перед потопом") у Джонатана Кэпа. Под тем же заглавием книга вышла у Скрибнера в Нью-Йорке. Также по-французски и по-немецки. Вы, кажется, знаете, что мои книги выходили на 24 языках. Позднее Сталин отобрал у меня половину "рынков": Польшу, Чехословакию, Венгрию, балтийские страны и др. Один из моих романов "The Fifth Seal" (по-русски "Начало конца") был выбором американского (общества) "Книга Месяца" и имел поэтому очень большой тираж в Соединенных Штатах. /.../ Роман "Ключ" я пошлю Вам в дар немедленно. Пошлю и "Истоки"... /.../

Выдвижение алдановской кандидатуры на Нобелевскую премию подготавливалось очень обстоятельно: ее поддержали Славянский институт Лундского университета, кафедра литературы Стокгольмского университета (профессор Арумаа), профессора в Осло и в Копенгагене – известный датский славист Стендер-Петерсон. Надежды на успех росли, но для рассмотрения в текущем году посылать материал в Академию было уже поздно, а 25-го ноября Алданов скончался в Ницце, 68-ми лет от роду.

Следующий, 1958, год принес-таки славу русской литературе – нобелевская премия присуждена была поэту и автору романа "Доктор Живаго" Борису Пастернаку.

Но и вне нобелевского ореола книги замечательного русского автора Марка Александровича Алданова еще ждут на его родине своего читателя.

ФЕДОР СТЕПУН

В Краткой Литературной Энциклопедии Федору Августовичу Степуну посвящено 34 строки. Они вполне точно перечисляют факты его биографии: "в 1922 году был выслан из Советского Союза"; был профессором Дрезденского университета, откуда уволен при Гитлере "за антифашистские настроения", в годы после Второй мировой войны читал лекции в Мюнхенском университете. "Его основная проблема - антинормия жизни и творчества - исследуется в его мемуарах "Бывшее и несбывшееся"..."

Все это верно, как я уже сказал. Но что же дополнительно может узнать советский читатель о личности Степуна, его творчестве, философии, если ни книг его, ни материалов о нем раздобыть невозможно. А личность была блестящая! Оказавшись после конца войны в Мюнхене, я еще до знакомства со Степуном слышал о его исключительном ораторском таланте, о том, что на его лекциях аудитория ломилась от слушателей. Позже, когда познакомились с ним, он скажет мне как-то: "Знаете, в юности моей отец говаривал мне: «Эх, Федор, далеко б ты пошел, если бы родился заикой!»"

А после знакомства сложились у нас почти дружеские отношения, несмотря на разницу лет. Я бывал у него, а он приезжал к нам на Штарнбергское озеро, где мы с женой проводили летние каникулы. И переписывался он охотно, несмотря на занятость. Писал мне:

Очень спешу, как, к сожалению, почти всегда, хотя состояние спешки и ненавижу и вполне мог бы в каче-

стве профессора в отставке тихо жить, ничего не делая и ничего не думая. Но не выходит. Есть во мне какой-то крутень, который носит меня с лекциями по разным городам и конференциям и все еще заставляет читать в университете по 4 часа в неделю. В этом году читаю историю русской философии и веду по ней же семинар. Слушает около 300 человек. В семинаре 20 очень живых студентов и студенток...

Или из письма о том же, позднее, в феврале 58-го года:

Мы живем по-старому. По-старому очень хорошо, но и по-старому беспокожно. В течение октября и ноября я занимался, как говорили у нас в Калужской губернии, отхожим промыслом, то есть ездил читать лекции по разным городам Германии. Везде много публики и много оживления. Россия Германию очень волнует, но ее и раздирает противоречие между твердым антисоветским курсом правительства и советофильскими тенденциями не только левых партий, но и более живой интеллигенции. В городе Хаген был организован целый курс лекций о России. /.../ Я читал о силе и сущности русской культуры. Прекрасный новый зал в 800 мест, забитые публикой коридоры и проходы, в первых рядах представители правительства и соседнего университета...

Русская культура, русская литература, в частности, когда мы встречались, тоже составляли тему наших бесед. Причем многие мысли его о писателях были вполне своеобразны. Любил Тургенева; прочитав книгу Бориса Зайцева о Тургеневе, находил, что там есть подлинный Тургенев, которого русский читатель как-то не замечал за Тургеневым-социологом

и Тургеневым-пейзажистом. "А природу и таинственность любви, - говорил он, - Тургенев чувствовал глубже, чем Достоевский, и, пожалуй, глубже, чем Толстой. У Достоевского она подменена то аспектом сострадания, то аспектом сладострастия, а Толстой, как вы помните, обругал Соню пустоцветом за то, что она не родила, а Наташу заставил на последних страницах "Войны и мира" не петь, а показывать детские пеленки. Что? Возражаете? Я, конечно, знаю все то, что можно сказать об образе Наташи и иных описаниях любви у Толстого, но все же мистика любви была ему известна меньше, чем Тургеневу"...

Во многих письмах ко мне Федора Августовича были отклики на мои собственные опусы в прозе, которые я печатал тогда в нью-йоркском "Новом журнале". "Мне представляется Ваша вещь, - пишет он о повести "Два варианта", - громадным броском вперед по сравнению с Вашими первыми работами. Она исключительно интересна и одновременно, я не боюсь слова, потрясающе сильна". Столь же лестный и важный для меня отзыв получил я от него в марте 61-го года о повести "...показавшему нам свет", вышедшей отдельной книгой*. Как философ его заинтересовал, я думаю, экзистенциальный аспект ее темы. Он писал:

Хочу сказать, что Ваша новая повесть произвела на меня очень большое впечатление. Я читал ее и с человеческим потрясением и с художественным наслаждением. В Вашем искусстве есть что-то очень искусное, почти

* В издательстве "Посев". - Р е д.

даже искусственное, но как раз это и делает возможным эстетически примиряться с той оголенностью, которой дышит Ваше описание нашей человеческой предсмертности. В центре на дне смерть, а кругом какое-то "литературоведческое оформление"; новизна языка и большая меткость в описании даже и мелькающих лиц.

Сам Федор Августович Степун работал в эти годы над целым рядом творческих портретов выдающихся носителей русской культуры начала века. Писал мне:

Над Ремизовым думаю. С ним переписываюсь. Медленно и со вкусом его читаю, но о нем еще не пишу. Сначала должен написать портреты Соловьева, Бердяева и Вячеслава Иванова.

И уже много позже, в апреле 1962 года:

Я сейчас пишу большую статью-портрет о Вячеславе Иванове; Соловьева и Бердяева кончил. Он очень труден, очень сложен, но и очень интересен. Это всё же один из самых больших ученых России. Всё, что он знает, - он знает точно, хотя с вполне точными знаниями, как философ и пророк, обходится иногда и легковесно. В начале мая еду недели на две в Рим, чтобы поработать в его архиве...

Я знал, что он готовил сборник таких статей-портретов для немецкого издательства, который и выпустил в 64-ом году, за год до своей смерти, под заглавием "Mystische Weltanschau" ("Тайное в мирозерцании"). Мне очень хотелось, чтобы хоть часть этих портретов вышла также и по-русски.

Осуществить это удалось таким образом: в

59-ом году я и Геннадий Хомяков-Андреев, русский писатель и журналист, основали ассоциацию русских авторов под названием "Товарищество зарубежных писателей". Председателем его выбран был Борис Зайцев, а после смерти его - профессор Степун (сам я при всех сменах руководства числился заместителем председателя). При "Товариществе" сразу же возникло и издательство. Среди первых пяти книг выпустили мы в 62-ом году и сборник Федора Степуна "Встречи". По поводу этого заголовок он писал:

Я долго выбирал и решил назвать свою книгу "Встречи", потому что это, пожалуй, самое точное название. Встречи бывают случайные, мимолетные и - вековые. В моей памяти, давно уже немолодого человека, множество самых разнообразных встреч. Обширный выбор. И я включил в эту книгу самое незабвенное, самое важное. В том числе и две встречи с великими тенями прошлого - с Достоевским и Толстым. А затем встречи подлинные, живые - Бунин, Зайцев, Вячеслав Иванов, Андрей Белый /.../.

Интересна была в книге и статья, которую Степун не упомянул в своем перечне - статья об эмигрантской и советской литературе, в которой он между прочим дает высокую оценку творчеству Леонида Леонова.

Заканчивая, надо отметить, что пишу это в "юбилейное" время: в ноябре 84-го года исполнилось 100 лет со дня рождения Федора Августовича Степуна, - и хочу сказать, что самое значительное его произведение - это его воспоминания в двух томах, вышедшие сперва по-немецки, а по-русски выпущенные издатель-

ством им. Чехова в 1956 году. В этих двухтомных воспоминаниях удивительно гармонически и полно представлен Степун-философ, Степун-ученый, Степун-художник. Конечно, и историк отчасти: последний том воспоминаний содержит два раздела: "Февраль" и "Октябрь". "Я мое "Бывшее и несбывшееся", - писал мне Федор Августович, - ощущаю, прежде всего, как произведение художественное и потому мне было бы очень ценно, чтобы о нем высказались люди искусства, у которых есть слух и вкус".

Что ж, остается лишь надеяться, что книги Степуна станут доступны многочисленным ценителям творческого слова.

ГАЙТО ГАЗДАНОВ

Гайто Газданов, осетин по происхождению, - один из тех русских писателей за рубежом, имя которого, по причине этой зарубежности, на родине мало кому известно. А он написал вещи превосходные, и недаром Горький отметил его первый роман "Вечер у Клэр", вышедший в 1930 г. в Париже, - Гайто показывал мне это коротенькое, но доброжелательное письмо к нему Горького.

Был Газданов знаком и с Бабелем. Бабель вспомнил о нем однажды в Париже, в разговоре с художником Анненковым, рассуждая о своем возвращении в СССР и другой альтернативе. "Остаться мне тоже здесь и стать шофером такси, как героический Гайто Газданов?" - говорил Бабель.

Это было в начале 30-х годов. Как извест-

но, Бабель выбрал тогда возвращение. И через пять лет погиб жертвой сталинского террора.

Гайто же (иначе - Георгию Ивановичу) Газданову судьба подарила еще четыре десятилетия жизненного пути. Отчасти и в самом деле героического - жизнь парижского шофера такси не была легкой: трудно уплотнялись в ней борьба за хлеб насущный, университетская учеба и творческие часы. "...Я всегда жил в глубокой нищете, и заботы о пропитании поглощали все мое внимание", - пишет Газданов в своей автобиографической книге "Ночные дороги" - лучшей, по-моему, из его книг, изданной издательством имени Чехова в Нью-Йорке. Но он тут же добавляет: "Однако это обстоятельство дало мне относительное богатство впечатлений, которого у меня не было бы, если бы моя жизнь протекала в иных условиях".

"Богатством впечатлений" обладал он немалым - оно выступало и при встречах - был он превосходным рассказчиком, - и в его писаниях, - я "открывал" для себя, как радостное новшество, такие замечательные его рассказы, как "Вечерний спутник" или "Княжна Мэри", о которой чуть позже скажу особо.

Мы познакомились, да и подружились, с ним в начале 50-х годов на радио "Освобождение", месте работы его в то время, и он частенько приезжал на Штарнбергское озеро под Мюнхеном, где мы с женой провели много летних отпусков кряду. Пора нужды была у него уже позади; профессиональный водитель и знаток автомобиля, ездил он тогда на мощной немецкой "Изабелле-спорт", на которой, случалось, делали мы с ним короткие вылазки в

Италию и в Париж. Ну, а на даче у нас, тоже изредка, мы рыбачили – в Штарнбергском озере водились завидных размеров лещи.

В наших частых с Гайто Газдановым встречах разглядел я, как мне теперь кажется, что был он очень скромн и была у него добрейшая, отзывчивая душа. Было даже, я бы сказал, тщательно скрываемое простодушие, которое вдруг промелькнет и осветит человека по-новому. Но всегда и у всех на виду обычен был Газданов весьма критичный к ближнему (особенно если этот ближний был неуклюж в языке), Газданов-скептик, любивший парадоксы и иронию в своих суждениях и оценках.

Все эти черты отчетливо отразились в нашей весьма обширной переписке, которая длилась без малого 20 лет до смерти его в 1971 году. Письма его всегда были интересны и неизбежно – с юмором, писал ли он о жизни, о людях или собственно по делу: я по его заказу посылал иногда для "радио" свои литературные статьи. Вот одно из писем по этому поводу, от декабря 68-го:

Дорогой Леонид Денисович, еще кланяюсь Вам от белого лица до сырой земли и благодарю за присланную пленку - очень хорошо, слушал с искренним удовольствием /.../ Меня лично очень заинтересовал роман, о котором Вы говорите в Вашей передаче, - жаль, что я его, вероятно, не прочту, потому что, как Вы знаете, альманах "Мосты" не выйдет - его набирают, слава Богу, одиннадцатый год, кажется, и все не выходит. Очень хорошо, что Вы находите время для литературы - там, глядишь, роман, там рассказ, это вещь положительная. Хотя я, как Вы знаете, вообще против литературы, но это главным образом относится к моей соб-

ственной графомании, а Вам писать следует. Будьте ангелом, пришлите еще так недельки через две или три очередную передачу "Дневника писателя". У нас надежда главным образом на Вас и Адамовича - оскудела земля русская за границей. Конечно, можно бы перейти в литературную дворницкую и давать (следуют 2 имени), но так низко мы еще не пали...

Дошли до меня слухи, что бедный Чиннов читает перепуганным насмерть американским студентам свои стихи. Правда ли это?..

Вот еще одно письмо, предрождественское, из Парижа, о жизни и литературе:

Дорогие друзья! Желаем Вам приятных праздников и процветания в Новом году, в общем всего того, что на языке гадалок и ясновидящих называется исполнением желаний. Жизнь тут у нас идет потихоньку. "Живем, окруженные иностранцами", - как писал из Парижа своему приятелю в Югославию один русский житель. /.../ Видел в русской газете "Русская мысль" объявление о том, что только что вышла из печати Ваша книга, но, кажется, до Парижа еще не дошла. А у нас тут, в Париже, писать некому и не о чем. Которые еще существуют, стареют, а так как они были уже не очень молоды во время русско-японской войны, то ожидать от них юношеской литературной энергии не приходится. Единственное исключение - Борис Зайцев, дай ему Бог здоровья: 85 лет - и хоть бы что, бодр, закусывает, выпивает, говорит о литературе и время от времени пишет в газете...

Много в письмах Гайто о писателях-современниках:

"Стейнбек, по-моему, писатель неровный, но некото-

рые вещи у него неплохие, но он ведь перестал писать лет двадцать тому назад."

"Голсуорси я очень люблю - первые книги его бесконечной серии Форсайтов..."

"Что касается Набокова, то рассказы у него замечательные, романы хуже, а теперь, под конец жизни, он впал в какой-то глупейший снобизм дурного вкуса - к чему, впрочем, у него была склонность и раньше..."

Приведу еще одно "литературное" письмо Газданова, полушутливое-полусерьезное: подтрунивая иной раз над своим писательством, он, однако, очень бережно относился к написанному им и, конечно, знал себе цену. Письмо от 31 января 62-го года:

Дорогой Леонид Денисович! Обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой: напишите что-нибудь в альманахе "Мосты". Что Вам стоит? Напишите рассказ и пошлите! Редакции доставите удовольствие, читателям тоже, а меня просто спасете. Не помню, писал ли я Вам, что я послал рассказ туда, и это бы само по себе ничего, но редактору пришла в голову гибельная мысль - напечатать в том же номере пьесу - можете себе представить? И чью? Старухи Берберовой! Вы понимаете, какое соседство! Если бы был Ваш рассказ, то старуха была бы оттиснута на задворки, что в какой-то степени спасло бы номер. Сделайте Божескую милость, напишите! /.../ Я написал редактору, что слезно буду Вас просить о спасении. Он, однако, трагичности происходящего как-то не сознает, что ли, а старуху считает, ну, чем-то вроде Гусева-Оренбургского или Мамина-Сибиряка...

В заключение скажу собственно о писательском мастерстве Гайто Газданова. Мне иногда

хочется - не знаю, с уверенностью или нет, - назвать его прозу "медитативной", то есть "прозой размышления", - так полна она мыслей-рефлексов, сопровождающих описание и идущих иной раз "цепочкой". Цепочка эта была отчасти западно-литературной природы, но внутренний лиризм целого был неоспоримо русский, и традиционно русским, в литературе идущим, может быть, от Лермонтова, был некий парадоксализм бытия, спроектированный на собственно эмигрантскую жизнь. Я упоминал уже выше о рассказе Газданова "Княжна Мэри", совсем небольшом, десятистраничном, но очень характерном для творческой манеры автора. Вот сюжет:

В одном из многочисленных кафе ночного Парижа рассказчик замечает некоего весьма жалкого вида завсегдатая - человека (я цитирую) "с черно-белой щетиной на лице, всегда приблизительно одинаковой, так что получалось странное впечатление - можно было подумать, что он никогда не брился, но в силу удивительной игры природы его щетина не делалась ни длиннее, ни короче, как у покойника". Человек этот оказался русским, сотрудником распространенного эмигрантского журнала, где, по его словам, был он жертвой зависти и интриг, - а кроме того, - графоманом-романтиком без надежды издаться. Вскоре человек этот умирает, и, разбирая оставшиеся после него бумаги, рассказчик обнаруживает, что в своем журнале покойный вел многие годы "Женский листок" - советы, как следует пудриться, каким должен быть крем для лица, как выбирать туалеты ("вечером носят светлые тона: цикламен, гелиотроп, лиловый"), как вести

светский разговор со "скромным культурным блеском". И все статьи имели одну и ту же подпись: "Княжна Мэри".

Трогательно-глубокий рассказ свой Газданов заканчивает так:

Когда этот человек оставался один, — в том мире, который был для него единственною реальностью, с ним происходило чудесное и торжественное превращение... /.../ И если бы у моего бедного знакомого, судьба которого так внезапно пересекла мою жизнь, хватило бы сил на последнее творческое усилие, то на серой простыне больничной койки, вместо окостеневшего трупа старого нищего, лежало бы юное тело княжны Мэри — во всем своем торжестве над невозможностью, временем и смертью.

СЕРГЕЙ МАКСИМОВ И ДР.

Я хочу рассказать о литературной жизни русского зарубежья после окончания второй мировой войны, в 50-е, главным образом, годы. В это время, после репатриации, добровольной и принудительной, на Западе оставалась, по приблизительным данным, не одна сотня тысяч невозвращенцев. Попадались там и люди творческого труда — художники, музыканты, артисты, литераторы. Кое-кто из них уехал в Америку, остальные осели преимущественно в Германии. Много ли среди них насчитывалось работников пера? Трудно сказать точно, но вот один пример в ответ на вопрос: в 1958 году, по поручению тогдашнего Объединения послевоенных эмигрантов, я составил сборник, который назвал "Литературное зарубежье" —

антологию произведений авторов, покинувших родину в результате войны. Их, этих авторов, в сборнике было 18. Шестеро поэтов, один автор ценнейшей монографии "Укрощение искусств" Юрий Елагин и десять прозаиков. В их число входил и я сам, но, разумеется, о самом себе мне говорить не годится, а скажу о своих "собратях по перу", как любил называть нас Иван Бунин, притом - только о четырех, самых, по-моему, заметных, которые к этому времени были уже авторами нескольких книг. Их имена: Сергей Максимов, Николай Нароков, Борис Ширяев и Геннадий Андреев-Хомяков.

Напомню, кстати, что в эти годы было уж на Западе три русских издательства и по крайней мере три собственно художественных "толстых" журнала.

Итак - о моих современниках-писателях.

Сергей Сергеевич Максимов. Родился в 1917 году, на Волге - мать его была дочерью волжского лоцмана. Среднюю школу окончил в Москве, потом поступил в институт им. Горького. В 36-ом году его арестовали по обвинению в антисоветской деятельности; приговор - 5 лет лагеря. Он отбывает их на Печоре. Максимов уже с 15-летнего возраста сотрудничает в детских и юношеских журналах "Мурзилка" и "Смена". Оказавшись за рубежом, он в 1949 году выпускает роман "Денис Бушуев"*.

* Роман был напечатан в сдвоенном номере журнала "Грани" № 6-7, а позднее вышел отдельной книгой в издательстве "Посев" (1-е изд. - 1949 г., 2-е изд. - 1974 г.) - Р е д.

который получил широкую известность, был переведен на несколько языков и стал как бы первым творческим словом "новой" эмиграции.

Встретился я впервые с Максимовым незадолго до окончания войны, зайдя в одном белорусском городе к старейшему русскому крестьянскому поэту из группы "Перевал", Родиону Акульшину, тоже затем подавшемуся на Запад. С Максимовым мы обменялись всего несколькими словами, причем мне показалось, что был он нетрезв. Увы, так оно и было, и потом в течение многих лет доходили до меня сведения о недуге этого одаренного молодого писателя, алкоголизме, который и свел его преждевременно в могилу в 1967 году. Сергей Максимов раньше меня уехал в Америку. Составляя сборник "Литературное зарубежье", я написал ему туда - просил разрешения напечатать из его романа отрывок. "Печатайте любой, по своему выбору!" - ответил он мне, и на этом наша переписка кончилась.

Издательство имени Чехова в 1952-53 годы выпустило еще три книги Сергея Максимова: том второй его романа и два сборника рассказов: "Тайга" и "Голубое молчание" - зарисовки, главным образом, пережитого в лагерях. Думаю, однако, что лучшее из написанного Максимовым - это роман "Денис Бушуев" (том первый) - здесь выступает он уже вполне сложившимся автором, мастером драматического конфликта и живых красок. Чуть детективный сюжет в романе - конечно, от западных вкусов, но богатство портретов, пейзажа - особенно, и лиризм - вполне русской традиции. Волга расплескалась во весь роман; в нем множество мест, когда автор, походя,

несколькими штрихами зарисовывает ее, спокойную или буйную, ночную под звездами (низкими - "хоть веслом сшибай") или просыпающуюся. Штрихи складываются в картины. Приволжская весна, например:

Мутные потоки вешней воды катились по оврагам и балкам, увлекая за собой ветки, прошлогодние листья, разбухшую кору... Захлёбываясь, токовали в лесах терева, свистели рябчики. На зорях, когда небо окрашивалось в мягкий и теплый красновато-лиловый цвет, в перелесках, под шоколадными верхушками берез, тянули длинноносые вальдшнепы. За два дня до Пасхи, на рассвете, взревела кормилица-Волга, сломала ледяной покров и, радуясь теплу и свету, шумно понеслась, заторопилась, качая на своей широкой груди, как младенцев, огромные радужные льдины.

Или еще отрывок: Денис, герой романа, видит, как угоняют в лагерь его старого деда Северьяна, принявшего на себя чужую вину, под которую, однако, подвели политическую подоплёку:

И вдруг четко и ясно Денис увидел в толпе арестантов высокого седого старика с холщёвым мешком за спиной и с зипуном на согнутой левой руке. Он шел прямо, опираясь на суковатую палку и глядя поверх голов арестантов куда-то вдаль. Что-то величественное, суровое и спокойное было во всей его мощной фигуре...

"За вину уж давно-о-о искуплённую"... - неслась песня, и в ней все сильнее, все громче звучала вековая, безысходная русская тоска. И металась эта тоска затравленным зверем по тайге, билась о сосны, взмывала птицей в небо и камнем падала наземь...

Хочу отметить одну общую биографическую черту у всех четырех названных мною писателей: каждый из них испытал на себе сталинский или до-сталинский послеоктябрьский террор; отражено это и в их творчестве. Так, главное произведение Николая Владимировича Нарокова – роман "Мнимые величины" содержит весьма живой и психологически оснащенный сюжет о чекистах тридцатых годов. Нароков (его настоящая фамилия Марченко) родился в 1887 году, в 32-ом был арестован по обвинению в принадлежности к контрреволюционной группе. Обвинение не подтвердилось, но пришлось менять местожительство. До войны он почти ничего не напечатал, кроме нескольких рассказов в юношеском журнале "Вокруг света", а зарубежный его роман "Мнимые величины" имел завидный успех и был переведен на 9 иностранных языков. Отрывки из него, по договоренности с автором, я поместил в упоминавшемся выше сборнике.

*

С Борисом Николаевичем Ширяевым связывала меня долгая переписка. Бывал я и в гостях у него, в итальянском курортном городке Сан Ремо, где он жил последние свои годы. В гражданскую войну был он связан с Белой армией, в связи с этим дважды приговаривался к смертной казни. В первый раз убежал за несколько часов до исполнения приговора, во второй – смертная казнь была заменена ему 10-ю годами Соловков. Был он писателем большой сюжетной выдумки и религиозно-патриотического мироощущения. "Светильники русской

земли", "Я - человек русский" - называются две его зарубежные книги. Написал он также хроникальную серию повестей; часть их печатал я в журнале "Грани". Очень яркие были повести! Наконец, самой, может быть, интересной его книгой был сборник очерков и рассказов о Соловецком лагере под заглавием "Неугасимая лампада". В жестокости и бездуховности лагерной жизни автор отмечает искорки сохранившегося в людях Добра, неугасимые по своей природе. Вот совсем небольшой отрывок из одного эпизода: зэки, рискуя суровым наказанием, устраивают в своей камере, бывшей келье, на Рождество подобие ёлки и богослужение:

Отец Никодим служил вполголоса... Электричество в келье было потушено. Горела лишь одна свеча перед ликом Спаса, и в окнах играли радужные искры величавого спóлоха, окаймлявшего торжественной многоцветной бахромой усыпанное звездами небо. Они казались нам отблесками звезды, воссиявшей в мире Высшим Разумом, перед которым нет ни эллина, ни иудея.

*

И последний писатель, о котором хочу рассказать, - Геннадий Андреевич Хомяков, писавший под псевдонимом "Геннадий Андреев". О нем рассказать мог бы много, потому что в разные поры нашей жизни часто встречались, вместе работали, даже, случалось, и рыбачили оба в Северном море и на баварских озерах, и в Америке - недалеко от Нью-Йорка, на океанском заливе, где был его дом и где он и умер после тяжелой болезни зимой 84-го года. Но

скажу о нем только самое главное: жили в нем одновременно прозаик и журналист и редактор. Последние два отчасти прозаика и затирали. А он писал хорошо. Тоже провел много лет в Соловецком лагере и рассказал об этом в очерках "Соловецкие острова". Выпустил также книгу очерков "Горькие воды"*; и еще одну книгу - повесть "Трудные дороги", о попытке бежать из лагеря, которую я считаю одной из лучших повестей о советских лагерях.

Книги четырех этих зарубежных писателей еще ждут своего читателя на родине.

ДМИТРИЙ КЛЕНОВСКИЙ

В 1950 году вышел за рубежом первый сборник стихотворений Дмитрия Иосифовича Кленовского "След жизни", и с тех пор имя его получило широкую известность, а книги стихов - их до его смерти в 73-ем году вышло около десяти - раскупались необыкновенно быстро.

Сам поэт почти все свои зарубежные годы прожил в небольшом баварском городке Траунштейне, между Мюнхеном и Альпами, в здравнице для пожилых людей, где я его не раз навещал. Пожилым, впрочем, выглядел он уже в последние годы жизни, когда мучили его болезни, а до того - удивлял нас всегда неизменной своей бодростью: высокий, живой, охотно читал стихи, свои и чужие, и водил гостей

* Вышла в издательстве "Посев" в 1954 г. - Р е д.

показывать примечательные окрестности городка.

Переписка у нас с ним была обширнейшая. Не так давно, перебирая свой архив, я насчитал около ста его писем. Он любил и умел их писать. Благодаря этой привычке, которая теперь почти всеми утрачена, хоть и жил, как говорят, на отшибе, был прекрасно осведомлен в литературной жизни Зарубежья, да и Европы, где, случалось, печатались переводы его стихов. О многих литературных событиях, в части главным образом поэзии, я узнавал из его писем, вперемежку с критическими суждениями и оценками. В годы 59-60-й, например, писал:

Глеб Струве в феврале на полгода приезжает с семьей в Европу. Встретимся, конечно. Собиралась приехать и Нина Берберова, которая будет печатать зимой в Европе большой (на 300 страниц) сборник стихов Ходасевича. Со дня на день должен выйти в Нью-Йорке гринберговский альманах "Воздушные пути" в честь юбилея Пастернака. Интересуюсь им особенно, так как ведь там опубликована какая-то большая поэма Ахматовой... В издательстве "Рифма" в Париже вышли "Гурилевские романсы" Маркова и "Пораженье" Корвин-Пиотровского. К нему я относился раньше с интересом и симпатией, но теперь, когда он изобрел новую пунктуацию, отменив точки и введя двойные и тройные тире, я перестал его понимать и даже читать, так как разгадать его стихотворные ребусы в мои лета слишком трудно.

Как, вероятно, все русские авторы, пишущие за рубежом, Дмитрий Кленовский тяжело переживал, что стихи его не доходят до читателя на родине. Всякие "просветы" в этом направле-

нии очень волновали его и радовали. Вот из письма от 21 февраля 69-го года:

Расскажу Вам об одном любопытном происшествии. Впервые за четверть века моего пребывания в эмиграции получаю письмо с советской маркой и московским штемпелем. Автор его, молодой советский литературовед и поэт, буквально захлебываясь от восторга, благодарит меня за, как он пишет, "чудесные стихи". "Впервые познакомила меня с ними, - пишет он, - Ахматова, очень тепло о них говорила; потом мне удалось раздобыть Ваш однотожник, и с тех пор Ваши стихи стали моей самой незаменимой драгоценностью. Я знаю почти весь сборник наизусть и часто читаю его моим друзьям". Далее автор письма сообщает, что побывав недавно /.../ в Комарово у могилы Ахматовой, "еще раз поблагодарил ее за открытого мне поэта"...

Письмо доставило мне большую радость. Не похвалили, а тем, что в нынешней России нашелся молодой, причастный к литературе человек, которому стали дороги стихи поэта-эмигранта, да притом еще моего толка.

Говоря "моего толка", Кленовский имел в виду свою принадлежность к Серебряному веку русской поэзии, именно - к акмеизму. Своим учителем считал он Гумилева, основоположника акмеизма, расстрелянного в Петрограде в 1921 году. В отличие от символистов, акмеисты чуждались "туманности непознаваемого", выступали в защиту "земного", его живой красоты и тепла, ратовали за прекрасную ясность поэтического слова.

Эту любовь к земной красоте, к "ясности" стиха Дмитрий Кленовский пронес через все свое творчество, очень гармоническое в части

мироощущения. Его жанр – небольшое лирическое стихотворение, в котором обычно сам автор делится с нами своими переживаниями и мыслями о жизни. Вот один из многих возможных примеров:

Если кошка пищит у двери
И ты можешь ее впустить,
Помоги обогреться зверю,
У плиты молока попить.
/.../
Если девушка на рассвете
Замолчит на твоей груди,
Как молчат наигравшись дети, –
Через жизнь ее проведи.
Это всё, что во славу Бога
Можешь сделать ты на земле.
Это мало и это – много.
Это – словно цветок в скале.

Религиозность как основа такой гармоничности ощутима как у Кленовского, так и у его учителя. У Гумилева, например, в стихотворении "Заводи" (сборник "Жемчуга") есть такие строки:

Я один остался на воздухе
Смотреть на сонную заводь,
Где днем так отрадно плавать,
А вечером плакать,
Потому что я люблю Тебя, Господи.

А у Кленовского обращенность лирического героя к небу постоянна:

Как же я Твое не вспомню имя,
Сущего, Тебя не назову!
Жизнь проходит тропами глухими.
И Тобой, щедротами Твоими,
Только ими – я еще живу.

Обычный в творчестве зарубежных русских поэтов мотив одиночества у Кленовского редок. Но вот, однако, стихотворение "Лишний":

Как собака из лужи пьет,
По колючим помойкам рыщет,
Так и он свою жизнь живет,
Свое нищее счастье ищет.

Знает трусость и знает злость,
Знает жгучее раз от разу,
Как прекрасна простая кость,
Кем-то вываренная до отказа.

А умрет он – как клячи мрут
На ноябрьской крутой дороге:
Напоследок лишь отпрягут,
Да немного откатят дроги.

Сунут сена ненужный клочок
К морде, тронутой пеной алой,
Да шлею под шершавый бок...
Пожалеют еще, пожалуй!

И останется лишь дымить
Лужа крови в снегу дорожном.
Скажешь: можно ль так жизнь прожить?
И оказывается – что можно.

Темы политического звучания почти не

встречаются в сборниках Кленовского. Исключение, пожалуй, только одно – стихотворение, посвященное памяти Гумилева, "Не забытое, не прощенное". Там такие строфы:

Когда я вспомню, что поэт,
Что всех дороже мне,
Убит, забыт, пропал и след! –
В своей родной стране;

Что тот, кто нам стихи сложил
О чувстве о шестом, –
И холмика не заслужил
С некрашенным крестом.

/.../

Тогда я из последних сил
Кричу его врагу:
Я всем простил, я всё простил,
А это – не могу!

Лирика любви, конечно же, включена в творческие отклики Кленовского на жизнь, причем часто у него тема женщины растворена в прекрасном земном вообще – зримом, слышимом, ощущаемом. Синкретизм этот, может быть, тоже от акмеизма. У Гумилева, например, в "Шестом чувстве": "Прекрасно в нас влюбленное вино,/ И добрый хлеб, что в печь для нас садится,/ И женщина, которою дано,/ Сперва измучившись, нам насладиться".

А у Дмитрия Кленовского:

В мутном небе такие влажные,
Акварельные облака.
Важно ли, что была ты, важно ли,
Что слабела в моих руках...

Лирические пейзажи у Кленовского напевного звучания, медитативны, то есть размышляющие, немного тютчевской ноты:

Слетает лист на розоватый мох,
Струит грибок свое благоуханье,
И слышен шорох, шелест, шёпот, вздох –
Неумолимый говор мироздания...

Всё это – только малая часть того, что нужно бы рассказать о стихах Дмитрия Кленовского, его мастерстве – его рифмах, архитектонике, его концовках, когда он, как бы прочтя читателю предыдущие строфы, уже вполголоса, словно бы про себя, произносит последнюю:

И одно лишь тебе осталось:
Сесть на камень и молча ждать
Отпускающую усталость,
Смерти горькую благодать.

А тема родины – скажу в заключение – переплетается у него с мотивом творческого ей служения:

Между нами – двери и засовы,
Но в моей скитальческой судьбе
Я служу тебе высоким словом,
На чужбине я служу тебе...

ИВАН ЕЛАГИН

Рассказывал я до сих пор о русских зарубежных писателях, которых уже нет в живых в наши дни. А сегодня хочу рассказать об одном большом русском поэте, который, слава Богу, здравствует и сейчас и продолжает творческую свою работу. Это – Иван Венедиктович Елагин (умерший в 1988 г. – Р е д.). Настоящая фамилия его – Матвеев. Упоминаю об этом потому, что "литературная династия" Матвеевых имеет пишущих в целых четырех поколениях: писал стихи и рассказы отец поэта, Венедикт Март, опубликовал книгу очерков его дед, Николай Матвеев; дочь, Елена Матвеева, печатала в зарубежных журналах свои, очень свежие, стихи, а двоюродную сестру Ивана Елагина, поэтессу Новеллу Матвееву знает, я думаю, каждый наш читатель.

Оказавшись после последней мировой войны в Германии, в лагерях для русских невозвращенцев, Иван Елагин выпустил один за другим два небольших сборника стихов, которые разошлись нарасхват и в 1953 году были объединены в одной книге под заглавием "По дороге оттуда", изданной издательством им. Чехова в Нью-Йорке. Имя Ивана Елагина становится широко известным. "Вы очень талантливы, – писал ему скупой на похвалы Иван Бунин, – часто радовался, читая Ваши книжечки, Вашей смелости, находчивости"...

В начале 50-х годов Елагин переезжает в Америку; здесь кончает аспирантуру Нью-Йоркского университета со степенью доктора и становится профессором русской литературы в

университете города Питтсбурга; там он работает и по сей час. За эти годы жизни в Америке вышло 5 его поэтических сборников и огромный, более трехсот страниц, труд - перевод поэмы американского поэта Стивена Винсента Бене - "Тело Джона Брауна" - из времен гражданской войны. Теперь и стихи самого Елагина переводят на английский и другие языки; а когда в 1972 году в Питтсбурге выступал Евгений Евтушенко, он сказал, обращаясь к обширной молодежной аудитории: "У вас тут, под боком, такой поэт, как Елагин, а вы приглашаете меня!" ...

Не стану разбивать творчества Ивана Елагина на тематические этапы, ни углубляться в технику его мастерства; просто отмечу в его поэзии - очень динамической, очень звучной и внутренне непокорной - два периода: европейский и теперешний, американский.

Стихи времени беженских лагерей, конечно же, отражают душевное смятение перед катастрофой первых военных лет, немецкой оккупацией, ужасами войны вообще. Вот некоторые отрывки:

Как у своих-то перчено,
А у чужих-то солоно!
Как из огня теперича
Попали мы да в полымя.

Из-под кнута-то отчего
Да под дубину отчима!
Тот Соловками потчевал,
А этот смертью потчует!..

Или из поэмы "Звезды", тоже отклика на

военные беды; в ней – обращение к отцу поэта, погибшему в одном из сталинских застенков в 1938 году:

Мы живем, зажатые стенами
В черные берлинские дворы,
Вечерами дьяволы над нами
Выбивают пыльные ковры.

Чей-то вздох из глубины подвала:
– "Господи, услышим ли отбой?"
Как тогда мне их недоставало,
Этих звезд, завещанных тобой!

Сколько раз я звал тебя на помощь –
Подойди, согрей своим плечом.
Может быть, меня уже не помнишь?
Мертвые не помнят ни о чем.

Ну, а звезды. Наши звезды помнишь?
Нас от звезд загнали в погреб.
Нас судьба ударила наотмашь,
Нас с тобою сбила с ног судьба.

Наше небо стало небом черным,
Наше небо разорвал снаряд.
Наши звезды выдернуты с корнем,
Наши звезды больше не горят!

В наше небо били из орудий,
Наше небо гаснет, покорясь,
В наше небо выплеснули люди
Мира металлическую грязь.

Нас со всех сторон обдало дымом,
Дымом погибающих планет,

И глаза мы к небу не подыдем,
Потому что знаем: неба нет.

“Неба нет” – это отчаяние, скорее, чем богоборческий мотив, который у Елагина не продлен. Напротив: сборник, в котором помещено стихотворение “Звезды”, кончается оптимистическими строчками: “На земле моей будет чисто, Бог умоет землю мою”. Но война – отчаяние, и событие окончания ее рождает тоже проникновенное стихотворение поэта:

Уже последний пехотинец пал,
Последний летчик выбросился в море,
А на пути дымятся груды шпал,
И проволока вянет на заборе.

Они молчат – свидетели беды,
И забывают о борьбе и тлене
И этот танк, торчащий из воды,
И этот мост, упавший на колени.

Но труден день очнувшейся земли.
Уже в портах ворочаются краны,
Становятся дома на костыли...
Там города залечивают раны.

Там будут снова строить и ломать,
А человек идет дорогой к дому.
Он постучится – и откроет мать,
Откроет двери мальчику седому.

Поэтика Ивана Елагина после переезда через океан осложняется настойчивой и нервной обращенностью к сути своего собственного поэтического “я”, к осмыслению, я бы сказал,

сущего вокруг и в себе самом. Три последних сборника стихов: "Дракон на крыше", "Под созвездием топора" и "В зале вселенной" содержат ряд вариаций этой бытийной темы о месте поэта на земле, иногда трагическом: "Говорят, что поэт - поёт,/ Но не верю я фразам дутым./ Говорю, что поэт - полет/ С нераскрывшимся парашютом"; тут же - мотив о творческом одиночестве поэта в пустогрудом неродном окружении, неприкаянности: "Обнадежь меня, время, скажи,/ Что я вставлен в твои витражи"...

Я приведу отрывки из письма Елагина ко мне в ответ на вопрос о его теперешних творческих планах:

Дорогой Леонид. Ты спрашиваешь, какие у меня планы на будущее? Как раз планов-то у меня и нет. Если Бог даст, что-нибудь еще напишу... /.../ Тянет меня написать поэму, хотя я понимаю, что крупная форма требует, помимо значительности содержания, композиционной свежести, может быть, в первую очередь, своей особой музыки, своей строфы, своего звукового напора. Время, эпоха часто подсказывают эту музыку. Так было с "Двенадцатью" Блока. Наш, эмигрантский, случай трагичен: оторванность от языковой стихии, от ежедневной пульсации языка, поэтому поиски этой музыки мучительны и, может быть, бесплодны. Шнур выдернут - ток не идет...

Хотелось бы мне собрать всё, что я написал о терроре 30-х годов и издать небольшим сборником. Я назвал бы этот сборник "Курган" - пусть будет он и памятью о погибших и свидетельством современника; это*

* Вышел в издательстве "Посев" незадолго до его смерти в 1988 году. - Р е д.

и есть воскрешение мертвых... "Общее дело" - по Федорову... /.../

Я закончу свой рассказ одним из тех стихотворений Ивана Елагина, где тема связи судьбы поэта с культурой родной земли особенно отчетлива:

Не была моя жизнь неудачей,
Хоть не шел я по красным коврам,
А шагал, как шарманщик бродячий,
По чужим незнакомым дворам.

Только - что бы со мной ни случилось,
А над жизнью моей кочевой
Серафима стоит шестикрылость,
А не дача и сад под Москвой.

Как доходит до славы - мы слабы.
Часто слава бывает бедой.
Да, конечно, не худо бы славы,
Да не хочется славы худой.

Полетать мне по свету осколком,
Нагуляться мне по миру всласть,
Перед тем как на русскую полку
Мне когда-нибудь звездно упасть.



Мария ШНЕЕРСОН

Трагедия сына века

*("Из рабочих тетрадей"
Александра Твардовского)*

Тут ни убавить,
Ни прибавить, -
Так это было на земле.

"За далью даль".

Последняя книга

Одна из самых больших опасностей, подстерегающих историка русской литературы советского периода, - подход к явлениям минувших десятилетий с меркой сегодняшнего дня. Подчас не отдавая себе отчета, мы склонны осуждать литераторов недавнего прошлого за их слепоту, ортодоксальность, приспособление к требованиям цензуры, забывая, что большинство из нас мало чем отличалось в былые годы от тех, кого мы строго судим сейчас.

Такого рода истина, в общем-то банальная, приходит в голову, когда читаешь дневники Александра Трифоновича Твардовского, опубли-

кованные вдовой поэта (А. Твардовский. Из рабочих тетрадей. 1953–1960. "Знамя", №№ 7, 8, 9, 1989).

Имя Твардовского – дорогое имя. Все, что о нем появляется в печати, вызывает горячий интерес. Но его рабочие тетради или дневники представляют интерес особый. Они поистине уникальны. Монтаж из этих тетрадей сам автор незадолго до смерти готовил к публикации в виде целостной книги. Он был занят работой над ней после разгрома "Нового мира", но не успел закончить свой последний труд.

В предисловии М. И. Твардовская ставит вопрос: почему именно этой книгой завершается жизнь писателя? Действительно, почему, отбросив самые свои любимые замыслы, которые он вынашивал много лет, но так и не успел осуществить, Твардовский обратился к старым рабочим тетрадям? Вдова его объясняет это тем, что он хотел восстановить цепь событий, связанных с историей "Нового мира", "показать журнал изнутри". И главное – хотел разобраться сам и для себя во всем, что случилось с ним и с журналом. В предисловии сказано далее: "...кому-то может показаться, что сообщения о литературной жизни потеснены многими личными заметками писателя... высказываниями о себе – весьма безбоязненными..."¹

Но, думается, именно эти высказывания о себе как раз-то и составляют суть книги. Стремление обнародовать свою честную, бескомпромиссную исповедь заставило Твардовского перед смертью обратиться к дневниковым записям, прежде не предназначавшимся для посторонних глаз.

Чуткий художник, мудрый, честный человек,

искренний в своих заблуждениях и упорный в своей вере, постепенно, с кровью и мясом вырывал он из собственной души ядовитые корни идеологии, опутавшие его с юношеских лет. Медленно, с трудом расставался поэт с прежними убеждениями, да вряд ли и расстался с ними окончательно. Вот эта-то сложная внутренняя борьба, противоречия, затмения, прозрения и запечатлены в предсмертной книге Твардовского.

Тем более жалко, что она обрывается на полуслове, в период, когда перелом в сознании писателя нарастал с особой силой. Надо было бы вслед за публикацией подготовленного самим автором монтажа напечатать и записи последующих лет, пусть и в не обработанном виде. Без этого портрет Твардовского остается незавершенным. Однако в предисловии не говорится о намерении опубликовать дневники 1961-1970 гг. — уже не как книгу писателя, а как человеческий и исторический документ исключительной важности. Сомневаюсь, что это осуществится в обозримом будущем.

Основания для такого рода сомнений не беспочвенны, о чем свидетельствует характер нынешней публикации. Существенным недостатком ее являются многочисленные купюры. По словам М. И. Твардовской, "почти все они касаются области семейной, и лишь незначительная часть, относящаяся к писателям-современникам, сделана из опасения обидеть их родных и близких"².

Хотя работу писателя над составлением монтажа из старых записей 1953-1960 гг. не следует, по мнению публикатора, считать завершенной, все равно купюры любого рода пред-

ставляются вторжением в авторский замысел и, следовательно, недопустимы. К тому же, сказанное М. И. Твардовской о купюрах далеко не всегда соответствует истине, ибо сделаны они часто по цензурным соображениям. Вот лишь немногие примеры (далее встретятся и другие).

Твардовский пишет по поводу главы, посвященной репрессированному другу (поэма "За далью даль"): "Тронул «Друга детства» и – Боже мой – как эта глава показалась мне плоха, и только стыд, что такое сырое читал столько раз людям [...] – и, может быть, *все-то и дело в этой некоторой «запретности» темы*" (16. VIII. 1955. – Выделено автором)³. Чем вызвана эта купюра? Ведь речь идет не о семейных отношениях и не о тех, кого можно чем-то обидеть!

А вот и явная "запретность темы": "Ужасный месяц после доклада о культе – голова не вмещала всего [...] Собрание в Союзе; не дослушал Суркова, ушел и т. д. Болтовня, инфляция мысли, позорная праздность" (16. II. 1956). Здесь сам контекст объясняет причины купюры.

Впрочем, и опасение обидеть (кого? детей? внуков?) тоже бывает вызвано скорее цензурными причинами. Так, совершенно смазана очень важная тема: история взаимоотношений Твардовского с Фадеевым. Говоря о поре, когда он был первый раз снят с должности редактора "Нового мира" (1954), Твардовский упоминает рассказ Фадеева о его визите по этому поводу к секретарю ЦК, который "критиковал убедительно" статью В. Померанцева "Об искренности в литературе" (она послужила одним из поводов снятия Твардовского). Далее следует

весьма иронический отзыв о позиции, занятой Фадеевым: "Словом, он поддакнул («Хоть я и не читал, но скажу»)". И в заключение: "Фадееву на предложение встретиться сказал, что не могу принять условий встречи: черного с белым не говорить, да и нет не покупать и т. д. [...] Решаю: продолжать свое..." (19. V. 1954).

В связи с этой записью следует сказать также и о характере примечаний, часто ничего не разъясняющих по существу. В данном случае, например, не сказано в примечании о сути случившегося, о расхождении поэта с Фадеевым, а лишь даются краткие справки об упоминаемых лицах. Полагаю, что отсутствие необходимых комментариев объясняется не неведением публикатора и редколлегии "Знамени", куда в ту пору еще входил В. Лакшин, а цензурными соображениями: спокойнее не ставить точек над "i".

Вот еще один выразительный пример. В записи от 12. XII. 1954 читаем: "Три дня московского собрания, дни пустопорожние. Отсутствие Фадеева, с кем я виделся за день до собрания у него на даче. Его ужасное состояние. Реплика Злобина". Примечание гласит: "Злобин Степан Павлович (1903-1954), прозаик. Бестактно, оскорбительно отозвался на этом собрании об А. А. Фадееве". Все. Остается только гадать: как же именно отозвался? в связи с чем? с чьей точки зрения бестактно? а, может быть, заслуженно, справедливо? Комментатор явно знает что-то такое, чего знать читателю не положено. Так в пору "гласности" даже не все, что содержит исповедальная книга Твардовского, затравленного около двух десятилетий назад, может быть опубликовано. Перст ука-

зующий то ли внутреннего редактора, то ли цензора мы ощущаем, как когда-то ощущал и сам автор.

Но все же, пусть и в урезанном виде, публикация монтажа "Из рабочих тетрадей" Твардовского - литературное событие. Писатель вел дневниковые записи с 1926 года, доверяя бумаге сокровенные мысли, рабочие планы, горести, радости, сомнения, тревоги. Здесь запечатлены творческие муки поэта, отражен самый процесс творчества, сохранились наброски неосуществленных замыслов. Твардовский понимал ценность своих тетрадей: "Как ни обрывочны и случайны эти записи и наброски, все же в общей связи они дают какие-то вешки прожитых лет" (10. XI. 1956).

С особенной остротой раскрывается в дневниках поэта тайно мучившее его сознание, что жизнь уходит, а силы и время расходуются на пустые, ненужные дела; мучила и невозможность говорить о самом для него главном; тягостны были колебания между верой в коммунистическую доктрину и отрицательным отношением к тому, что совершается в действительности.

Не касаясь других тем, так или иначе затронутых в рабочих тетрадях, остановлюсь лишь на этих основных.

В золотой клетке

Итак, впервые в жизни получив возможность всецело отдаться творчеству, быть может, и предчувствуя близкий конец, Твардовский отбросил замыслы, которые прежде так

его влекли, и взялся за подготовку книги, составленной из дневниковых записей, делавшихся для себя, а вовсе не для печати. Но именно в такой документальной книге можно было сказать о том, что теперь казалось главным, ответить себе самому на вопрос: каким я был, каким делала меня жизнь, в чем моя вина, мои ошибки, просчеты, почему не свершил я всего, что хотел и мог, почему не успел, не досказал?

Судьба Твардовского - одна из трагических страниц советской истории. Нам хорошо известны имена ее жертв, которых так или иначе сгубила коммунистическая держава. Гумилев... Цветаева... Булгаков... Мандельштам... Да надо ли продолжать этот список?! Кто не помнит имен, кровью вписанных в литературную летопись XX века?

В мартиролог писателей и поэтов можно внести и имя Твардовского. "Родимая" партия то баловала его своей милостью, то преследовала и в конце концов довела до могилы.

В молодости ему кололи глаза социальным происхождением, шельмовали как "кулацкого поэта". Потом возносили, награждали; потом "прорабатывали" за безыдейную прозу ("Родина и чужбина"); потом снова возвеличивали и награждали. И снова обвиняли в идейных ошибках (уже как редактора "Нового мира"). И превозносили опять, а под конец затравили.

Период, отраженный в опубликованных записях "Из рабочих тетрадей", был самым благополучным в жизни Твардовского. Правда, в 1954 году его сняли с поста редактора "Нового мира". Однако, пережив потрясение, поэт смирился и пришел к заключению: "Вина главная -

моя. Решение правильное" (11. VIII. 1954). В 1958 году он снова был назначен редактором того же журнала. Крамольным "Новый мир" стал не сразу, в тот период травля еще только-только начиналась.

Твардовский, казалось, был в зените славы. Лауреат многих премий, депутат Верховного Совета, кандидат в члены ЦК КПСС, делегат партийных съездов, он был удостоен общения с самыми высокопоставленными партийными боссами, официально признан "первым советским поэтом".

Но все это - лишь внешняя сторона его жизни. В своем дневнике даже в этот лучший период Твардовский предстает перед нами как фигура трагическая, как обласканный властями невольник.

Одной из ведущих в его тетрадях является тема загубленного таланта. Твардовский постоянно говорит о безвыходности своего положения, о страданиях раба, запертого в золотой клетке и тщетно пытающегося (не всегда и пытающегося!) вырваться на волю.

На что уходит драгоценное время? Что мешает поэту заниматься своим главным делом? Читаем: "Еще две недели жизни зряшной, муторной ...беда бедущая" (14. XII. 1954). "Два дня выбыло из строя. Пустопорожний президиум перед пустопорожним съездом" (4. XII. 1954). "Ощущение оскорбления, омерзения, усталости, почти отчаяния... Как быть, чтобы не удлинять перерывов в работе, куда скрыться?" (9.IV.1955).

Идут годы, но ничто не меняется: "...в области моих литературных дел ...реальность то и дело исчезает, и уже сил нет придавать им

воображением видимость реальности. (Совещание по вопросам публицистики у Е. А. <Фурцевой>, собрание секции «по вопросам мастерства поэзии» – там и тут «без никакого» конкретного повода, без предмета разговора, там должен был сидеть до конца, даже как-то выступить, тут имел возможность подняться и уйти среди витийства [...] Предстоящий съезд, как предстоящая мучительная и ничего доброго в смысле улучшения не сулящая, но неизбежная хирургическая операция...” (2. IV. 1959. Опять купюра!)

Читаем далее: “Десять дней настоящей муки покоя в предвидении трех минут выхода на сцену навстречу полному залу – завершению вечера. Будьте вы неладны” (19. XI. 1960). А вскоре – отчаянный крик души: “С годами все болезненнее перерывы в работе (своей собственной), и это естественно: чувство ограниченности запасов времени. Собственно говоря, время ушло, осталось его чуть... Ко всем формам современного мнимого литературного существования, представительства – отвращение... Отпустите меня, дайте мне собраться с мыслями, которые не живут в суете внешней повседневности, в «декадах» и «плеядах», в пленумах и секретариатах и т. п. Но уже знаю, что это не так просто – выломаться, вырваться из этого, что нужно дотерпеть до подходящего срока, чтобы из этой мерзлой проруби вырваться, не оставив в ней хвоста с мясом” (11. XII. 1960).

Все больше угнетают поэта “непорядок, неясность и странность” его жизни, сложившейся столь нелепо, хоть внешне и вполне благополучно. Все тяжелее у него на душе: “...усталость, раздражение, чуть не истерика, готовые

хлынуть через край ...и самое главное - неписание, нарастание ощущения беды, может быть, катастрофы: живу как-то не так... Итоги года подводить нечего - они жалкие. После "Далей" - ничего. Изю дня в день нескончаемые пустяки..." (24. XII. 1960).

Так все настойчивее звучит мотив уходящего времени, упущенного, растроченного зря, на мелочи, которые обступают "грозым и унижающим душу кошмаром" (15. XII. 1957).

Но изменить что-либо поэт не в силах. 22 марта 1955 г. он записывает: "Как знакома эта тоска, когда уже считаешь дни, что ушли, не принеся видимых результатов". А через пять лет - то же самое, лишь еще горше и страшнее: "Недавний момент мгновенного ужаса, быть может, в полудремоте: вдруг, если даже это сон, то во сне - ужасная мысль, что все упущено, время ушло, я попался в свои пятьдесят лет, назад нет ходу..." (11. XII. 1960).

В нескольких местах пишет Твардовский о своих запоях. Эта "болезнь", "слабость" - он сам так думает - результат вечной неудовлетворенности привилегированного поэта, вынужденного делать нечто бессмысленное, навязанное ему его положением. Более того. Он уверен, что пьянство - вообще недуг века. Под влиянием этих раздумий родился замысел (как и многие другие - неосуществленный) то ли стихотворения, то ли поэмы, где личная тема приобретала общественную окраску. Вот начальные строки:

С какого года и с какого дня
Бедя моя преследует меня?

И далее – прозой: "...это может получиться, если не будет жалостной исповеди пьяницы, а время – жизнь, очерк эпохи – не для оправдания личного пьянства, а для нее самой... И не осуждение пьянства – это все равно, что осуждать жизнь за то, что она старит человека" (3. III. 1955).

А вот – еще о себе: "Трудный год... ничего не написал... Продолжал работу на даче. (Расчистка территории, посадка деревьев. – М.Ш.) ...понятно, что это то же, что пьянство, почти то же самое бегство от самого трудного и необходимого" (13. V. 1957). Или: "...мне необходимо уйти от столичной жизни, как она у меня складывается в эти годы, т. е. целые месяцы почти полного неписания (не говоря уже о вытекающих отсюда днях и неделях «заболевания»), которое самим фактом своего возобновления делает меня всерьез больным, до отчаяния)... Так нельзя, так дело худо во всей очевидности". Спасать может лишь одно: "ликвидация воздушных ям неписания" (17-18. IX. 1960).

Но спасения – нет. Его жизнь, как однажды написал он сам, становится "покорным следованием необходимости" (17. V. 1954). И неизбежно происходит то, что психиатры называют "сшибкой": внутренний разлад из-за столкновения двух сил – неборимой потребности заниматься творческим трудом, делать свое главное дело, с одной стороны, и внешних обстоятельств, не позволяющих отдаться творчеству, – с другой.

Быть может, именно "сшибкой" объясняются и душевные кризисы, когда где-нибудь в Барвихе или в Коктебеле появлялось свободное время, да не шла работа и изводило ощущение, что иссяк

творческий дар. Об этой – самой страшной для поэта беде – говорит Твардовский и в поэме "За далью даль":

Она придет в иную пору,
Когда он некий перевал
Преодолеет, взошел на гору
И отовсюду виден стал.
Когда он всеми шумно встречен,
Самим Фадеевым отмечен,
Пшеном в избытке обеспечен,
Друзьями в классики намечен,
Почти уже увековечен,
А хватать писать – пропал запал!
Пропал запал. По всем приметам
Твой горький день вступил в права.
Все – звоном, запахом и цветом
Нехороши тебе слова;
Недостоверны мысли, чувства,
Ты строго взвесил их – не те...
И все вокруг мертво и пусто,
И тошно в этой пустоте.

Конечно, написать такие строки мог только настоящий поэт, творческие силы которого далеко не иссякли. Но отчаяние не могло не подтачивать его могучий талант.

"По соображениям лучшей проходимости"

Отчаяние вызывала нередко и другая беда, не менее страшная для истинного поэта. Твардовский был по натуре честен, искренен, ра-

ним, но в своих произведениях он часто не мог выразить того, что волновало его душу. Между поэтом и листом чистой бумаги неотступно, днём и ночью, стоял призрак рокового "нельзя". С одной стороны - страх солгать, с другой - невозможность говорить правду. Стена, которую проломить не дано.

Теперь нам кажутся (да и прежде многим, кто был прозорливее, казались) главы поэмы "За далью даль" - "Друг детства" и "Так это было" - вполне правдоподобными, "партийными", по своему духу не противоречащими коммунистической доктрине. Но читая рабочие тетради Твардовского, видишь, какими "непробивными" они представлялись самому автору в пору их создания, с каким трудом он их писал, ощущая давление "внутреннего редактора", и как на самом деле нелегко было протолкнуть их в печать. Поэт страдал, боясь, что его осудят читатели за полуправду, и в то же время (не без основания!) опасался цензурного запрета. А сколько лет пролежал в столе "Теркин на том свете"! Как пришлось изощряться, чтобы протащить его в печать! Постоянно тяготит художника "замок на мысли, «грех» - избавление от необходимости думать, иметь свое человеческое мнение и суждение" (20. VII. 1956).

Знаменательна такая запись: "Мы как бы вышли из некоего возраста, и нам как-то неловко, не подходит то и не по душе, что с нами обращаются, как с малыми детьми, не говорят правды, скрывают «запретное» и навязывают мысли и представления, которые не по возрасту. Действительно, как всё виднее стало далеко вокруг, всем виднее, кроме «впередсмотрящих», пожалуй" (1. XI. 1956). "Трудно

Музу посылать на кукурузу", - горько шутит Твардовский в том же году (2. IX. - Выделено автором).

Через три года он делает, казалось бы, окончательный вывод: "...я должен уже писать только то, что думаю на самом деле (с необходимыми разумными приемами), а не что другое - мне некогда уже откладывать «до другого раза», т. е. на будущие времена" (22. X. 1959).

Но цензура! Как можно было не считаться с ней? Ведь еще не развернулась в те годы деятельность Самиздата и Тамиздата, да и позже, когда они получили широкое распространение, Твардовский на первых порах их не признал. Писать же свои главные вещи "в стол" не хотел, ибо писал не для потомства, а для современников, и испытывал острую потребность говорить о том, что важно для них и для него самого именно теперь, сию минуту.

Неизбежно нарастает ощущение тупика: "Сегодня совещание семидесяти писателей с членами Президиума... Подбивают вступить, а боязно подбросить хворосту в костер нечестивых... нет чувства, что что-то можно доказать, объяснить" (13. V. 1957). Через два дня: "Речь Хрущева... рассеяние последних иллюзий... после совещания поехали на могилу Фадеева. С поминок на поминки, как сказал удрученный Овечкин" (15. V. 1957).

Особенно волновали и мучили поэта две темы: трагедия крестьянства, тесно связанная с жизнью семьи Твардовских и его самого; трагедия репрессированных, загубленных в тюрьмах и лагерях.

Крестьянская беда издавна владела всеми

его помыслами. Но несмотря на личную драму, несмотря на то, что его отец — никакой не кулак — был выслан с семьей на Северный Урал; несмотря на то, что "кулацкое происхождение" не раз ставилось в вину самому поэту, — он искренне, восторженно воспринимал коллективизацию в пору своей юности, да и долго потом, в последующие годы. Однако год за годом жизнь охлаждала былые восторги.

Так, Твардовский размышляет о своих недавних впечатлениях от поездки в родное Загорье и о том, как *обязан* он рассказать о поездке в "Правде": "Отделить радостное от грустного, черты новой строящейся деревни от тягостных картин запустения, задичания, отказаться от своего личного чувства... и на место всей этой сложности выставить одни силосные башни, скотники, виды на урожай". И тут же: "Кукуруза на Смоленщине. — Об этом нельзя" (15. VII. 1955).

Все больше мучило Твардовского раздвоение, несовместимость того, о чем он должен был говорить, с тем, что хотелось сказать. В связи с той же поездкой он восклицает: *"Боже мой, за что ни возьмусь, нужно напряжение лжи и натяжек. А уж не могу, не хочу — хоть что хочешь"* (19. VIII. 1955. — Выделено автором).

1 февраля 1958 г. Твардовский подробно записывает свой разговор с В. В. Петровым — председателем колхоза, приехавшим в Москву из Смоленской области. И замечает: "Так свалилось это Загорье мне на душу, когда я занимаюсь писанием моей юности — поры восторженной и безграничной веры в колхозы..." Беседа оставила тяжелое впечатление. "Мы ведь

25 лет обманывали людей. Никто ничему не верит”, – сказал Петров. Твардовский и сам видел, во что превратилась деревня: “Можно все понимать – что к чему и чем оправдывается в конечном счете. Но когда твоя бедная живая память наполнена картинами обезлюдения, одичания и уныния в том краю, с которым связано, быть может, все самое лучшее, золотое и чистое в сердце – это ужасно, – чтобы только не искать других слов... Единственное, что мне остается, – выразить, выписать, выговорить все это для себя и для всех – в прозе и стихах...” Но как раз э т о выразить было невозможно!

На другой день после встречи с Петровым Твардовский пишет о своих творческих замыслах, пробужденных размышлениями о деревне: “И может получиться тем более серьезная и значительная книга, что я уже не обязан внутренне, как прежде, подгонять материал и развитие своей мысли под «его же не преjdeши», заданное в узком смысле, как это было в ту пору. Тогда это было можно и даже хорошо, а теперь нельзя и преступно”. И тут же – важное признание: “...за эти более чем четверть века ...я не переставал думать обо всем этом, чем бы по видимости (и не по видимости) я ни занимался другим”.

Замысел книги “Пан Твардовский” – об отце, о своей юности – поэт вынашивал много лет и считал самым главным. Он постоянно возвращался к этой вещи, но так и не написал ее. Быть может, не только потому, что не хватило времени, но и потому, что нельзя было сказать правды. Отголоски мучившей его темы

прозвучали в главе "Так это было" (поэма "За далью даль").

Но сама история создания этой главы свидетельствует, насколько было сложно сказать о том, о чем молчать казалось поэту "нельзя и преступно". Начата глава в конце 1953 года, а в печать попала лишь благодаря тому, что, по совету доброжелательного вельможи, Твардовский послал ее в качестве подарка Никите Сергеевичу ко дню рождения (запись от 1. V. 1960). Хотя здесь речь идет лишь о сталинском безвременьи, в образе тетки Дарьи воплотилось то, что хотел, но не мог сказать поэт в книге "Пан Твардовский". Он скорбит об участи деревни - "с ее терпеньем безнадежным" и "тяжкой бедой".

Значительно позже, в 1963 году, рождается замысел поэмы "По праву памяти", в июле 1965 поэт к нему возвращается и лишь в 1966-м, когда усилились гонения на "Новый мир", всерьез берется за работу над поэмой, где крестьянская тема сплетается с другой, столь же остро его волновавшей. В эту пору он уже не оглядывается на цензуру, ибо приходит к убеждению: "с поэта взыщется",

Когда за призраком запрета
Смолчит про то, что душу жжет...

Однако создание поэмы "По праву памяти" (как и лирического цикла "Памяти матери", где звучит глубокая скорбь) - за пределами рабочих тетрадей, с которыми мы познакомились и которые завершаются 1960 годом.

Вторая, особенно мучившая поэта тема, также затронута в поэме "За далью даль" - в

главе "Друг детства". Но здесь она была столь смягчена и приспособлена к цензурным условиям, что вряд ли удовлетворяла самого художника.

Впервые о работе над главой, посвященной репрессированному другу, говорится в записи от 29 марта 1955 г. Но уже через месяц поэт замечает: *"...иду по льду, который трещит во всю ширину реки"*. И далее: "Может быть, никогда еще я не был так лицом к лицу с самой личной и неличной темой, темой моего поколения, вопросом совести и смысла жизни" (22. IV. 1955. - Выделено автором).

Замечательна запись от 13 сентября того же года, сделанная в ходе работы над "Другом детства": "Тема страшная, взявшись, бросить нельзя - все равно, что жить в комнате, где под полом труп члена семьи зарыт, а мы решили не говорить об этом и жить хорошо, и больше не убивать членов семьи. Тема многослойная, многорадиусная - туда и сюда кинься - она до всего касается - современности, войны, деревни, прошлого - революции и т. д.". Вот как широко мыслил Твардовский, как глубоко забирал - а написать смог куда мельче! Он и сам это понимал и мучился. Но тяготел над ним запрет - "его же не преjdeши".

Лишь однажды прорвалась плотина, и поэт заговорил во всеуслышание о том, что давно наболело: в "Теркине на том свете", ломая общий строй и интонационную ткань поэмы, прозвучал полный скорби торжественный реквием:

...Там - рядами, по годам
Шли в строю незримом
Колыма и Магадан,

Воркута с Нарымом.

.....

Память, как ты ни горька,
Будь зарубкой на века!

Твардовского до глубины души возмущает широко распространенная в ту пору теория: "Зачем сыпать соль на раны!" Он записывает: "И общество делает само для себя вид, что ничего не было, а что было - исправлено, - пойдем дальше. - Это ужасно, тем более, что «исправлено», т. е. было признано безумие безумием" (3. I. 1958).

Замыслы не только главы о друге детства, но и какие-то иные, связанные с наболевшей темой, мучают, но не находят воплощения, и остаются от них лишь наброски в рабочих тетрадях. Один из таких набросков настолько поразителен по мастерству, по своей цельности и глубине, что воспринимается как законченная миниатюра. Он свидетельствует, на что был способен Твардовский не только как поэт, но и как прозаик, какие колоссальные возможности так и остались нереализованными.

13 февраля 1957 года совершенно неожиданно, вне всякого контекста, появилась запись, которую привожу полностью, настолько она уникальна: "Расстреливали их во внутреннем дворе этого зловещего здания, ночью. Брали по двое и уводили в неглубокий закоулок вроде заложённых кирпичом ворот - закоулок-тупик. Держались они кто как. Один упал в обмороке - так его и сволокли в тот тупик, освещенный одной лампочкой на шнуре, качавшейся от выстрелов. Один кричал: звери, что вы делаете. Один сказал: умираю за партию Лени-

на-Сталина. А этот стоял, как все, - с завязанными проводом на спине руками - и как будто не следил за операцией, не выжидал, не крепился. Запрокинув голову, он все глядел на густо-звездное небо в квадрате двора, все глядел, не отрываясь, и эта холодная высь как будто притянула уже его к себе и унесла отсюда, из этой очереди. И то, что происходило и звучало здесь, - команды, шарканье ног по камню, выстрелы - все это уже было где-то внизу, далеко и давно, а, может быть, и вовсе ничего этого не было, а он только представлял себе или вспоминал, как это было с кем-то на земле".

Сравните эти пронзительные строки, похожие на вполне законченное стихотворение в прозе, с главой "Друг детства" - и вы убедитесь, что Твардовский не зря терзался из-за невозможности сказать все, во всю мощь своего огромного таланта, не зря метался в поисках утраченного времени.

"По соображениям лучшей проходимости" (из записи 15. II. 1960) трудно создавать истинно великие произведения. И поэт прекрасно понимает, что не только его, но и отечественную литературу губят "вранье, обязательность идейности и необязательность достоверности, - все то, что все более утверждалось и выросло до нынешних столпов" (19. I. 1955). Через два с лишним года: мы переживаем "такое время, когда весьма трудно двигаться дальше, не кривя душой" (13. X. 1958). Еще через два года: "Гоню, гоню, пока гонится ["За далью даль"], набрасывая заключительную, чуя и не пуская в душу озноб ответственности таких признаний, какие нужно сделать, держась на полунедоска-

зе" (6. XII. 1960). Какое выразительное, какое страшное в устах художника слово находит Твардовский: "полунедосказ"!

Итак, невозможность отдаться творческой работе из-за недостатка времени? И - цензурный гнет? Вот что отравляло жизнь поэта? Да, конечно. Но если бы только эти препятствия стояли на его пути! Существовал еще один кордон, через который трудно было переступить: в е р а. Вера в марксистскую идеологию, в партию Ленина, в конечную победу коммунизма, вера, с юношеских лет полонившая его.

Истый коммунист... Истинный поэт...

Кто из нас не встречал коммунистов (если сам не был из числа таковых), которые критиковали буквально все стороны советской жизни, но, как заклинание, повторяли слова с известного плаката: "Правильным путем идете, товарищи!" Оставался всего-то один шаг, чтобы потерять веру в "правильный путь", но не хватало душевных сил этот шаг сделать. То же было и с Твардовским в период, о котором идет речь.

Как много он уже видел, понимал. И как истступленно жаждал верить, потому что иначе - хоть в петлю лезь! Иначе - оставалось только лгать, а это противно было его натуре.

6 сентября 1955 г. он записывает: "...нет у меня той, как до пятьдесят третьего года, безоговорочной веры в наличествующее благоденствие". Не потому ли начинает Твардовский книгу "Из рабочих тетрадей" с декабря 1953 г., хоть вел он дневник еще с двадцать шестого

года? Задуманная как исповедь, начинается эта книга с того времени, когда пошатнулась прежняя вера. Пока что это лишь - всплески отчаяния. Все еще крепка вера если не в благоденствие нынешнее, то в грядущее. В социализм, в его конечное торжество.

Эта вера - рассудку вопреки, наперекор чувству - проявлялась уже в приводившихся выше записях. Помните: "Можно все понимать - что к чему и чем оправдывается в конечном счете..."; "...тогда это было можно и даже хорошо..."

Твардовский писал - и, несомненно, как всегда, искренне - в Президиум ЦК КПСС 7 июня 1954 г. (копия - в рабочих тетрадях): "Перо мое, самое главное, чем я располагаю в жизни, принадлежит партии, ведущей народ к коммунизму... С именем партии я связываю все лучшее, разумное, правдивое и прекрасное, что есть на свете, ради чего стоит жить и трудиться". Неважно, по какому поводу это писалось. Важно, что поэт не кривил душой, не произносил всуе красивых слов и то же самое повторял в своих стихах и статьях. Если же он обманывал кого-то, то только самого себя!

Как художник он чувствовал себя законтрактованным, закабаленным партийным долгом. Характерна запись, сделанная в связи с тем, что в старых рабочих тетрадях он обнаружил много стихов, которые показались ему лучше напечатанных, потому что "не обременены так обязательной идейно-содержательной нагрузкой, как предназначавшиеся непосредственно для печати. Их незаконченность выгодно отличает их от той «законченности», которая была обязательна и неизбежна" (10. XI. 1957).

Чувство партийного долга не изменяет Твардовскому и после потрясшего его XX съезда. "Нет, все хорошо, нужно жить и исполнять свои обязанности, - записывает поэт 16 февраля 1956 г. - Процесс социализма - естественноисторический процесс - как вода, как трава, - что ни делай, - найдет путь, пробьется, прорастет".

А вот реакция на закрытое письмо ЦК КПСС об антипартийной группе Маленкова, Молотова, Кагановича: "...жить нужно и должно, и можно, могло быть, может быть, хуже. Жаль только, что без лжицы, фальши и актерства у нас ничего такое не обходится... Это ничего не меняет в самовнутреннейшем чувстве любви и преданности долгу, родине, идеям, оплаченным уже большой и малой кровью и не померкшим" (6. VII. 1957).

По долгу службы писал Твардовский "стихи на случай", хотя сознавал порою их неполноценность. Но - надо было... Вот, например, запись такого рода: "Между делом написал и стишок для "Правды" - этим, как говорится, все сказано на лунную тему. Отдал третьего (или четвертого) дня, а по возвращении на дачу, по дороге еще, заныло - очень плохо. Хоть возвращаться в Москву, звонить, снимать, может быть. Но потом решил - пусть" (17. IX. 1959). Подобные компромиссы мучили, не давали покоя истинному, требовательному к себе поэту. Да и жизнь непрерывно ранила впечатлениями иного рода, о которых в "Правде" не напишешь. В той же записи читаем: "На «лунной» теме вообще не могу сосредоточиться, в частности, отвлекают очень земные ужасные дела - именно «коровий» вопрос..." Здесь име-

ется в виду запрещение держать скот вблизи городов, от чего пострадали сотни бедняков, ибо для них корова была главным источником существования. Твардовский писал об этом законе: "Мера жестокая, грубая, кровавая" (11. IX. 1959). Дежурные оды в газете никак не совмещались с тем, что он видел в реальной жизни и что шло вразрез с его страстной потребностью верить.

Чувствуя прилив все нарастающей тоски ("так все противно, тошно, уныло"), поэт взял однажды том Салтыкова-Щедрина и неожиданно нашел у сатирика слова, созвучные его собственным мыслям. Твардовский выписывает эти слова: "Обязанность признания разумности неразумного есть одна из самых мучительнейших не только потому, что возмущает совесть человека, но и потому, что... налагает на действия человека печать автоматизма". Два выхода видит Щедрин из такого положения: "или примирение и окончательный автоматизм всех действий, или борьба, истощающая силы и преисполненная возможных рисков и опасностей". Твардовский развивает эти мысли применительно к себе: все не так трагично, если происходит из враждебных человеку общественных условий. Ужасно, когда ты поставлен перед подобной дилеммой общественным строем, за который "готов положить голову и вне которого не представляешь себя человеком" (14. VI. 1954).

Итак - верую! Но вера уже не та, какой была прежде, до 1953 года: "...это было счастливейшее время беззаветной, все покрывающей веры. А теперь иное..." (19. III. 1955). И снова - "сшибка": вера, без которой невозможно

жить, сталкивается с жизнью, которая опровергает веру. Мучительный процесс прозрения принял у Твардовского зигзагообразный характер и надолго затянулся.

Вот записывает поэт крамольные слова: "И душа замирает при мысли о том, что не того ждут от меня вурдалаки, что могу и хочу, а того, чего я не хочу и не могу" (19. I. 1955). Но через полтора года - нечто совсем другое: "Вдруг стал думать: а почему бы мне не написать гимн. И написал бы, конечно... если б не атмосфера вокруг, - где речь идет не о том, чтобы написать действительно хорошо, а чтобы угадать, уловить вкус и потрафить ему" (29. VII. 1957). Тут же набрасываются первые строки, но за ними следует запись: "Нет, не так-то просто сложить что-то из немногих обязательных слов, невзирая на видимую примитивность и т. п."

Тем не менее, заказ "вурдалаков" принят! К 1960 году работа над гимном завершается. Как и следовало ожидать, Твардовский все же заказчику не потрафил, и текст гимна был напечатан через год просто как стихотворение "На подвиг века". До чего тяжело сейчас читать эти строки, сложенные не каким-нибудь Михалковым, а настоящим поэтом:

Взвивайся, ленинское знамя,
Всегда зовущее вперед,
Под ним идет полмира с нами,
Настанет день - весь мир пойдет.

Не менее горько читать и следующее чисто-сердечное признание: "Уже настолько мысленно свыкся со своим возможным авторством этого

произведения <гимна>, что, забывшись, порой измышляю, какую бы мне дать за это награду” (17-18. IX. 1960). И хотя запись кончается словами: ”глупо и стыдно”, она производит неприятное впечатление. Но важно отметить, что, составляя монтаж из рабочих тетрадей в 1970 году, Твардовский счел нужным включить в свою предсмертную исповедь и эти компрометирующие его строки. Так безжалостен он был к себе, так искренен и прямодушен.

Пожалуй, наиболее явственно внутренняя борьба, которая совершалась в душе поэта, сказалась в оценке романа Василия Гроссмана ”Жизнь и судьба”. О нем в рабочих тетрадях написано много, сбивчиво, страстно, противоречиво (запись от 6. X. 1960).

Столь острая реакция Твардовского на это произведение психологически вполне понятна. Тут проявился давно назревавший душевный разлад. Сколько уже лет, чуть ли не в тайне от самого себя, он все острее испытывал разочарование в идеалах, служению которых отдал жизнь. И его не мог не потрясти роман Гроссмана, дерзнувшего открыто, без оглядки на цензуру сказать обо всем, что терзало и самого Твардовского. Автор этого уникального произведения безжалостно разрушал слепую веру, выбивал почву из-под ног, не оставляя места надежде. Роман поражал тем более потому, что первая часть дилогии Гроссмана ”За правое дело” была написана совершенно в другом ключе. Здесь же писатель бестрепетно разоблачал фашизм в его советском варианте.

Отсюда — и возмущение, и восторг в дневнике Твардовского. Гневные интонации явно слышатся в оценке романа и его автора как

личного врага: "глупое название", "претенциозная манера эпопей", "мазня научно-философских отступлений". И — самое криминальное: "неприкрытый параллелизм, сближение «двух миров» в их единой по существу «волкодавье» сути. (Отметим не случайное в этом контексте совпадение с мандельштамовским образом: "век-волкодав". — М.Ш.) Там несвобода, и тут несвобода, там сажают и мучают, и тут не меньше, и, пожалуй, похлеще, там взваливают на плечи народа — исполнителя — безмерный, бесчеловечный груз страданий, гибели, и тут то же самое".

Но хотя сопоставление немецкого фашизма с советским и кажется Твардовскому чудовищным, он не отрицает правомерности такого сопоставления. Он лишь чувствует отчаяние и нестерпимую боль. К такому восприятию романа поэт был подготовлен. И вот почему он оценивает "Жизнь и судьбу" в целом как "предельно доверительный разговор с близким тебе человеком". Но, замечает тут же Твардовский, после такого разговора живешь и поступаешь не по его программе, "совершенно невысказанной в реальной жизни". Вот эта-то невозможность поступать по совести, как хочешь, а не как надо, остро осознанная при чтении романа, вызвала особенно мучительное чувство.

Тем не менее, продолжает Твардовский, общее впечатление — "и радостное, освобождающее, открывающее тебе какое-то новое (*и вовсе не новое, но скрытое, условно-запретное*) видение самых важных вещей в жизни, впечатление, как бы разом снимающее, сводящее к нулю удручающее тебя однообразие и условность современных романов и прочего с их эфемерной «правильно-

стью» и безжизненностью. Но и впечатление – странное, тяжелое, вызывающее противление духа и страх, что что-то тут не так”. Выделенные мною слова свидетельствуют о том, что Твардовский был готов к восприятию “Жизни и судьбы”, но страшная правда еще пугала его, отталкивала и в то же время – притягивала.

Одно казалось несомненным: роман Гроссмана – литературное событие огромной важности. И тут в суждениях об этом произведении сам Твардовский предстает перед нами прежде всего как художник: “Это из тех книг, по прочтении которых чувствуешь день за днем, что что-то в тебе и с тобой совершилось серьезное, что это какой-то этап в развитии твоего сознания, что отдельно от этого ты уже не можешь думать (совсем отдельно) о чем-либо другом и о своих делах в частности”. И далее: “...Вещь так значительна, что выходит далеко и решительно за рамки литературы, и эта ее «нелитературность», может быть, самое главное ее литературное достоинство”.

А вывод противоречив: “Напечатать эту вещь (если представить себе возможным снятие в ней явно неправильных мотивов) означало бы новый этап в литературе, возвращение ей подлинного значения правдивого свидетельства о жизни, – означало бы огромный поворот во всей нашей зашедшей бог весть в какие дебри лжи, условности и дубовой преднамеренности литературы. Но вряд ли это мыслимо. Прежде всего – автор не тот. Он знает, что делает. Тем хуже для него, но и для литературы”. Последние слова трудно прокомментировать, настолько они кажутся неожиданными, странными в устах Твардовского. Очевидна лишь двойственность его

позиции: истинный художник борется в его сознании со все еще истым партийцем.

Чтобы успокоить свою совесть, он старательно ищет пороки в романе. Среди них находит и такой: судьба "трагического народа" (еврейского) заслоняет главное - "схватку социализма с фашизмом". Но ведь сам же он готов был согласиться, что между тем и другим разницы по существу нет. Чувствуя, что запутался, он обрывает поток упреков: "Но, кажется, я уже себя взъяриваю, вооружаюсь, «отмобилизовываюсь» против этого необычного по силе искренности и правдивости произведения [...] (В сравнении с ней <этой книгой> "Живаго" или "Хлеб единый" - детские штучки)".

Опять купюра! Да в каком важном месте! Ведь все нюансы этой своеобразной рецензии имеют исключительное значение. (Кстати, нельзя не подчеркнуть, что поэт так говорил о романе не просто запрещенном, но арестованном ГБ, преданном забвению, о книге, которую готовил к печати!)

Как ни страдал он от внутреннего разлада, как ни цеплялся за соломинку прежней веры, она становилась все более хрупкой. И когда в литературу пришел Солженицын, Твардовский окончательно сделал вывод: писать так, как писали до "Одного дня Ивана Денисовича", больше невозможно.

Есть все основания полагать, что и роман Гроссмана, и позже - произведения Солженицына способствовали прозрению поэта. Ведь в первых публикациях прежде неизвестного писателя ("Один день Ивана Денисовича", "Матренин двор") бесстрашно, вне каких-либо ограничений,

освещены две основные темы, которые мучили Твардовского долгие годы: тема репрессий и тема деревни. Не потому ли так самоотверженно и смело боролся Твардовский за публикацию этих вещей, радея о наступлении "нового этапа в литературе"? Художник все же оказался сильнее члена КПСС!

С тех пор "всякие серые волки" начинают грызть его "с отменной злобой". Но поэт и редактор "Нового мира" уже твердо встал на путь, о котором писал Щедрин - на путь борьбы, истощающей силы и преисполненной возможных рисков и опасностей. Путь, который завершился его безвременной кончиной.

* * *

...Таким предстает перед нами Твардовский в своих рабочих тетрадах. Как убедился читатель, и в сравнительно благополучный период его жизни поэт не был ни спокоен, ни удовлетворен своей деятельностью.

В многочисленных мемуарах, опубликованных до сих пор, образ Твардовского раскрыт односторонне. И не только из-за цензурных условий, и не потому, что мемуаристы, как правило, тяготеют к житийному жанру, но прежде всего потому, что сам поэт не был склонен раскрывать душу даже перед близкими друзьями (это отмечают и авторы воспоминаний о нем). Страдал он молча, мужественно, сам пытаясь разобраться в том, что терзало его все больше и больше. Даже в лирических стихотворениях был он сдержан, пряча внутреннюю боль за легкой милой шуткой. С годами

же в своих лирических шедеврах он все дальше уходил от злобы дня, предаваясь размышлениям над вечными общечеловеческими вопросами. И лишь рабочие тетради его донесли до нас правду о муках и метаниях высокой души...

ПРИМЕЧАНИЯ

1. "Знамя", № 7, 1989, с. 125.

2. Там же, с. 126.

3. Здесь, как и в дальнейшем, журнальные купюры обозначаются квадратными скобками, а пропуски в цитатах, сделанные мною, обозначаются отточием.



Ольга КЛИМЕНКО

Десять лет*

1.

В начале 1942 года мы готовились к эвакуации из осажденного немцами Ленинграда. Мой муж Леонид Владимирович Клименко был профессором Политехнического института. Нашему сыну Володе было 7 лет; с нами жила также моя племянница - 12-летняя Таня, круглая сирота. Старшие дети - Тася, мой сын от первого мужа, и Юрий, сын Леонида Владимировича от первого брака, с началом войны ушли в ополчение и находились на фронте. Юрий в эту же зиму был убит, только отец так и не узнал о его смерти.

Настоящий блокадный голод пока что обходил нашу семью стороной. Мы жили в "профессорском доме" на территории Политехнического института; в то время это была северная окраина города, дальше лежала сельская местность. Осенью удалось найти на плохо убранных полях немного картофеля. Удавалось также выменивать кое-что съестное на ценные вещи у окрестных сельских жителей, которые были гораздо сытее горожан. Муж получал также дополнительный к обычному паек, хотя это и была ничтожная малость. Мы оставались живыми и бодрыми.

* Начало. Продолжение в следующем номере. Печатается с небольшими сокращениями. - Р е д.

Осенью 1941 года, несмотря на войну, в Политехническом начались были занятия. Но на лекции собиралось все меньше и меньше слушателей. Голод свирепствовал, студенты в общежитии умирали, на территории института валялись трупы - и учебные занятия прекратились сами собой.

Мой муж - крупный специалист по двигателестроению - несколько раз обращался в райвоенкомат и райком партии с просьбой направить его на какую-либо работу, где он мог бы принести пользу своими знаниями. "Товарищ Клименко, подождите немного, вам еще здесь по горло будет работы", - отвечали ему. Между тем, я с детьми готовилась к отъезду из умирающего города. Эвакуация была назначена на февраль-март с эшелонном Автодорожного института.

12 февраля Леонид Владимирович отвез на машине часть наших носильных вещей к моей приятельнице Марии Григорьевне Павловой (ныне покойной) на проспект Газа, на другой конец города. Там он переночевал, а на другой день отправился в центр города (на набережную Невы), в Дом ученых, чтобы выяснить, почему его не включили в список научных работников Политехнического института на дополнительный паек; он намеревался также зайти в Автодорожный институт и уточнить срок выезда.

Вернулся он вечером очень расстроенный, коротко успел сказать, что в Доме ученых его встретили очень неприятливо и, собственно, отказали... В эту минуту зазвенел телефон.

- Говорит директор института. Можно попросить профессора Клименко? - Леонид Владимирович подошел к телефону.

- Сюда прибыл представитель из штаба Ленинградского фронта, - сообщил директор Политехнического. - Можете ли вы по состоянию здоровья поехать сейчас в штаб фронта на консультацию?

- Я только что вернулся из города, очень устал; нельзя ли завтра или послезавтра?

- 15-го числа за вами придет машина. Вас это устроит?

- Вполне. Буду ждать.

Весь следующий день муж помогал нам укладываться, связывал отобранные вещи, упаковывал их. Вечером я согрела воды. Он вымылся. Очень повеселел. Еще бы, - после долгого бездействия и неопределенности снова предстояла работа.

И вот яркий, солнечный день 15 февраля. В четыре часа мы сели обедать. Как всегда, один суп. Но в этот день я взяла немного масла, сахарного песку, добавила какао, все это перетерла и намазала на тоненькие ломтики хлеба. Леонид Владимирович достал бутылку вина - единственную, последнюю, - налил всем по рюмке и сказал: "Пусть с сегодняшнего дня все наши несчастья останутся позади, выпьем за это!"

А несчастье - страшное и неотвратимое - уже стояло у порога и в пять часов того же дня постучало в дверь - в самом буквальном смысле. Вошел военный в полушубке и с оружием. Прошел в кабинет...

Я никогда не подслушивала разговоров Леонида Владимировича с кем бы то ни было, но сейчас с бьющимся сердцем остановилась у двери и стала слушать:

- Профессор, можете ли вы сегодня проехать в штаб фронта?

- Я готов. Но что надо взять с собой и надолго ли?

- Еды не надо. Вас там будут кормить. Только мыло и полотенце.

В эту минуту у меня страшно заколотилось сердце.

- Мне хотелось бы только отправить семью на "Большую Землю", и тогда я всецело в вашем распоряжении.

- Вы это доложите в штабе фронта. Сколько вам надо времени на сборы?

- Десять-пятнадцать минут...

- Я подожду вас у машины.

Военный вышел. Я вошла в кабинет. Леонид Владимирович показал мне предписание начальника штаба Ленинградского фронта:

"Директору Политехнического института

Предлагается Вам командировать проф. Клименко Л. В. в штаб Ленинградского фронта для консультации сроком на 7-10 дней".

"Профессору Клименко Л. В.

Предлагается Вам с получением сего выехать в штаб Ленинградского фронта для консультации сроком на 7-10 дней.

Подписи: Начальник штаба
Начальник Оперативной части".

Я внезапно спросила: "А это не арест?" Эти слова вырвались так неожиданно, будто кто-то спросил за меня.

- Ну нет! - ответил Леонид Владимирович. - Стали бы они церемониться, - приехали бы и взяли.

Он оделся, вышел в переднюю. Поцеловал меня. Перекрестил Володю. В этот момент вдруг вернулся военный: "Вы готовы, профессор?" Они вышли.

Я с детьми подошла к окну, и мы видели в последний раз, как Леонид Владимирович спокойно идет к черной легковой машине. За ним сзади шел военный. Так я узнала, что значит, если "человек с ружьем" идет сзади...

Этот день был самым страшным, самым роковым в моей и прежде нелегкой жизни. Дальше одно за другим потянулись несчастья. Гибель Юрия. Мой тяжелый путь с детьми через Ладогу. Полное неведение о судьбе мужа.

Невозможность помочь ему. Известие о его гибели. Тяжкая жизнь в глухой деревне и наконец мой арест и заключение на 10 лет.

После отъезда мужа я заболела тяжелым гриппом с высокой температурой. По ночам грудь разрывал отчаянный кашель. Но по мере того, как я начала поправляться, неотвязное беспокойство стало закрадываться в душу. Прошло две недели. Никаких вестей от Леонида Владимировича не было. Я знала, что он представляет мое беспокойство и волнение и при его обязательности не стал бы оставлять меня в неизвестности так долго. Мне начали сниться какие-то страшные кошмары, сменившиеся бессонницей. Все валилось из рук.

Шла третья неделя со дня отъезда Леонида Владимировича, когда мне позвонила Мария Александровна (первая его жена) и сказала, что ею получено известие о гибели Юрия - сына ее и Леонида Владимировича.

6 марта я вышла с ребятами погулять на воздух (одних их пускать было опасно)*. До этого - в феврале - погода стояла великолепная. А в этот день было пасмурно, вьюжно и очень холодно. Вернувшись с ребятами домой, я прилегла на диван. И вот в квартиру без стука - очевидно, входная дверь не была заперта, - быстро вошли двое мужчин в штатском. Их внешность как-то ошарашила меня. По сравнению со страшными ленинградскими лицами блокадной зимы, этими "гиппократовыми масками", эти упитанные красные физиономии выглядели почти неправдоподобно. Вошедшие были в добротных черных пальто с каракулевыми воротниками и держали в руках красивые, явно не русские, вероятно "трофейные" портфели. Один из них сунул мне в руку какие-то бумажки и сказал:

* В блокадном Ленинграде часты были случаи исчезновения детей. Объяснение этому одно: людоедство.

- Вот это ордер на обыск, а это вам записка от вашего мужа.

- Он что, арестован? - спросила я и получила утвердительный ответ. "Найдите двух человек понятых. Комендант у вас есть?"

Я послала племянницу Таню за Соней - нашей домработницей, жившей неподалеку, и за комендантом здания - Сулимовой. Начался обыск. Комендант - толстая баба, обмотанная платком, - тихо шепчет мне:

- Вы документы-то у них спросили? Может быть, это немцы из гестапо?

- Что это вы там шепчетесь? - спрашивает агент.

- Я не спросила у вас документов, - быть может, вы немцы из гестапо?..

- Вы с ума сошли! - бросил он мне зло.

Они обыскивали квартиру вроде бы и тщательно, но похоже было, что, собственно, ничего конкретного и не ищут. Сделали опись имущества: мебель красного дерева, рояль, личные вещи Леонида Владимировича... Отобрали несколько золотых вещей - штук пять - и были очень разочарованы, что их так мало. У меня было много интересных вещей, оставшихся от моего покойного дяди Алексея Михайловича Косинского - офицера царского флота, участника русско-японской войны 1904-1905 гг. и первой мировой войны: фотографии Порт-Артура, боевых кораблей, всякие памятные реликвии боевых операций прошлых войн России.

- Зачем вы весь этот хлам держите? - спросил один из агентов.

- Но это же история России, - ответила я.

- Подумаешь, история!.. - буркнул он презрительно.

- Что же мне самой теперь делать с детьми? - спросила я старшего.

- Конечно, уезжать! Вы знаете, что здесь может начаться весной!

- Но вы же с голоду уморите моего мужа в тюрьме!

- Что вы, мы за каждого *такого* человека головой отвечаем, - сказал он.

В своей записке муж просил две-три смены белья и хоть сколько-нибудь продуктов...

Наконец, они собрались уходить. Забрали с собой очень немного. Фотографии: группа выпуска 1914 года 2-ой Московской мужской гимназии, которую окончил Леонид Владимирович... муж в лаборатории с рабочими у какого-то станка... две-три фотографии молодых девушек, за которыми ухаживал мой старший сын. Еще облигации каких-то дореволюционных процентных бумаг (дети отрезали от них купоны и играли - в духе времени - в продовольственные карточки), немного серебра и несколько мелких золотых вещей. Я подписала акт описи имущества.

- До возвращения вашего мужа вы не имеете права продавать эти вещи, - сказал мне чекист.

- Ладно! Буду умирать с голоду с детьми - все равно продам, - ответила я.

- Да, еще вот что! Никому не сообщать об аресте вашего мужа.

- Почему? Наоборот, надо рассказывать о таком беззаконии!

- Если не хотите неприятностей для себя, будете молчать, - резко ответил он.

Они ушли. Полночь. Я в каком-то оцепенении сижу на стуле. Слабый огонек коптилки едва освещает комнату. Передо мной на полу гряда фотографических карточек давно умерших родных, фотографии когда-то любимых живых людей, гора каких-то бумаг. Вывернутые ящики шкафов и бюро, кучи одежды, белья, книги, посуда, служившие нескольким поколениям. Я сижу и тупо смотрю на весь этот разгром. В углу на тахте спят так и не раздевшиеся двое детей. Ум еще не вмещает всего случившегося, в голове все одна и та же мысль: слава Богу, он жив! Где бы то ни было, как бы ни

было, но он - жив. Неизвестность наконец кончилась (увы! она только начиналась). Ничего предосудительного не найдено, да и не могло быть найдено у нас. Значит, все будет хорошо. Должны же там разобраться и понять, что нельзя в такое трудное для страны время сажать в тюрьму ни в чем не повинного человека, крупного специалиста, думала я. Через некоторое время я свалилась на диван и впервые за последние дни уснула, как мертвая, даже не раздеваясь.

Наутро, собрав кое-какие продукты - килограммовую банку варенья, хлеб, сахар, кусок шпига, - я на санках повезла передачу в тюрьму. Предстояло пройти пешком полгорода, от Лесного до Шпалерной (улицы Воинова). На улицах сугробы выше человеческого роста, трамваи давно не ходят. Изредка несутся грузовые машины в сторону Пискарёвки, на них штабеля замерзших трупов, ничем не прикрытых. Шоферы и грузчики кричат: "Эй, тетка, меняем мясо на хлеб!.." А я иду, ничего не замечая вокруг, не обращая внимания на холод, на начавшийся артобстрел, на трупы по дороге... Помню, что на Литейном мосту я прямо наткнулась на лежащую мертвую или полуживую женщину. Чем я могла ей помочь?

Здание тюрьмы. В комнате, где принимают передачи, худые женщины с авоськами передают буквально крохи своим близким. Из разговоров поняла, что всё это семьи научных работников, профессоров Университета, Горного института (слышу фамилии - Соколов... профессор Журавский, математик), из Лесной академии, Политехнического... "Вот как! Уже и Политехнический берут! И его коснулось!" Рассказывали о том, что умирающих от голода людей поднимали прямо из постелей, на носилках увозили в тюрьму. При этом, наряду с трезвыми голосами, строились всякие предположения: например, будто правительство, наверное, поручило "органам" в спешном порядке вывезти этих ценных

специалистов на "Большую Землю", - и тому подобные, столь же наивные и нелепые...

Передачу приняли. Обратная записка от Леонида Владимировича: "Не впадай в отчаянье. Настроение хорошее. Будь покойна". Я дала ему знать, что дома тоже все благополучно, но о гибели Юрия умолчала.

Через несколько дней Соня, наша домработница, носила передачу в тюрьму и принесла записку - очень краткую, как полагается писать из тюрьмы, чтобы пропустили: "Не затягивай выезда, береги себя и детей".

Я решила ехать с эшелонном того же Автодорожного института, с которым успел договориться еще Леонид Владимирович. Казалось, я спокойно и трезво все взвесила. Но кто знает, что правильно в таком положении, а что нет. Я понимала, что тюрьмы муж долго вынести не сможет. Я предполагала, что меня тоже могут арестовать, как только что взяли жену профессора Кротова - Веру Ивановну, умную, образованную женщину, доктора технических наук, потерявшую мать, сына на фронте и таинственно исчезнувшего мужа. (Как оказалось, он был коварно арестован на вокзале, ей же было сообщено, будто бы он погиб, "подорвавшись на mine"). Так же была арестована жена профессора Суперанского и многие другие. Посоветоваться было не с кем, а поручить семилетнего сына Володю на случай моего ареста некому. Без меня Володя и Таня неизбежно погибнут в голодном городе, как погибли сотни тысяч взрослых и детей.

Несомненно, большую роль сыграла и моя доверчивость, странным образом сохранившаяся у человека, уже сталкивавшегося с этой системой постоянных репрессий. Зная полную невиновность Леонида Владимировича, зная его высокую квалификацию и такую нужную во время войны специальность, я не допускала

мысли, что его могут осудить. Как многие люди кругом, принимала желаемое за действительность.

Во время обыска и при передачах в тюрьме сотрудники МВД мне говорили: "За каждого такого человека, попавшего к нам, мы отвечаем головой". Смысл этих слов дошел до меня слишком поздно. Ко мне приходили секретарь институтской парторганизации и другие сотрудники института и также твердили: "Кого-кого, а его кормить будут!" Когда однажды я пыталась передать в тюрьму рыбий жир, то пожилой надзиратель тихо сказал мне в окошко: "Зачем ему это, у нас же все есть". В преддверии тюрьмы только и было разговоров, что всех арестованных вывезут из блокадного Ленинграда. Всему этому я не то чтобы верила, но и не верить у меня не было оснований. Я даже рассчитывала, что, может быть, удастся встретить Леонида Владимировича по дороге, когда будем выбираться из города...

Кроме того, я надеялась, попав на "Большую Землю", скорее установить связь с крупными партийными работниками, которые знали и ценили Леонида Владимировича, и начать хлопоты о его освобождении.

Перед отъездом я попросила Лену Б., приятельницу моего старшего сына, очень славную девушку, хоть раз в неделю носить передачи Леониду Владимировичу, и оставила ей для обмена на продукты кое-какие уцелевшие ценные вещи. Некоторое время она добросовестно делала это, но потом следователь вызвал ее и изругал - как она, комсомолка, смеет носить передачи врагу народа! Она испугалась и более не появлялась в тюрьме. Это она сама рассказывала мне впоследствии. Как я могу осудить ее?

Все, что бы я ни предпринимала, - все оборачивалось против меня. Я решила выехать, чтобы вывезти детей из осажденного, вымирающего города, а потом постараться вернуться в Ленинград. Но вскоре поняла, что ни о каком возвращении, пока идет война, не может быть и

речи. Так я нарушила, хотя и невольно, клятву, данную Леониду Владимировичу в день, когда мы стали мужем и женой: "никогда, что бы ни случилось, я не брошу тебя". Эта страшная вина перед ним, вероятно, до самой смерти не даст мне покоя.

Мой муж умер от пеллагры в Рыбинских лагерях 28 августа 1942 года*, сорока семи лет от роду. А моя воля была парализована, и я предалась судьбе, которая после двух с половиной лет нравственных страданий, болезни, голода, страха, неизвестности, одиночества привела меня в конце концов также в тюрьму...

2.

13 марта, в пятницу, в холодный, ветренный, с поземкой, но ясный день я покинула блокированный немцами Ленинград. Навсегда оставила мужа и навсегда - наш дом. Я где-то читала, что в периоды несчастий все события не только по дням, но и по часам запечатлеваются в памяти с предельной точностью. Думаю,

* Так, по крайней мере, значилось в официальном сообщении, полученном в ответ на мои запросы. Я получила это сообщение в марте 1943 года, находясь в Рослятинском районе Вологодской области.

Как выяснилось впоследствии, Леонид Владимирович был одной из жертв так называемой "политики уничтожения руководящих кадров". Процесс этот был сфабрикован, как и многие другие кампании. В августе 1941 года работники НКВД в панике покидали Ленинград. Я сама видела на Московском вокзале составы, подаваемые для них и их семей: классные вагоны, на столиках салфетки, бутылки с пивом и лимонадом - и это в то время, когда для эвакуации детей "простых смертных" не хватало даже теплушек! Очухавшись, а скорее всего получив нагоняй, эти работники с удвоенной энергией стали фабриковать "дела", "заговоры", "выкорчевывать" и "выжигать калёным железом"...

что это очень верно, сужу по себе: я помню этот день, помню каждый его час.

Утром я встала рано. Последние сборы. В руки попался мешочек с бельем из тюрьмы. Раскрыла его: обдало таким милым, родным, одному Лёлику присущим запахом - смешанным со специфическим запахом тюрьмы. Прижалась губами к его белью. Спазмы сдавили мне горло: "Боже, сохрани его!"

Стали выносить вещи, входные двери раскрыли настежь. На дворе холод, позёмка, слепящее мартовское солнце режет глаза...

Только в четыре часа дня попали на грузовик, который доставил нас на Финляндский вокзал. Здесь оказалось, что эшелоны и Политехнического, и Автодорожного институтов уже ушли, пришлось ехать в индивидуальном порядке. Получили паек на дорогу: хлеб, сахар. Погрузились в холодные вагоны пригородного поезда и два дня ехали 60 верст до Борисовой Гривы на Ладожском озере.

То в одном, то в другом углу вагона кто-нибудь тихо умирает. Дрова для железной печурки надо добывать самим на станциях. Одни не хотят этого делать, другие так слабы, что не могут сдвинуться с места, - и вот я, как наиболее сильная, на каждой остановке выбиралась из вагона, собирала хворост, щепки, ломала обледенелые ивовые ветки и этим топила печурку.

Добравшись до Борисовой Гривы, погрузились на грузовики. Володю удалось поместить в кабину к шоферу за полпачки табаку. Мы же - я, Таня и Соня уселись в открытый кузов с другими несчастными, накрылись одеялом и двинулись через Ладогу.

Беспредельное ледяное пространство, кое-где мелькают замаскированные зенитки, около них часовые в тулупах. Машины идут сплошной цепочкой, точно муравьи по одной им известной дороге, идут ходко,

быстро. Через час с четвертью мы уже на другом берегу озера.

Станция Кобона, откуда уже идут поезда на Вологду. Картины тут неопишутые. Бараков для эвакуированных из Ленинграда не хватает. Селение маленькое, кроме того, здесь были немецкие налеты, и избы целыми рядами просто снесены бомбежками. Самое большое строение - это церковь с выбитыми окнами. Какая-то изба отведена для женщин и детей, но попасть туда невыносимо. Устроились в церкви - страшный холод, но все же хоть не под открытым небом. Эшелоны с эвакуированными все прибывают и прибывают. Церковь забита до отказа. Кое-как пристроила детей, сама скорчилась на чемоданах - и тут меня схватил нервный припадок, меня начало корчить, бить, дыхание останавливалось, потом начался страшный озноб. Очевидно, нервное напряжение, которое я с трудом сдерживала все эти дни, достигло предела и требовало разрядки...

Всем нам выдали паек: по плитке шоколада, по пакету горохового концентрата и по пачке печенья. Голодные до умопомрачения люди пихают все это в рот и тут же вскоре начинают корчиться от нестерпимых болей в желудке. Проведя ночь в церкви, наутро я решила пойти поискать убежища в деревне, так как, видимо, здесь предстояло пробыть несколько дней: поезда не успевали увозить прибывающих на машинах. Нас приютили в одной избе. Сварили картошки. Помню, как удивились дети, увидев живую собаку. Устроила ребят, а сама пошла к станции. Хотелось посмотреть, как идет погрузка на поезда. К ночи стужа стала прямо лютой. Вагоны стоят, но набиты до отказа; подходят машины, одна за другой - с мертвецами, замерзшими в пути. Их тут же сбрасывают на снег и складывают в штабеля.

Через день погрузились в "тепушку" и мы. В дороге всё то же. Холод в теплушке. Места около желез-

ной печурки берутся с бою. Оправляются тут же в теплушке, ведь у всех дистрофичные поносы. На станциях все пути загажены. Чувство стыда у людей исчезло совершенно. Женщины - и молодые, и старые - при всех поднимают юбки, ничуть не стесняясь. Если кто-нибудь умирает, его тут же сбрасывают на пути и рады, что освободилось место. Проехали совершенно разрушенный Тихвин. На остановках начали попадаться крестьяне с молоком и картошкой. Но многие едут с таким ничтожным количеством вещей, что жмутся, боятся отдать последнее, хотя голодная смерть стоит за плечами.

Только через семь дней, 24 марта, мы прибыли в Вологду.

Когда поезд подошел к перрону городского вокзала, я внезапно решила сойти в Вологде, осмотреться и принять окончательное решение, ехать ли дальше. Почему я не сошла с поезда раньше, где-нибудь между Череповцом и Шексней, почему не попробовала разыскать Тасю - моего старшего сына, воинская часть которого стояла где-то на нашем пути, и обсудить с ним наше дальнейшее странствие? Сейчас я не нахожу ответа на эти вопросы. Вероятно, я помнила настойчивое пожелание Леонида Владимировича: "как можно глуше, как можно восточнее!.." Но и в Вологде оставаться было незачем. Дело было не только в боязни воздушных налетов на этот город - относительно многонаселенный, узел железных дорог. Очень скоро я поняла, что на мне также лежит печать отверженности, и вряд ли я смогу устроиться на работу в Вологде. К тому же там стоял голод - почти такой же, как в Ленинграде, трупы так же валялись на вокзале.

И я с детьми поехала дальше: в Рослятинский район Вологодской области, самый восточный, самый глухой и по слухам самый сытный...

Настало лето 1944 года.

Уже задолго до моего ареста я почувствовала какую-то перемену в отношении ко мне со стороны тех трех-четырех знакомых, с которыми наиболее близко сошлась в этом далеком уголке Вологодской области. Две женщины, с которыми я часто, бывало, выбиралась в лес за грибами и за ягодами, а также ходила менять в другие деревни вещи на продукты, стали избегать меня. При встречах отворачивались или переходили на другую сторону улицы. Раза два я видела, как в село из райцентра приезжал какой-то военный и в сельсовет вызывали то одну, то другую знакомую мне женщину. Когда я спрашивала их, о чем шел разговор, они отвечали как-то уклончиво...

10-го июля с утра я отправилась с племянницей Таней за картошкой в деревню Красавино - верст за десять от нашего села. Пора была сенокосная, деревня была пуста. Какая-то баба предложила нам переждать у нее - часов до 4-х, пока народ не вернется с поля. Не успели мы расположиться в избе, как увидели в окно, что в ворота этого двора, где находилось также и правление колхоза, въезжает телега, сопровождаемая начальником местного угрозыска. Нас попросили выйти из помещения. Мы перешли в дом напротив и стали наблюдать за происходящим в окно. Было видно, как начальник угрозыска обыскивает имущество какой-то уезжавшей гражданки, которая везла в бутылках масло в довольно большом количестве - по-видимому, незаконно взятое на районном маслозаводе. Через окно мы отчетливо видели, как вытаскивалось из чемодана это масло, как плакала его обладательница.

И тут безотчетное чувство страха овладело мной. Я припомнила, что у меня в незакрытом чемодане дома остались кое-какие ценности и деньги. Надо скорей

бежать домой и спрятать эти жалкие остатки моего имущества, засверлило в голове. Я стала торопить Таню. Захватив картошку, мы бегом бросились в обратный путь. Бежали лесом. Всю дорогу какая-то птица, кажется выпь, преследовала нас своим тянущим за душу криком. Говорят, эта птица кричит всегда "не к добру". К 7 часам вечера мы были дома. В окошко нам радостно кивал головой мой сын Володя.

- Мама, от Таси пришла телеграмма! Он нам уже выслал пропуск в Кимры (там стояла часть, где служил мой старший сын), скоро мы уедем! - кричал он.

Точно одержимая бросилась я к знакомой женщине, у которой хранился мой чемодан, вытащила оттуда железную коробку, где лежали кое-какие золотые вещи и деньги, и ночью зарыла все это под крыльцом.

Надо было сказать об этом Тане и Соне, но сразу я этого не сделала, и получилось, что не успела.

Прошло два дня. В эти дни, как обычно, мы ходили в колхоз на прополку хлебов, за что получали по пятьсот граммов хлеба. Но вот с дневной почтой был получен долгожданный пропуск в Кимры. Радость детей была неопишуемая. Я же каким-то подсознательным чутьем ощущала, что никуда я не уеду с ними. Легли спать. Я, как всегда, на одной кровати с Володей, в одной комнате с хозяйкой дома и ее сыном. Таня спала на сеновале с девочками.

- Мама, - сказал мне Володя, - давай поговорим, как мы поедem к Тасе! Ты все какая-то скучная, ни о чем не хочешь говорить.

- Деточка, - отвечала я ему, - после нашего несчастья с папой, я за один день боюсь загадывать вперед.

Не успела я закончить фразу, как раздался стук в наружную дверь. Накинув халат, я пошла открывать.

- Клименко здесь живет? Откройте! - Отворяю. Человек в военной форме, с ним двое наших односельчан - председатель колхоза и директор МТС, и солдат с

ружьем. "Вы Клименко?" - "Да, я..." - "Вы грамотная?" - "Конечно". Он сунул мне какую-то бумажку - это был ордер на обыск.

Начался обыск. Перебирают жалкий скарб, оставшийся от нашего имущества. В одном чемодане находят исписанные Володиной рукой листочки: "Сводки Информбюро о военных действиях". По этим листочкам он, девятилетний мальчик, делал ежедневно сообщения в МТС. "Это что?" - "Это мои записки", отвечает мальчик. "А!" Я повернула его лицом к стене, накрыла одеялом. Шла опись вещей.

- Я следователь НКВД Вязников, - отрекомендовался военный. - Вам придется пройти с нами, надо выяснить кое-какие вопросы!

- Сегодня же ночью?

- Да, сегодня ночью.

Я поняла, хотя и не хотела верить, что это арест. Подошла к Володе. Поцеловала и перекрестила его спящего.

- Мне надо переговорить с племянницей. Она старшая, я поручу ей мальчика.

Вызвали с сеновала Таню. Увидев следователя, она поняла. Заплакала. "Не смей плакать, - сказала я ей. - Держи себя в руках. Еда на 3-4 дня у вас есть, а там что-нибудь выяснится. Береги Володю!"

- Ну, идемте! - обратилась я к следователю.

Вышли. Было, вероятно, часа три ночи. Село осталось позади. Нас сопровождал конвоир с винтовкой. Перед нами уходила вниз полная ночного тумана долина - огромная чаша, пестрящая днем чудесными сочными цветами - ромашками, клевером, незабудками. Резкий запах ночных фиалок доносился из недалекого леса. Прохладный, чистый воздух, чудная тишина ночи охватила нас.

Внезапно следователь тронул меня за рукав.

- Не правда ли, какая прекрасная ночь, - сказал он.

И добавил:

- Я ожидал слез, истерик... но вы держались молодцом!

- У меня сердце разрывается на части, а вы говорите о красоте ночи! - ответила я. Он промолчал.

Дошли до отделения НКВД. Он вошел в свой кабинет. Зажег тусклую керосиновую лампу, открыл несгораемый шкаф. Вынул какую-то бумагу и протянул мне. В эту минуту все вокруг - может быть, из-за позднего часа - казалось сном, чем-то нереальным.

- Вы обвиняетесь по статье 58, пункт 10*. Вам известно, что это за статья?

- Я знаю, что это статья политическая, но не понимаю, почему я обвиняюсь в политическом преступлении.

- Об этом мы поговорим завтра, - сказал он, - а пока вас отведут в камеру. Придется привыкать к новым условиям, а это не легко.

Ко мне подошел конвоир, по коридору спустились с ним вниз. Он открыл дверь какой-то клетушки и втолкнул меня туда. В руках у меня были крошечная пуховая подушечка Володи и полотняный носовой платок. Это все, с чем я ушла из дома, не догадываясь, что иду в тюрьму на десять лет.

Это происходило в ночь с 13 на 14 июля 1944 года в селе Андреевском Рослятинского района Вологодской области.

Клетушка "КПЗ" (камера предварительного заключения) была размером четыре на четыре шага. На нарах вповалку лежали четыре человеческие фигуры и еще

* Номер статьи и пункта показывает, что меня арестовали и судили за "антисоветскую агитацию".

одна покоилась на полу. На стене висела деревенская котомка с сухарями. Я машинально потрогала лямки этой котомки. Женщины на нарах подвинулись и дали мне место. Я легла...

Наступило раннее утро. Спящие фигуры зашевелились, и я познакомилась с обитателями КПЗ. Это были, во-первых, две девушки, дезертировавшие с "трудового фронта". Таким прокурор просто вручал записки, с которыми они шли в тюрьму и оказывались в заключении лет на пять, - прямо автоматизация какая-то! Еще одна девушка оказалась заведовавшей амбарамии "Заготзерно", другая - конюх из ее приближенных, доставлявшая краденое зерно - тайно, по ночам - на дом всяким начальникам, и третья - уборщица из той же компании, которая знала о хищениях, но не донесла кому следует. Кому? Тем, кто получал похищенное? Всем троим ясно дали понять, что если они "повинятся" и притом будут держать язык за зубами, то их скоро вызволят, поэтому они не очень горевали и довольно весело и беззаботно проводили время.

С помощью одной из них мне вскоре удалось передать записку домой с сообщением, где я спрятала деньги и остатки золота. Таня эти деньги нашла, передала их в Вологде надежному человеку, а он сумел изредка (раз в четыре месяца) пересылать мне по двести рублей. Благодаря этим деньгам я смогла покупать через день по поллитра молока, - это было уже спасение.

В полдень вызвали на допрос. О, эти допросы! Два человека играют комедию - я и следователь. У него перед глазами шпаргалка с "наводящими вопросами". Например: не верила в победу Красной Армии; рассказала какой-то анекдот о колхозной жизни; восхваляла тов. Ленина, тем самым умаляя личность тов. Сталина... Впоследствии, в тюрьме, мы убедились, что вопросы, которые задавали следователи, были везде

совершенно шаблонные, - видимо, они исходили из соображения, что важно "взять" человека, а уж хоть в одном-то из стандартных "антисоветских высказываний" наверняка окажется виновен любой!

Следователь все время что-то записывает каллиграфическим писарским почерком: вероятно, оплата "человеко-часов" имеет немаловажное значение в их работе. Потом прочитывает мне мои "показания". Все до того нелепо искажено, раздуто, что я невольно усмехаюсь.

- Теперь я вижу, как у вас сляпываются дела, - вырвалось у меня.

- Вот уже за одни эти ваши слова вам надо дать 58-ю статью, - ответил он.

- Что же будет с моими детьми? - спрашиваю его.

- Так как у вас есть пропуск на выезд, они могут отправляться в Вологду. Вы можете послать телеграмму вашему старшему сыну в его часть, чтобы он выехал в Вологду и устроил их там.

- За это большое спасибо вам! Мне будет легче, когда они уедут...

- Это я вам могу обещать! - любезно откликнулся он.

На другой день неожиданно появилась "передача": молоко, немного масла, картошка и хлеб. Принесла ее Таня.

- Сейчас же унесите и отдайте обратно, - крикнула я. - Неужели я буду отнимать последние крохи от своих детей? (Как они будут жить эти дни, пока их отправят? Ведь у них все описано. Даже одеяла и подушки из-под головы были вытащены.)

- Не шуми, - добродушно сказал надзиратель, - больно девчонка твоя убивается, плачет.

- Скажите, чтобы не плакала. Мне очень даже хорошо.

- Ладно. Скажу, скажу...

Мужскую и женскую половины в нашей КПЗ разделяла дощатая перегородка с широкими щелями, и по вечерам мы охотно беседовали с обитателями мужской каталажки. Там сидел среди других очень живописный старик - "дедушка-кузнец", как его все величали. Румяный, с белой как снег длинной бородой, старик этот был необыкновенно веселый, умный, притом с хитрецей. Каждое утро он начинал служить обедню: "Благословен Бог наш", и сам себе подпевал необыкновенно красивым баритоном. По-моему, делал он это не столько из религиозных чувств, сколько из желания позлить начальство. Надзиратели стучали в дверь: "Ишь, распелся кузнец, смотри, как бы не перед слезами!", а он властно отвечал: "Ну, уж слез-то моих вы не увидите!" По вечерам я иногда подходила к перегородке поболтать с ним. Он то говорил прибаутками, то пускался в философские рассуждения. "Вот, говорила я, кажется, никому зла не делала в жизни, наоборот, - всем старалась помочь; за что ж такая Божья кара?.." "Ишь ты какая ловкая, ты около хороших людей была хорошая, это не хитро. Вот ты останься хорошей с дрянью, - вон тогда ты, значит, чего-нибудь да стоишь". Потом добавил задумчиво: "Придет и для тебя хорошее время, и все несчастья эти забудешь. Вот увидишь; я ведь колдун", - усмехнулся он.

Перед этапом он дал мне деревянную ложку с какими-то вырезанными буквами и сказал: "Храни на счастье, пока она будет с тобой - с голоду не умрешь". Так оно и вышло. Положительно непростой был старик!

29 июля 1944 года меня внезапно вызвали в канцелярию снимать отпечатки пальцев. Это один из признаков, по свидетельству опытных арестантов, что скоро отправят на этап. Действительно, вечером нам объявили, что утром отправляют "партию" (даже названия со-

хранили от царской каторги!). В тот же вечер неожиданно выпустили Анну - бабу-конюха, которая обвинялась с компанией в краже зерна со складов. Держалась она очень спокойно и цинично заявляла: "Только бы выпустили до суда; полсвиньи прокурору - и больше двух лет не дадут!" Так оно и вышло впоследствии, только она не прожила в лагере и двух месяцев - внезапно умерла от крупозного воспаления легких.

Я в тот день также была спокойна. Я уже знала, что детей моих увезли в Вологду и они не увидят, как их мать под конвоем, в лаптях поведут по деревне.

В полдень 30 июля нас начали собирать на этап. Выдали паек: хлеб и по 20 граммов сахара на день. У меня было еще 250 рублей денег и мешок с сухарями. Около трех часов вывели во двор. Построили. Всего идет 7 человек - две девушки, самовольно покинувшие "трудовой фронт", я и четверо мужчин. Один - лесник, застреливший лося, затем председатель колхоза, выдавший голодающим колхозникам какие-то крохи зерна до расчета с государством, дезертир с фронта в ручных кандалах и воришка лет 13. У меня за плечами котомка с сухарями, там же кое-какие мелкие вещи. Есть еще мешок, в нем пальто, платье, пара белья, туфли - это я сама нести не могу, и мешок взялась нести одна из моих молодых попутчиц "за сухари". В момент отправки вышел мой следователь Вязников, в добротном штатском синем костюме. Я обратилась к нему с просьбой положить мои вещи на повозку; он равнодушно мне ответил, что сейчас я уже перешла в ведение тюремного начальства и он ко мне никакого отношения не имеет. Нас сопровождают конвоиры: двое молодых, а третий - пожилой военный - едет на телеге. Идти надо 120 верст, на что дается три дня.

Выходим. Жаркий воскресный день, по сельской улице гуляют люди. Кто-то крикнул: "Счастливого пути!"

Поднялись на гору. Котомка начинает оттягивать плечи. Вот и наше село Андреевское, которое я покинула в ночь ареста. Проходим мимо дома, где я прожила с детьми два тяжких года. В огороде старушка копается в грядках. Увидела нас, выпрямилась и заплакала. К счастью, больше никого нет на улице: пора сенокоса. Только куры копаются в дорожной пыли. При спуске к реке, за селом, вижу Соню - бывшую нашу домработницу. В руках у нее корзинка с передачей. Приблизилась ко мне, хочет передать кое-что на дорогу. "Назад! Отойди!" - кричат конвоиры, отгоняя ее. Все же успеваю схватить корзинку. В ней две бутылки молока, немного хлеба и вареной картошки. Одна бутылка падает, молоко льется на землю. "Нашли ли деньги?" - кричу я. "Да, да! Таня увезла их с собой!" Ну, слава Богу!

Прошли деревню Кожухово - значит, одолели пять верст. Привал. Разрешили поесть. Мне приказали кормить дезертира, на котором ручные кандалы. Я сперва убила комаров у него на лбу, которых он не мог отгонять сам. Кладу ему в рот кусочки хлеба и даю запивать водой из бутылки. Поднимаемся и идем дальше, а идти становится все труднее и труднее. Разрешили положить вещи на повозку. К вечеру первого дня прошли только 20 верст. Заночевали в деревне Княжево. Легли в какой-то избе прямо на полу. Вскипятили нам самовар, дали кипятку. Ноги болят нестерпимо. Если бы не было лаптей, не пройти бы мне и половины этого пути! Конвоиры захрапели, а я, как ни устала, долго ворочалась на полу, все смотрела в окно на затухающую зарю... Уже начала засыпать, как вдруг услышала шепот: "Товарка, товарка..." Я приподняла голову. Дезертир, с которого на ночь сняли ручные кандалы, но надели ножные, чуть приподнялся с пола. "Что тебе?" Он глазами указывает на спящих конвоиров. У одного из них из-под подушки торчит пистолет. "Поддай-ка мне пистолет, - шепчет он. - Я их

живо..." - "Ты с ума сошел! - шепчу в ответ. - Расстрел заработаешь. Успокойся и спи лучше". Он улегся и замолчал.

В пути меня поразило одно обстоятельство: с какой спокойной покорностью и вместе с тем достоинством держали себя все мужчины и женщины нашей партии. Ни слез, ни жалоб, в отношениях же с конвоем - какая-то скрытая ирония: мол, что поделать, - у каждого своя работа...

Наутро двинулись очень рано. Торопимся. Оказывается, 3 августа - Ильин день, и конвоиры хотят поспеть домой, где их ждет большая пьянка. Первый привал - на высоком холме в деревне, которая так и называется - Горка. Прошли 17 верст по жаре без отдыха. Еле волочу ноги. Онучи развязались. Конвоиры беззлобно ругаются: "Чего отстаешь, интеллигенция! Прибавь ходу!" Ноги ноют. Прошли еще 10 верст. Деревня Миньково. Здесь на молокозаводе можно купить пахты. Даю десять рублей конвоиру, он приносит целое ведро. Все - и конвой с нами - сели вокруг стола и поели досыта, с хлебом. Дальше, дальше! Надо пройти еще 13 верст дотемна. Под конец иду как во сне, еле передвигая ноги. Дошли до какой-то деревни. Останавливаемся на ночь в доме, видимо, зажиточного хозяина. Дали теплой воды из бани, опустила туда ноги, - какое блаженство! Свалилась на пол, как мертвая.

Первое августа. Чудное раннее утро. Хозяин избы приглашает меня посмотреть его образцовый огород. Конвой разрешает. Иду смотреть. Показывает плоды своего труда. Все очень благоустроено и аккуратно, но хоть бы одну морковку вырвал и дал мне. О, русский человек!..

Выпили кипятку - и дальше в путь. Дорога идет лесом, "вьется трубой" - по местному выражению. Роса еще не спала. По обочинам то тут, то там вспыхивают красные ягоды земляники. Издали доносится запах

скошенного сена. "И смолой и земляникой пахнет темный бор", - как хороша эта лесная дорога... дорога в тюрьму!

В это утро оба молодых конвоира уселись в повозку и сразу же захрапели. Заключение-воришка, сидя на козлах, правил лошадей. Пожилой конвоир один охранял нас - семерых арестованных. Дорога все время вьется, петляет, и мы, пешие, далеко отстали от повозки. Вдруг на повороте одна из девушек крикнула: "Гляньте-ка, кажись, в телеге-то только двое сидят!" Наш конвоир стал кричать, его молодые товарищи проснулись - и верно: мальчишка исчез, удрал. Кутерьма поднялась страшная: вместо пьянки в Ильин день - наших стражей ожидал карцер, гауптвахта! Встретились бабы на возах с сеном. "Не видали ль мальчишку?" - "Видели, полчаса тому пробежал, прямо в лес сиганул... Не ищите, здесь все равно на сорок верст жилья нет. Ау!" - захохотали они.

Молодые конвоиры бросились его искать по кустам, - только для виду, а пожилой конвоир обратился ко мне: "Клименко, садись на телегу", - и оставшиеся семь верст до Леденска я ехала "как барыня".

Вот и леденская тюрьма. Впихивают в клетушку, где уже сидит около двух десятков женщин. Все "торгаши", как они себя называют: бухгалтера, продавцы, пекари. Сроки - пять, десять лет. Особенно запомнилась одна девочка лет семнадцати - Оля. Нежная, как цветок, с яркими синими глазами. Ее поставили в какой-то деревне продавцом в лавке. Дома голод. Принесла домой 3 кило пшена. Кто-то донес. Ревизия. Срок. (Ох, и сделают же из нее проститутку в лагерях, первый же нарядчик снимет сливки. Сколько таких погибло на моих глазах! "Посадили за решетку, думали - исправил, мне молоденькой девчонке нахальства прибавили!") Вечером улеглись вповалку - кто на полу, кто на нарах. Просят меня рассказать что-нибудь.

Рассказываю им содержание какого-то кинофильма. Слушают, как дети, затаив дыхание. "Еще, еще что-нибудь расскажите", - просят меня. Бедные, бедные люди!..

На следующий день - отдых, а затем - последний этап, уже до тюрьмы в Тотьме - 38 верст.

Дождливое утро. Партия большая, человек пятьдесят. Впереди женщины, за ними мужчины. У ворот тюрьмы - провожающие, плачущие родные. Ведет партию очень, по слухам, свирепый начальник - некто Попов. По виду он и на самом деле страшен - лицо все в следах оспы, одна ноздря разорвана. Внимательно посмотрел на меня - я ведь среди женщин одна "политическая". Партия двинулась. Моросит теплый, мелкий дождь - хорошо, хоть идти не жарко. Вышли за околицу. Внезапно Попов остановил партию, подошел ко мне и сказал: "Положите ваши вещи на повозку". Идем, идем... Два с половиной года назад я шла по этой самой дороге, только в обратную сторону, держа за руку своего маленького сына. Зачем? Разве от судьбы убежишь? Как поется в русской песне:

Я от горя убегая, горюшко за мной идет,
Я до моря добежала - горе уточкой плывет.

Мой завет детям: "Не бегите! Встречать горе надо - лицом к лицу - прямо в лоб".

За все время сделали только два привала. Причем, если надо было оправиться, то женщины становились в тесный круг, а мужчины деликатно отворачивались. Все это происходило здесь же, на дороге, в лес не отпускали.

То ли близость желанного берега, то ли уже привычка к пешим этапам у большинства заключенных, но шли мы ходко. Вечерело, когда мы подошли к Тотьме. На том берегу реки - тюрьма: белое двухэтажное

здание глядится с высокого обрыва в спокойные воды Сухоны. Облик этой тюрьмы - какой-то грустно-иронический. Впоследствии пришлось заметить, что у каждой тюрьмы свое, ей одной присущее "выражение лица". Сели в лодку, переправились на другой берег, поднялись в гору и стали ждать, когда откроются тюремные ворота. Я оказалась около начальника конвоя Попова и тихо сказала ему: "Про вас говорили, что вы очень злой человек, а, по-моему, наоборот..." Он вздохнул, потупился и неожиданно ответил: "Около хороших людей и сам будешь хороший".

Ворота, наконец, открылись. Начался обычный прием партии заключенных. От усталости опять все повалились на пол, хотя только что лежали перед воротами на земле. Какая-то женщина в белом халате - не то врач, не то банщица, - пробежала мимо: "Откуда вы их всё таскаете, сколько народу перепортили!" - бросила она на ходу. Повели в баню - вот блаженство после долгой дороги! После бани втиснули в "собачники". Это узкие клетушки, в которых можно только сидеть. Через несколько минут начинаешь задыхаться, стучать, но никто не придет, пока не настанет твоя очередь пройти индивидуальный обыск. Наконец, всех собрали в общей камере и заперли на ночь на замок.

Утром дали кипятку. Люди как-то притихли. Каждый ждал решения своей участи. Разговаривать не хотелось. После обеда дверь камеры открылась: "Клименко!" - "Здесь..."

- Год рожденья, статья, срок ("тюремные позывные")?

- Какой срок, меня еще не судили!..

- Следуйте с вещами за мной.

Простилась с девушками. Вышли с конвоиром во двор, обогнули корпус. Впритык к тюремной стене - милый одноэтажный маленький домик, перед ним грядки с огурцами. Идиллия, да и только! Увы! Это

корпус для политических. Вошли. Дежурный молча открыл дверь камеры. Я вошла, дверь захлопнулась. Тишина. Это и есть одиночка. Одиночка сама по себе не страшна. Это единственное место в арестантской жизни, дающее время и возможность побыть наедине с собой, подумать, повспоминать...

Тюремный день начинался в 6 часов утра криком "Подъем!". Вынос параши в уборную и умыванье там. Потом в тихо открываемую дверь просовывалась рука с веником. Уборка камеры. Так же безмолвно открывалась "кормушка"* и появлялась пайка хлеба в триста граммов и кружка кипятку. Все это без единого слова.

Одиночка была по-сталински полноценной - с деревянным "намордником"*** на окне. Изредка доносился лай сторожевых собак, а по вечерам, когда я открывала форточку, слышалось мальчишеское пение - по видимому, из расположенного где-то поблизости ремесленного училища.

Ложилась спать рано - света не зажигали, и я долго думала о своей такой странной жизни и порой вдруг пыталась посмотреть на свою судьбу со стороны. Это давало какое-то странное облегчение: становилось не так больно и не тяжело, а просто интересно - что еще выкинет со мной эта старая ведьма Судьба и долго ли мне доведется прожить.

Дни без книг тянулись невыносимо долго. Прошло дней десять; повели в баню - все это в одиночестве, ведь я еще числюсь подследственной. Возвратившись из бани, стала расчесывать волосы; вдруг открывается

* Заслонка в окованной железом двери, наподобие форточки.

** Козырек, прикрывающий окно снаружи и позволяющий проникать в камеру дневному свету и видеть из камеры полоску неба, если подойти вплотную к окну.

кормушка, и я слышу голос: "Книги брать будете?" О счастье! Не знаю, что взять, руки трясутся. Надо брать книги потолще, чтобы на неделю хватило. Беру однотомник Пушкина, "Записки Пиквикского клуба" (это как валериановые капли) и зачем-то тонкую книжку Демьяна Бедного...

Начинаю с Диккенса. Стараюсь забыться, войти в эту далекую английскую жизнь - и моментами точно просыпаюсь и с удивлением вглядываюсь в стены своей одиночки, в "Правила внутреннего распорядка", висящие на стене, и стараюсь логично объяснить самой себе, как же я попала сюда. Как всё глупо, глупо!

Через три недели, ближе к вечеру, мне вернули белье из стирки и позвали "на выход с вещами". На суд! - мелькнуло в голове. Провели опять в тюремный вестибюль. Там стоит какая-то девушка, в одном платье и босая. Ее тоже куда-то повезут. Вынесли сухой паек на три дня - хлеб, немного соленой рыбы и 60 граммов сахара.

Внизу у пристани стоит пароход, куда грузят репатрируемых поляков со всем их скарбом и движимым имуществом: козами, курами и т. п. Это американская, кажется, организация отправляет на родину поляков, насильно вывезенных с оккупированных "нами" в 1939 году польских земель и отправленных в северные области России. Пароход набит поляками до отказа. Среди них двое нас, заключенных, и трое конвоиров. Кругом польская речь. Верят, что едут домой, радуются - еще бы! У всех еда - по-видимому, из американских посылок: какао, галеты, сыр, масло. Едят без конца, по нескольку раз в день. Мы же с "товаркой" к концу следующего дня съели весь свой трехдневный паек и чувствуем резкий голод, а тут еще несчастье - пароход сел на мель, задержка в пути на целые сутки. От голода кружится голова. А поляки кругом едят и едят! С сочувствием смотрят на нас, но предложить не ре-

шаются, опасаясь прогневить власть - наших конвоиров. Итак, русские люди везут в тюрьму ни в чем не повинных русских людей, умирающих от голода на своей же земле, а поляки, навсегда покидающие эту страну, с сожалением, страхом и, конечно, с презрением смотрят на этих глупых, точно одурманенных русских людей...

Достала шерстяную юбку и пару хороших мужниных носков и попросила одного конвоира отпустить мою спутницу в трюм, подальше от глаз остальных, выменять немного еды. Сжалился - пустил. Она принесла кусок хлеба и четыре кусочка сахара - уже легче!

Наконец, прибыли в Вологду. Вывели на пристань и повели - девушку в уголовную тюрьму, меня на улицу Герцена (!), во "внутреннюю" политическую тюрьму. По пути мы прошли мимо дома, где должны были найти приют мои ребята. Что с ними? Вот уже полтора месяца я ничего не знаю о них.

У ворот тюрьмы долго ждем. Какие-то бесконечные переговоры конвоя с начальством. Села на траву у тюремной стены. Вокруг высокие, мясистые, осенние одуванчики. Начала рвать их и подумала: не последние ли это цветы в моей жизни. Наконец, повели: опять одни ворота, вторые... Опять приемка ("Инициалы полностью!* Год рождения, статья, срок!"). "Шмон", то есть обыск. Тут выяснилось, что моя спутница - воровка, которой я дала подложить под голову мешок с мягкими вещами, ухитрилась украсть из него простыню, платье, пару белья и еще какие-то мелочи. Что поделать! Втолкнули в первую по коридору дверь. Камера очень грязная и темная. Все стены исчирканы надписями прежних обитателей, то неприличными, то меланхолическими. Обед холодный, видимо, его откуда-то привозят:

* Это означало требование назвать, кроме фамилии, полностью имя и отчество.

суп из гнилой капусты и черпак черного полугнилого гороха "на второе". Плохо дело! Выживу ли здесь?

Наступил вечер без света. Кажется, уже близко к полночи заскрипел замок. "Клименко, без вещей!" Чудная августовская ночь, яркие звезды над головой. Как хорошо на воздухе после грязной камеры! Повели в другое здание, на четвертый этаж - по-видимому, на допрос уже к вологодскому следователю.

В комнате темно. У окна силуэт человека за столом. Лица не видно. Тихий голос. "Как доехали?"

- Плохо, - отвечаю. - В дороге голодали. Пароход сел на мель, и мы были без еды почти двое суток...

Пауза. Начинается допрос. Вежливо:

- Не можете что-либо добавить к своим прежним показаниям?

- Нет, не могу.

Позвонил. Попросил зажечь лампу. В лампе не оказалось керосина. В темноте допрашивать неудобно - как писать протокол?

- Отложим. Я вас на днях опять вызову. Уведите арестованную.

Идем назад. Старый угрюмый конвоир перед воротами неожиданно оборачивается ко мне и тихо говорит: "Что, тяжело?" И, вздохнув, добавляет: "Раз уж попал в такое положение, остается одно: терпеть!"

Многотерпеливый русский народ, доколе же терпеть?

Опять темная камера. Усталая, ложусь на жесткую, колченогую койку. Снится яркий солнечный день. Петергофский дом. Ветер тихо колышет тюлевые занавески. В гостиной на рояле в вазе букет жасмина. Просыпаюсь. Я ли это?

Камера в этой тюрьме была особенно грязна и темна. Света не давали. Окно было разбито и из него тянуло уже предосенней сыростью. Намордник был очень высок и небо едва-едва видно. По вечерам я подходила к разбитому окну и дышала свежим ночным воздухом. При-

слушивалась к звукам с "воли". Изредка слышались окрики часовых, да скулили служебные собаки. Никаких других звуков в этой тюрьме мое ухо не улавливало.

Дни были похожи один на другой, как две капли воды. Но однообразный распорядок дня как-то ускорял течение жизни. Вспоминались верные слова Тургенева из "Отцов и детей": "Всем известно, что в России время течет необычайно быстро; говорят, в тюрьме оно бежит еще быстрее!"

К счастью, давали книги. И какие! Например, "Египетская мудрость" с замечательными изречениями: "При подъеме на большие высоты всегда легче оступить", или: "Большим радостям в этом мире всегда сопутствуют и большие огорчения". Или: "В ворота радости всегда надо входить с осторожностью". Или, например, "Жизнь Тамерлана" с его замечательными обращениями к Аллаху...

В начале сентября снова вызвали на допрос, уже в присутствии прокурора. Тут я разглядела, наконец, своего следователя. Маленький, худой, нога на протезе. Лицо грустное. Вяло пережевываем следственный материал. "Еще какие свои антисоветские высказывания вы припомните?" - "Говорила, что много хороших, умных людей зря погублено, от этого много произошло ошибок в начале войны..." - "Но это мы уже занесли в протокол!" - "Еще говорила, что прежде чекисты более умно и чутко подходили к заключенным. Они как-то чувствовали - виноват человек или нет, а сейчас какая-то уравниловка. Правда? И что много ценного и нужного человеческого существования и дорогого времени тратится в тюрьмах. Больше ничего не могу прибавить. Я имею в виду своего мужа... Это был нужный стране человек и зря погублен..."

Через несколько дней я у этого следователя в третий, последний раз. "Ну вот, сейчас вы подпишете

206-ю статью..." (Кажется, о том, что ко мне не применяли физического насилия)*. На этот раз в комнате сидел какой-то тип с бандитской физиономией, он свирепым взором наблюдал за мной, а попутно и за моим следователем. Интересная деталь: следователь (его фамилия была Петухов) обратился к свирепому: "Сегодня, кажется, заседает трибунал, интересно бы послушать". - "Чего интересного! - буркнул тот. - Всё десять и десять!.."

- Ну, давайте теперь, - обратился ко мне Петухов, - сформулируем текст обвинительного заключения. Вы мне поможете?

Начинаем вместе "формулировать". Я диктую, он пишет. В одном месте есть фраза: "...не верила в победу советской армии". Я вместо "советской" говорю "немецкой". Он, не заметив, так и записывает. Я не выдерживаю и улыбаюсь, он ошарашенно смотрит на меня, еще не понимая, в чем дело, перечитывает, смущается, зачеркивает. Комедия продолжается.

- А где меня будут судить, - спрашиваю его, - на вашей территории?

Он косится на своего "напарника" и отвечает, не глядя: "На нашей!" Прощаемся. Отводят назад в тюрьму. Минут через пятнадцать дверь снова открывается и дежурный бросает: "С вещами собирайтесь!" Ведут по коридору, но не к выходу, а в какую-то другую камеру. Камера маленькая, три койки. Навстречу мне поднимается пожилая женщина с очень бледным, умным и интеллигентным лицом и приветливо называет себя: Лидия Ивановна Тугаринова. Вторая женщина сидит на кровати и молча смотрит на меня. "Ну вот, - говорит

* В действительности, 206-я статья УПК (Уголовно-процессуального кодекса) предусматривала просто право подсудимого ознакомиться с материалами своего дела, когда следствие оканчивалось.

Лидия Ивановна, - нам веселее будет втроем. Вот ваша койка”.

Говоря о Лидии Ивановне, невольно хочется сказать вообще об этом типе людей, который сейчас почти исчезает. Основное их качество - страшная внешняя выдержка и какая-то особая внутренняя подтянутость. В тюрьме эти качества особенно ценимы. Она, естественно, сделала старостой камеры и прежде всего ввела строжайший распорядок дня. Никакого упадка духа и хныканья не допускалось. По утрам, после приборки, мы все трое выводились на прогулку и делали в крошечном ”загоне” 30-40 кругов - молча, глубоко дыша. Стражи с вышек с удивлением смотрели на нас. Потом, приходя обратно в камеру, темную от намордника, съедали по сто граммов хлеба - четверть дневной пайки - и принимались читать. После обеда - час отдыха, а потом начинались разговоры до темноты о литературе, истории, театральных постановках, артистах, общих знакомых, немного о ”кушаньях”, но эта тема была коварной, так как есть всем хотелось мучительно. Потом в темноте укладывались в постель и, как затверживая роль, повторяли про себя свое будущее ”последнее слово” на суде.

Бедная, милая Лидия Ивановна, мне не пришлось вас видеть после суда, но думаю, вам, как и мне, не пришлось произнести этого последнего слова.

По профессии она была искусствоведом. Организовывала фотолитературные монтажи ”Рим”, ”Старый Париж” и т. д. Бывала за границей. Она не призналась ни в какой ерунде, которую ей предъявляли. Ни угрозы, ни оскорбления (ей достался наглый и некультурный следователь) не заставили ее признать себя виновной. Таскали ее на допросы по ночам без конца. И вот результат: пять лет с конфискацией всего имущества. Она была женой академика Пуйше. В Ленинграде у них была квартира на Петроградской стороне - целый

музей, огромная библиотека, старинный фарфор, картины, рояль, масса всяких редкостей. По словам Надежды, второй нашей товарки по камере, когда ей объявили приговор, она страшно побледнела, чуть не упала без чувств и, попав в лагерь, вскоре умерла там от воспаления легких.

Вторая наша соседка, простая крестьянская женщина, тоже привлекалась к ответственности по 58-й (политической) статье, за то, что будто бы ее муж, будучи пьяным, выколол глаза на календаре портрету одной самой высокой советской особы. Кто-то донес, и ее взяли вместе с мужем. Приведу один курьезный пример того, как ей "шили" дело, - потому что выпустить ее было уже нельзя, а арестовали ее не вследствие личной вины, а просто заодно с мужем, - уж больно страшна была его вина. Очевидно, для острастки, а может быть, и ради большей оплаты труда, полагающейся, видимо, в ночное время, следователи обычно вызывали на допрос по ночам. Конечно, на сонных испуганных людей легче было оказать психическое давление. Однажды ночью Надежду вызвали на допрос; часа через два она вернулась какая-то оторопелая. Я не спала. "Оля, не знаешь ли ты, какой такой есть у Гитлера техникум?" - "Черт его знает, - спросонья отвечаю я. - Да в чем дело?" - "Да всё следователь пристаёт: ты, баба, евонный техникум хвалила". - "Может быть, технику?" - спрашиваю. "Да нет, быдто техникум..."

Однажды меня вызвали к начальнику тюрьмы и прочитали обвинительное заключение. У меня в это время падали чулки, и я очень невнимательно слушала, - да и не все ли равно, если "всё десять и десять"?..

Прошло еще несколько дней. Мы почти не говорили о будущем: к чему? Оно все равно покрыто мраком. И вот утром 24 октября меня вызвали "с вещами". Распростившись с моими соседками по камере, я вышла в

коридор. Меня - слабую от недоедания, пожилую женщину - ожидало трое конвоиров. Один из них подсадил меня в "черный ворон", и мы поехали. Кажется, в машине кроме меня еще были люди. Холодный, ясный денек. Листья с деревьев уже опали. Как я любила "на воле" такие дни поздней осени! Подкатили к пристани, потянуло холодом с реки. После некоторого ожидания подошел пароход. Нас посадили в отдельную каюту. Конвоиров стало уже четверо, ибо кроме меня везут еще двоих опухших, заросших щетиной мужчин. Знакомимся. Нас, очевидно, везут назад в Тотму, где будет, наконец, суд. Боже мой, сколько тратится бессмысленно государственных средств! Для чего? Трех голодных, морально убитых, оупевших людей везут четверо здоровых солдат, которым в такое трудное для страны время надлежит быть на фронте, защищать родину.

Солдаты всю дорогу дулись в домино и, казалось, никакого внимания на нас не обращали. Ночью можно было удрать, броситься в воду, утопиться или вплавь добраться до берега: хватились бы они, проснулись ли? Иногда я, прильнув к иллюминатору, вспоминала: вот, четверть века назад, я, с маленьким ребенком на руках, поднимаюсь по той же реке - и тоже в тюрьму, к мужу. С 19 лет "обреченная". Вот она, судьба моего несчастливого поколения: тюрьмы, аресты, допросы, обыски и страх, страх и днем и ночью. А мы ли не любили своей родины, мы ли не гордились ею, мы ли не переживали с ней всё самое страшное! Мы не покинули свою родину в трудные дни... Говорят, что излишняя закалка только портит сталь, она делается хрупкой, ломкой и нестойкой. Наверное, то же получается и с людьми.

Стояла глубокая осень, в сумерках на берегу в избах зажигались огни. Убогие, почерневшие избышки голодных деревень - мимо, мимо...

Наконец, 28 октября в середине дня снова прибыли в Тотьму. Бессолнечный денек ранней северной зимы, по реке уже плывет сало. Поднимаемся по обрыву - опять к тюрьме. Желтые опавшие листья шуршат под ногами. Смотрю на тот берег. Среди ельника вьется уже тронутая первым снежком дорога в Рослятино. Где-то мои бедные детишки, вот уже четыре месяца я ничего не знаю о них...

Перед нами ворота тюрьмы. Звоним. Открывает дежурный по фамилии Осовской. "А, Клименко, опять к нам! Что, в гостях хорошо, а дома лучше? - весело обращается он ко мне. - Ну, иди, иди сперва в баню, потом накормим, напоим". То ли от его такого простого, неказенного обращения, то ли оттого, что уже измучилась от этих бесконечных этапов, мне вдруг нестерпимо захотелось покоя, просто покоя. Своим чередом пусть случится, чему суждено, но сначала пусть будет покой, покой.

5.

Тотемская тюрьма была учреждением с налаженным, устоявшимся порядком. В бане тепло. Кормят значительно лучше, чем в Вологде. В камере тоже тепло и чисто. После бани я попала не в прежнюю камеру, а в другую, последнюю по коридору. На одной из коек сидит какая-то фигура. Знакомимся. Оказывается, моя соседка - когда-то раскулаченная, баптистка, из саратовских спецпереселенцев. В заключении второй или третий раз. Озлобленная истеричка, лицемерка и ханжа, но страдает искренне. Дома остался муж, пожилой, и две дочки - пяти и двенадцати лет. Очень мне обрадовалась, начала рассказывать всю свою жизнь, как часто бывало в тюрьме. Это какой-то сплошной кошмар. Когда ее арестовали в первый раз, в 1934 году, вместе с мужем,

на хуторе осталось трое детей: две маленькие девочки и сын четырех лет. Вскоре младшая, трехлетняя дочь умерла, а мальчик утонул в луже около дома. У меня просто мурашки по спине побежали - вот одна из миллионов трагедий сталинского времени...

Утром внезапно мою соседку увели на суд. Я опять одна. Снова потянулись мучительно долгие дни. С утра ждала вечера, а с вечера - утра. Читать можно было только часов до четырех, до наступления темноты; свет зажигали в восемь часов вечера, и тогда я снова хваталась за книгу и читала и перечитывала одно и то же по нескольку раз.

Перед праздником 7 ноября в кормушку неожиданно проснулась голова: "У вас есть деньги в конторе. Начальник разрешил купить вам что-нибудь за ваш счет на рынке. Хотите?" - "Конечно, но..." Рассчитываю в уме: у меня 210 рублей. Я рассуждала так: я совершенно невиновна, меня наверняка оправдают, - значит, надо оставить на дорогу рублей 170; следовательно, можно потратить рублей 30-40. стакан молока стоил 5 рублей, значит, можно бы купить шесть стаканов молока... "Отчего так мало?" - спросил дежурный. "А вдруг понадобится на билет?" - "На какой?" - усмехнулся он...

10 ноября вызвали на суд. Ведет меня тот же конвоир, который вез меня в Вологду. Идем по городу. Одета я прилично: драповое пальто, шелковый ташкентский платок. Вот и здание суда. Посадили в коридоре на скамейку. Мимо быстро прошел военный с грубым, словно затвердевшим лицом, - как оказалось, председатель трибунала Меньшов. Через час ввели в какую-то маленькую комнатушку. Посередине стол, небрежно накинута на него красная кумачовая скатерть. За столом председатель, какая-то молодая женщина и молодой парень в военной форме. Сбоку примостился секретарь - пожилой, довольно симпатичный еврей.

Председатель: "Встать! (Я и так стояла.) Признаете ли себя виновной?" Говорю заранее заученную фразу (чтобы от волнения не сбиться):

- Признаю себя виновной в том, что под влиянием сильного горя и психического потрясения позволяла себе непродуманные высказывания в очень узком кругу лиц. Никакой антисоветской пропаганды и агитации не вела.

- Знаем мы эти штуки, - обрывает он меня. - Отложить суд. Вызвать свидетелей.

- Да судите же, черт возьми! - крикнула я. - До каких же пор мне сидеть в одиночке?

Председатель взял портфель и, не удостоив меня ответом, вышел. Опять потянулись, потянулись тюремные дни.

15 ноября вновь повели на суд. В душе страх: неужели снова отложат? Ведь какие могут быть свидетели? Кого они найдут в Рослятине? Сажу в коридоре одна. Тишина, холод. Конвоир, видимо, ушел греться. И вдруг открывается какая-то боковая дверь, оттуда выглядывает женщина, по-видимому, уборщица; в руках у нее две картофельные ватрушки и кружка молока. "Покушай, пока никого нет", - шепчет она мне и скрывается. Я хватаю ватрушки и с жадностью ем их. "Дай Бог тебе здоровья, милая!" О суде уже не думаю, так силен голод, так велико наслаждение едой. Выходит конвоир. "Идем обратно, - говорит он. - Свидетели не приехали".

Несколько минут стою на обрыве у реки и уже в который раз смотрю на дорогу в далекое Рослятино...

20 ноября в третий раз вводят в "зал заседаний". Оглядываюсь. Сзади меня сидит лесник Маркел Григорьевич из Рослятина. Слава Богу - нашелся хоть один свидетель!

- Константиновна, матушка, - шепчет он мне. - Прости меня. Кабы ты знала, как с ними дело иметь!

(Мне ли не знать!) Меня, видно, за тебя Бог посетил. За эти четыре месяца у меня двоих сыновей убили, уже вещи выслали...

- Ну что вы, - отвечаю ему. - Бог простит!.. Не знаете ли, что с моими детьми?

- По слухам, ваш старший сын приезжал в Вологду. Володю устроил в детдом, а Таня в Вологде. Володя не хочет жить в детдоме; говорят, убежал из него... (Господи Боже мой, сохрани мальчика!)

Входят члены суда во главе с тем же Меньшовым. Начинается допрос свидетеля:

- Какие антисоветские высказывания Клименко вы знаете? - начинает председатель. - Правда ли, что она хотела уехать за границу? (Это из Рослятина-то?!)

- Нет, она говорила, что очень хочет вернуться в Ленинград, потому что здесь очень некультурный и жадный народ...

- Еще какие высказывания припоминаете?

- Говорила, что рада, что ее старший сын, может быть, вернется на Кировский завод с фронта... тогда, может, хоть жив останется*...

- То есть проявляла пораженческие настроения!..

- Еще говорила, что финны ненавидят русских, потому что цари их притесняли...

- Больше ничего?

- Больше ничего...

Продолжать допрос дальше, видимо, нет смысла.

Внезапно один из членов трибунала задает мне вопрос: "А за что был арестован ваш муж?"

- Понятия не имею...

Председатель наклоняется к его уху, что-то шепчет. Тот поспешно заявляет: "Я снимаю мой вопрос!"

* Кировский завод работал непосредственно на военные нужды и мог отзывать из рядов армии отдельных, необходимых ему специалистов.

В этот момент входит солдат и довольно громко говорит председателю: "Через полчаса самолет отлетает в Вологду".

- Больше вопросов нет? - торопливо спрашивает председатель. - Объявляю судебное заседание закрытым. Суд удаляется на совещание!

- А когда же мне дадут последнее слово? - удивляюсь я.

- Какое еще последнее слово, и так всё ясно!

Спустя пять минут оглашается приговор: 10 лет исправительно-трудовых лагерей и 5 лет поражения в правах, кроме родительских.

- Какие же у меня могут быть родительские права, если я столько лет не смогу нести никаких родительских обязанностей? - недоумеваю я вслух.

- Ну, это уже другой вопрос, - буркнул председатель, и все стали расходиться. Мимо меня проходит пожилой секретарь трибунала. "Здорово же вы меня закатали", - говорю я ему. Он наклоняется ко мне и тихо отвечает: "Чего же вы хотите: простым колхозникам дают по 7-8 лет, а у вас еще и "хвостик":

"За столом дубовым судьи трибунала.

Где конец мученьям, будет или нет?

И в ушах звеняще-четко прозвучало -

Три жестоких слова: "Лагерь, десять лет!"*

У ворот тюрьмы нас встречает дежурный надзиратель Осовской. "Ну, как дела?" - спрашивает. "Десять и пять", - отвечаю. "Я так и знал. Дело известное". Ве-

* Как во многих "лагерных" песнях, здесь действительные явления, характерные для этого времени, - например, срок заключения десять лет, ставший каким-то стандартом, - соседствуют с деталями, упоминаемыми явно для "красного словца": напр., неприменный "дубовый" стол.

дет в новую камеру. На койке сидит моя старая знакомая Грищенко - баптистка.

6.

Я было обрадовалась, что мое одиночество кончилось, но с первых же дней поняла, что иногда и одиночка - счастье. Моя товарка уже дня через три начала показывать себя с самой худшей стороны. Пожизненная лагерница, она оказалась лагерницей в самом скверном смысле этого слова - убежденный, продувной лодырь, симулянтка, жадная и безжалостная. Для нее, как говорится, не было ничего святого, - да и неудивительно после всего, что она пережила...

Она сразу же заявила, что у нее тяжелая болезнь сердца, а потому она не будет выносить парашу, мыть пол в камере и в уборной. Имелось в виду, что все это должна делать я, как более молодая и здоровая. Часто она закатывала истерики, а когда я стыдила и одергивала ее, она начинала язвить меня: "жена профессора согласилась мыть уборную!" Так прошло две недели, и нам объявили, что 1 декабря нас повезут на машинах в Вологду (великое счастье, что нашлись машины, а то бы пришлось идти 250 верст пешком по снегу, сквозь туман и метель).

Накануне отправки в нашу небольшую камеру втиснули шесть уголовниц-рецидивисток. Я впервые познакомилась с этим сортом заключенных. Не прошло и часа, как они полностью вытряхнули все жалкие запасы моей баптистки, вернее она сама отдала их.

На другой день повели в каптерку и выдали стёганку, лапти и теплые онучи. Тут я увидела всю компанию, с которой придется ехать. Воры, бандиты; несколько отупевших, опухших мужчин, явно "политиче-

ских”, из женщин по этой статье я одна; несколько пожилых колхозниц в лаптях и домотканых юбках. Кузов грузовика набили до отказа. Места брались с бою, мне как ”интеллигенции” места сперва вообще не нашлось. Кое-как втиснули меня между двумя ворами. У одного была отрублена кисть руки, у другого не хватало пальцев...

Грузовик понесся по накатанной дороге. Уже в темноте въехали в какую-то деревню, где должны были остановиться на ночь. Тут я обнаружила, что мешок, в котором находилось все мое имущество и паек и который я непрерывно ощупывала ногой, - исчез. Я не выдержала и заплакала, тогда надзиратель Осовской, сопровождавший нас, сказал мне: ”Не плачь, найдем!” - и не прошло десяти минут, как он подал мне мой мешок. Все было цело, только хлеб оказался уже другой - не казенной, а домашней выпечки. Вслед за этим ко мне пододвинулся какой-то ”уркач” и добродушно шепнул: ”Ничего, привыкай к нашей компании, - иногда и обидим, иногда и поможем”.

В грязной избе уснули вповалку, прямо на полу. Утром выехали, но часа через полтора остановились из-за поломки машины и застряли до следующего дня. Опять нас впахнули в какую-то избу. У дверей поместились двое солдат с автоматами. Среди своих товарищей по несчастью я заметила старика с красивыми правильными чертами лица и живописной бородой. Одет он был очень тщательно, даже щеголевато, но лицо страдальческое. У него было, видимо, довольно много продуктов, которыми он как-то безучастно, автоматически оделял всех просящих. Разговорились. Оказалось, это - в прошлом крупный одесский помещик, давно уже высланный в Тотьму, так называемый спецпереселенец. Он был отправлен в ссылку в 1937 году, вместе с женой и четырьмя детьми; двое младших детей умерли в дороге, а двое старших сейчас на фронте. Дома, в

Тотьме, осталась его старушка-жена. Он почти все время молчал, а в глазах его стояли слезы. Кажется, он был членом 4-й Государственной Думы. Фамилия его была Резниченко.

Через год, работая в Вологодской пересылке*, я узнала, что он повесился, так как ему "мотали"** второй лагерный срок по 58-й статье...

Поздно вечером тронулись дальше. Оставалось около 100 верст до Вологды. Машина несется с большой скоростью, наверстывая упущенное время. Мимо мелькают огни Сокольского бумкомбината. У меня невыносимо затекли ноги от сиденья на коленях, я попробовала привстать и тут же получила удар прикладом по голове от конвоира. Под утро подъехали к Вологде. Везут в пересыльную тюрьму, так называемый "Зáмок", на противоположный конец города. Долго стоим у ворот тюрьмы. Наконец, впустили. Ведут на приемку этапа. Грязный, облупленный тюремный коридор. Стол, на нем керосиновая лампа без стекла. Начинается приемка. Повели в баню. Дали горячей похлебки из мороженой брюквы и развели по камерам; я попала в подвал, в самую, кажется, большую камеру - № 17.

Вологодская пересылка - "Зáмок" - здание, построенное еще при Екатерине. В то время задний фасад и двор, с примыкающими к нему пристройками, спускающийся к реке, был занят постоянным лагерем, а все "этапы", то есть пересыльные арестанты, поселялись в передней части тюрьмы, выходившей на Советский

* Пересыльной тюрьме.

** Лагерное выражение, обозначающее, что у начальства возникло намерение еще раз осудить уже осужденного человека, которого начинали допрашивать, вытягивая из него новые "признания". Это всегда кончалось новым сроком заключения.

проспект. Вместимость этой тюрьмы была 500 человек, но втискивали туда 1000, - можно себе представить, что делалось в камерах. К этому можно добавить, что все печи были испорчены и вообще не топились, а во многих камерах были выбиты стекла. Когда передо мной открылись двери камеры № 17, я отшатнулась от спертого, зловонного воздуха, вырвавшегося оттуда. Сквозь туман испарений доносилось жужжанье, как в пчелином улье. На полу съезжившиеся, одетые в рванье человеческие фигуры, у двери - с десятков отпетых проституток и уркачек. Как коршуны, набрасываются на вновь прибывающего, вернее, на его вещевой мешок и в несколько секунд раскурочивают его до нитки. Отбиралось все: еда, одежда, бельишко, нитки... Сопrotивление было невозможно. Звериный закон. Никто не вступался за пострадавшего, чтобы не оказаться немедленно избитым самому. Жаловаться было бесполезно, да и некому, так как администрация - в лице рядчика и коменданта - никогда никаких мер не принимала, а иногда и сами "урки" одаривали этих лиц кое-какими вещами. Один опытный старый арестант посоветовал мне сдать мой мешок с пальто и одеждой в каптерку (камеру хранения), где тоже "шурудят", но все же больше шансов, что хоть что-нибудь уцелеет. Поэтому мое появление в одном ватнике, без вещей было встречено злобной руганью. Тихо пристроилась в уголку. Рядом со мной улеглась какая-то особа, оказалось, - завхоз из детдома, посаженная, видимо, за хищения. Я начала ее расспрашивать: как обращаются с ребятами в детдоме, как кормят и т. д. "Да вы не волнуйтесь! Это теперь самое обыкновенное дело, - весело отвечает она. - Отец на фронте, мать в тюрьме!.."

У меня не хватает слов и красок, чтобы описать эту камеру и ее обитателей в ту зиму 1944 года. "Все промелькнули перед нами, все побывали тут!" Много колхозниц с навсегда испуганными, тупыми глазами.

Дома у них остались малые дети (что с ними?). Скотину забрал колхоз. У большинства мужья давно погибли на фронте. Они до того уже отупели от голода, несчастий, борьбы за существование, что лица у них не меняют своего выражения - бессмысленно-страдальческого. Несколько молодых девушек 18-19 лет, видимо, из культурных семей, из оккупированных немцами и теперь освобожденных районов. Они уже пятый месяц после осуждения валяются по камерам бесконечных пересылок необъятной России. Кажется, их везут дальше на север, в Воркуту. Они совершенно безучастны ко всему происходящему вокруг, и дальнейшая судьба их совершенно не интересует - от будущего они не ждут ничего хорошего (это в восемнадцать-то лет!). Да и кто вообще здесь хоть что-нибудь понимает, кто знает, долго ли придется мыкаться в этом аду! Я исхудала до того, что больно лежать на своих костях. Все же каждый день в своем рваном ватнике выхожу на прогулку и стараюсь хоть эти 20 минут подышать воздухом в тюремном ящике, но возвращение в камеру с ее спертым воздухом ужасно. День, другой, третий, пятый, шестой... Наконец, 12 декабря внезапно: "Клименко, на этап!" О, счастье! Наверху уже идет приемка этапа. На ногах у меня старые, но еще крепкие туфли и шерстяные носки. Начальник этапа смотрит на мои ноги и вдруг изрекает: "В эдакой обуви не возьму". Я в слезы. "Лапти оденешь?" "Надену, надену!" Кое-как переобуваюсь в национальную обувь, и вот, наконец, всех нас выводят во двор. Но, оказывается, зимой, при гололедице лапти обледепевают, скользят, как коньки, и ноги разъезжаются в разные стороны. Соседка по ряду подхватывает меня под руку, и мы вместе ковыляем по городу. Партия человек 40, половину ее составляют женщины. Некоторые из мужчин так слабы, что их ведут под руки. Прохожие большей частью с жалостью смотрят на нас. Вот и вокзал.

Сколько воспоминаний связано с ним, с эти вологодским вокзалом!

1919 год. Я, совсем девчонка, с маленьким сыном Тасиком на руках выхожу из поезда на площадь перед вокзалом, не зная, куда идти, где искать ночлега. Мой муж был в психиатрической больнице в Кувшинове и числился, как обвиняемый в контрреволюционных настроениях, за военным трибуналом тогдашней 6-й армии...

1938 год. Приезд к брату Роману после смерти его жены Кати. Ужас и недоумение перед лицом этой внезапной смерти.

1942 год, бегство из Ленинграда. Обледенелые эшелоны из блокированного города, везущие массу трупов ленинградцев, которые тут же штабелями складываются на рельсах. Как упорно этот город, этот вокзал сопутствует трагическим периодам моей жизни...

Середина дня. Подошел поезд Москва - Архангельск. Бегом погнались вперед, к так называемому столыпинскому вагону. Особенность его в том, что внутренняя стенка, идущая вдоль всего вагона, представляет собой сплошную решетку, так что конвой всегда видит, что делается в своеобразных купе этого вагона. Этап наш очень разношерстный: колхозницы, девушки-продавщицы, абортмейстеры, человек десять уголовников-"профессионалов" и столько же изможденных, опухших мужчин "58-й статьи". Поехали. Через час езды станция Сокол: "Выходи!" Выходим, выстраиваемся на платформе по пять человек в ряд. Становимся на колени прямо в снег (так конвою удобнее считать нас). Вокруг - конвоиры с автоматами и собаками. Как раз против меня стоит синий международный вагон. В окне два иностранца (судя по форме) - вероятно, англичане: военный и моряк. В руках военного сигара, он показывает моряку на нас и что-то говорит. Я подняла глаза и сразу же отвела их.

Поезд тронулся. Встали с колен и отправились в путь. Конвоиры с собаками гонят вольно. Ясный морозный день с сильным ветром. Гололедица. Идем все время открытым полем. Ноги скользят, с полпути мужчины стали отставать, от слабости еле ползут. Двое урок взяли на руки какого-то старика (все же и у них пробудилось человеческое чувство). Вдали показались силосные башни. Это и есть совхоз "Новое", куда нас ведут. Подошли к воротам и остановились. Мороз леденит щеки, стынют ноги, перехватывает дыхание. Спрятаться бы куда от ветра, да уйти из строя нельзя. Скорей бы в тепло, - кажется, душа замерзает. Оказывается, не так-то просто попасть в лагерь! Стоим час, другой. Уже смеркалось, когда открылись ворота лагеря. Вижу два длинных параллельных барака и еще две пристройки (изолятор и баня). Нас повели в один из больших бараков - столовую, где будут принимать и распределять по работам наш этап.

Столовая - она же клуб. Посередине стол - на нем папки с нашими делами. Как хорошо, наконец-то попали в тепло! Вошел какой-то военный с грустным лицом. Начал вызывать по алфавиту. Очередь дошла до меня. Произношу свои "позывные". "Подойдите к столу, Ольга Константиновна, - вдруг говорит он приветливо, - давайте познакомимся". Я даже растерялась от этого внезапного человеческого обращения. Спросил, давно ли в заключении, какую имею специальность, что-то черкнул в "деле". Потом я узнала, что это был помощник начальника лагеря Погорельский. Когда кончилась приемка этапа, всех повели в соседний барак на медосмотр - "комиссовку".

Ярко освещенная комната. Стол, за ним несколько человек в белых халатах, очевидно врачи, все - женщины разного возраста. Пока шла комиссовка, я имела возможность осмотреться. В углу зубо-врачебное кресло, возле него пожилой человек - "наверное, зубной

врач”, подумала я и подошла к нему. Он очень участливо начал расспрашивать меня: кто я, откуда, что умею делать. Неожиданно он резюмировал: “Что ж это делается на воле, всю интеллигенцию пересажали в лагеря!..” Узнав, что я когда-то работала медсестрой, он посоветовал тотчас же написать заявление в санчасть, с просьбой взять меня на работу. Я тут же около него написала такое заявление, и он взялся передать его начальнице санчасти Вере Ивановне Фарисеевой. Делала я все машинально, не представляя, что же дальше выкинет моя “судьба”.

Комиссовка кончилась, нас увели обратно в столовую, дали “баланды” (капуста с водой) и начали распределять по секциям, то есть давать нам местожительство, и по бригадам, то есть по объектам работ. Когда мы вошли в свою секцию (в тот же барак, только с другой стороны), к нам бросилось несколько знакомых, прибывших ранее нас. Среди них была и моя товарка баптистка. Неожиданно ко мне подошла какая-то старушка и спросила, не может ли она в чем-нибудь помочь мне. Я сказала, что больше всего хочу дать знать о себе в Ленинград и узнать, живы ли мои дети, но у меня нет денег даже на письмо. “Я вам это устрою. Потом отдадите. Пишите телеграмму, я сумею послать ее через волю”. Она в точности сдержала свое слово. Спасибо ей навсегда. Впоследствии я смогла ей отплатить добром за добро.

Все прибывшие вместе со мной немедленно улеглись спать, заняв свободные нары. Мне же пришлось до двух часов ночи вместе с бригадиром Катей Прониной получать из каптерки теплые вещи для всей ее бригады, чтобы утром вывести людей на работу [...].

В ожидании развода закутанные в тряпье люди, в подвязанных веревками (для тепла) шинелях, валяются на пол и впадают в дремоту. 7. 15: снова звон рельсы. Ветер раскачивает и задувает фонарь на воротах.

Становимся по четыре в ряд. Держимся под руки. Ноги мерзнут, ветер колет лицо. Так проходит 15 или 20 минут. Наконец появляется наружный конвой и принимает нас. Тысяча человек движется на "объекты". Нам - версты четыре ходу: идем на Бумкомбинат.

Вокруг "объектов работ" часовые с автоматами и собаками. Работа такая: надо грузить вагонетки баланами или пилить дрова. Пробую вдвоем с напарницей грузить круглые двухметровые баланы. Ноги подкашиваются. Моя напарница скоро меня покинула, поняв, что со мной много не выработаешь. Начинаю замечать некоторые особенности лагерной работы. Стоит бригадиру отвернуться или отвлечься, заговорить с кем-нибудь - и работа прекращается, как по команде. Вагоны грузятся тоже с умом: только спереди, со стороны двери, а дальше - пустота. Это называется "туфта". В результате к концу дня бригада выполнила норму на 120 процентов. Когда в конце дня за нами пришел конвой вместе с представителем Бумкомбината, наш бригадир (я это сама видела) замерила один и тот же штабель баланов дважды [...].

Когда снова улеглась, отчетливо помню, что молилась Богу: "Господи, пошли мне скорее смерть"...

На исходе второго дня, перед ужином, в барак вошла женщина интеллигентного вида и спросила: "В вашем бараке живет пожилая медсестра?" Девушки указали на меня. Я накинула телогрейку, и мы пошли в санчасть. По дороге я узнала, что моя спутница - ленинградка, что фамилия ее Гельд. Евгения Гуговна Гельд, преподавательница немецкого языка в Петершуле. Была сослана в Вологду в 1937 году. Последние два года - в заключении. В тюрьме погиб ее муж, известный филолог. Оказалось, живя в Вологде, она знала моего погибшего брата-хирурга (Романа) и его жену.

Вошли в барак, где, как оказалось, помещается весь "штаб", то есть все лагерное начальство, санчасть и

аптека. По стенам довольно большой комнаты аптечные шкафы, пахнет теплом, уютom, лекарствами. Я так отвыкла от человеческих учреждений, что с удивлением стала озираться вокруг. За столом сидит молодая женщина в солдатской шинели, в сильных очках, а в глубине комнаты стоит какой-то маленький человек, по внешности еврей, с колючими пронизывающими глазами. "Присядьте, - обратилась ко мне женщина. - Я начальник санитарной части, зовут меня Вера Ивановна Фарисеева".

Начались вопросы, где я училась, давно ли не работаю, и попутно небольшой экзамен по медицине. Я очень давно не имела дела с медициной, но фармакологию помнила довольно хорошо и больших ошибок, видимо, не сделала. "Вот что, - сказала мне в заключение начальница, - завтра вы на работу не пойдете, а к 12 часам приходите в санчасть и спросите доктора Левитину. Если подойдете, то попробуем оставить вас здесь. Только предупреждаю, никаких лишних разговоров ни с кем не вести. Помните, где вы находитесь, и людей, окружающих вас, вы не знаете. Будьте осторожны и молчаливы". Я вышла и сразу даже не поняла, что это пришло спасение. В бараке меня обступили с расспросами, и как только я сказала, что меня, кажется, назначают на работу в санчасть, то будто по волшебству все кругом изменилось. Мне сразу же дали хорошее место, матрац, постель, каждый старался чем-нибудь услужить и помочь мне, - еще бы! Я становилась одним из самых главных "лагерных придурков", и как я убедилась впоследствии, от меня очень многое зависело, чтобы облегчить хоть немного жизнь этих несчастных, измученных людей.

(Продолжение в следующем номере)

Свящ. Вячеслав ПОЛОСИН

Размышления о теократии в России*

II. Каноны и мораль в России после 1925 года

Отступления и нарушения канонов митрополитом Сергием (Страгородским) и его иерархией общеизвестны. Поэтому здесь речь пойдет лишь о тех, которые имеют прямое отношение к концепции данной статьи. III-е правило VII Вселенского Собора гласит:

”Всякое избрание во епископа или пресвитера или диакона, делаемое мирскими начальниками, да будет недействительно по правилу (Ап., 30), которое глаголет: аще который епископ, мирских начальников употребив, чрез них получит епископскую в Церкви власть, да будет извержен и отлучен, и все сообщающиеся с ним. Ибо имеющий произвестися во епископа, должен избираем быти от епископов, якоже святых отец в Никеи определено в правиле (1,4), которое глаголет: епископа поставляти наиболее прилично всем той области еписко-

* Окончание. Начало см. ”Грани” № 156(2), 1990, где статья печаталась под псевдонимом - Сергей Венцель. По просьбе автора, окончание работы печатается под настоящим именем. - Р е д.

пам. Аще же сие неудобно или по надлежащей нужде или по дальности пути, то, по крайней мере, три вкупе да собирается, а отсутствующие да примут участие в избрании, и изъявят согласие посредством грамот, и тогда творити поставление. Утверждати же таковые действия в каждой области подобает ее митрополиту”.

А правило XIX святого Антиохийского Собора добавляет к этому:

”Аще же инако, вопреки сему поступлено будет, да не имеет никакой силы поставление”.

Глубоко чтимый народом исповедник Православия в годы хрущевских гонений Архиепископ Гермоген, насильственно и в нарушение канонических правил уволенный из Калужской епархии ”на покой”, дал блестящую характеристику канонических извращений в Русской Церкви в статье ”К 50-летию восстановления патриаршества”, опубликованной в ”Вестнике РСХД” № 86 за 1967 г. Он пишет:

”Чуждый православному церковному сознанию порядок назначений укоренился в Русской Церкви после Петровской церковной реформы 1721 г. и является характерным для эпох союза Церкви с государством. И нужно констатировать, что порядок назначений епископов, помимо своей неканоничности, неизбежно приводил на практике к назначениям на высокие церковные посты лиц заискивающих, угодничающих, мало пекущихся о церковном благе. К сожалению, несмотря на то, что порядок избрания епископов является единственным каноническим порядком формирования епископата, несмотря на то, что его восстановил тот самый Собор, который восстановил и патриаршество, - епископат и сейчас формируется у нас неканоническим порядком назначений, чем наносится определенный ущерб каноническому достоинству Русской Церкви” (с. 71).

Принятый в относительно благоприятных условиях ”перестройки” Устав 1988 года как бы не знает кано-

нов Вселенской Церкви и утверждает исключительное право Синода на поставление епископов.

Отступлением от Православия является и формирование самого Синода. "На чрезвычайном Поместном Соборе 1917-18 гг. был детально разработан и каноническим определением от 7/20 декабря 1917 г. оформлен порядок образования состава Синода... Синод РПЦ должен состоять из Председателя-Патриарха и 12 архиереев, из которых половина избирается на очередном Поместном Соборе на 3 года (т. е. до следующего Собора), 5 архиереев в порядке регламентированной очередности вызываются для присутствия в Синоде в качестве его членов на 1 год, и 1 архиерей - Киевский митрополит - является постоянным членом Синода, как избираемый на Украинском Церковном Соборе..." (с. 73). "Ясно, что Синод, сформированный таким образом, являлся бы авторитетным и представительным органом Высшего церковного управления нашей Церкви, имеющим каноническое и моральное право говорить от лица всей РПЦ" (с. 73). Но, как пишет Архиепископ Гермоген, "состав постоянных членов Синода, равно как архиерейские назначения, перемещения и увольнения, зависят в настоящее время в гораздо большей степени от председателя Совета по делам религий, чем они зависели в царской России от обер-прокурора Синода" (с. 73-74).

Еще бóльшие расхождения с Собором 1917 г., который по православной традиции является бóльшим по отношению ко всем последующим соборам РПЦ, так как в нем от каждой епархии право решающего голоса имели 6 человек: епископ и демократически избранные 2 священника и 3 мирянина, - имеет порядок избрания патриарха. "Порядок избрания Патриарха точно регламентирован в соборном определении от 31 июля 1918 г. ... Патриарх избирается на Соборе, состоящем из епископов, клириков и мирян. Избрание происходит закрытым голосованием. В избрании участвуют все члены Собора

- епископы, *клирики и миряне*... На I заседании происходит выдвижение кандидатов... На II заседании из объявленного списка Собор закрытым голосованием избирает трех кандидатов в Патриархи... На III заседании, происходящем в патриаршем соборном храме, Патриарх избирается по жребию из трех указанных кандидатов... Этот порядок избрания Патриарха бесспорно должен быть сохранен и потому, что он гарантирует свободное и продуманное волеизъявление Собора, и потому, что ни Синод, ни архиерейский собор не имеют канонического права на изменение постановлений Поместного Собора" (с. 75-77).

И наконец, о канонических правилах касательно состава и полномочности самих соборов. "С принципиальной, церковно-канонической точки зрения вопрос о составе Собора прежде всего должен решаться в зависимости от того, каким образом сформирован епископат. Если епископы избирались епархиями в установленном церковными канонами порядке и вследствие этого являются действительными представителями своих епархий, то, разумеется, Собор может состоять из одних епископов. Если же епископы не избирались, как того требуют церковные каноны, а в нарушение их назначались, то ясно, что сформированный таким порядком епископат не может иметь ни канонического(?), ни морального права представлять те епархии, которые его не избирали. В этом случае Поместный Собор обязательно должен иметь в своем составе в качестве полноправных членов не только епископов, но и клириков, и мирян, надлежащим образом избранных" (с. 68-69).

Нарушения канонов - это и есть та брешь в стене Дома Божия, хранящего в себе родник теократии, Царства Божия на земле, через которую "инуде" и пролезает вор, чтобы расхитить "Христово стадо" и отравить чистый источник.

Большевистский вождь В. Ульянов-Ленин в свое вре-

мя писал, что праведный поп в 1000 раз вреднее аморального, так как его в 1000 раз труднее разоблачить. Во исполнение заветов вождя, начиная с 20-х годов, большевики старались расстрелять, посадить или просто отправить заштат наиболее ревностных иерархов и священников, хороших проповедников, заботливых пастырей. А на их место разрешали или "проталкивали" пьяниц, развратников, воров, зачастую и из "своих", вознаграждая за выполнение партийного задания возможностью запустить руки по локоть в церковную казну. Епископа-развратника легко держать в повиновении: пригрозил ему положенным уголовным наказанием, и он уже не откажется рукоположить нужного властям человека, разведчика, даст ему доходное место, а неугодного властям, в первую очередь, выполняющего свой пастырский долг, лишит сана или отправит заштат. Всегда в Церкви бывали недостойные служители по грехам прихожан, но это было все же исключением из правила и по исправлении грехов все менялось к лучшему. Подменившая послушание Духу послушанием богоборческой власти группа епископов во главе с митрополитом Сергием, добившаяся с помощью своих новых хозяев абсолютистской, неканонической власти в Церкви, сделала - выслуживаясь - исключение из правила самим правилом.

Во многих учреждениях Московской патриархии и даже епархиях честно исполнять свой пастырский долг можно только *вопреки* воле начальства! А ложь и лжесвидетельство вообще стали новым догматом ее бытия. Скажи лишь два слова правды хотя бы о гонениях на Церковь и святых новомучениках - тут же попадешь под запрет или заштат с волчьей характеристикой в личном деле. Лишь известные Западу и поддерживаемые им священники могли как-то совмещать правду о своей жизни со служением на приходе. Большинство молчит, а многие лгут и лжесвидетельствуют, за что получают

митры и доходные места. Последнее обстоятельство породило в Церкви, особенно в последние 20-25 лет, крайне нездоровую обстановку стяжательства, коррупции и протекционизма, способствовало возникновению в хозяйственной структуре чего-то, весьма похожего на мафию. Бывший председатель Совета по делам религий К. Харчев в лекции для Высшей школы КПСС так охарактеризовал это положение со стороны государства: "Сейчас священники часто ничем не связаны со своим приходом... Приезжает такой один раз в неделю на приход, отслужит литургию и был таков. Многим это нравится, ведь они ни за что не отвечают - ни за паству, ни за деньги, ни за ремонт храма. Уполномоченный при выдаче лицензии предупреждает его: «Получай свои 350 рублей, чтобы ни во что нос не совал!»" ("Православный вестник" № 23/24, США, апрель 1989, с. 8-12). Можно было бы добавить, что часто речь идет о более крупных суммах, чем 350 рублей, что еще более крупные деньги работники храма носят тому же уполномоченному за право быть у кормушки, а также в исполком, и что все вместе они образуют весьма причудливое сообщество - какую-то партийно-церковную мафию.

По-прежнему актуален вывод, который сделал в своей статье в 1967 г. Архиепископ Гермоген: "Печальное состояние Русской Церкви на сегодняшний день - прямое следствие нарушения канонов и забвения коренного начала, на котором зиждется строй Православной Церкви и которое составляет его драгоценную особенность - СОБОРНОСТИ. Для жизни Церкви существенно необходимы свобода и независимость ее внутренней организации. Это достигается неуклонным следованием ее основным канонам и наличием в ее жизни Соборов, канонических и по способу их созыва, и по порядку обсуждения на них подлежащих решению вопросов (с. 77-78).

Весьма уместно здесь привести VIII-е правило III Вселенского Собора:

"Да не преступаются правила отец; да не вкрадывается под видом священнодействия надменность власти мирския, и да не утратим по малу, неприметно, тоя свободы, которую даровал нам кровию Своею Господь наш Иисус Христос, Освободитель всех человеков".

III. "МНОГОВАЛЕНТНЫЙ МИР" МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Если во времена внешних гонений на Церковь, согласно завету В. Ульянова-Ленина, целью КПСС было внедрение и распространение в Церкви аморальных служителей, которых "в 1000 раз легче разоблачить", то к 80-м годам положение изменилось, и теперь задачи партии Ленина выглядят несколько иначе. Слово бывшему председателю Совета по делам религий К. Харчеву:

"Наибольших успехов в контроле за религией и подавлении ее инициативы мы достигли в среде священников и епископов РПЦ. Сначала это радовало, а *теперь грозит обернуться непредвиденным*". Констатировав затем сохранение высокого процента религиозности в стране - 70%, Харчев говорит о том, что внешнее подавление ведет к антисоветским и антикоммунистическим настроениям в среде простых верующих. "А ведь 70% верующих - это не шутка. И их никуда не денешь, как-то надо с ними работать и на них воздействовать". Какой же выход видит тов. Харчев?

"Идет интенсивный процесс проникновения Церкви в государственную политику. И давайте смотреть трезво: по нашей воле или против, но религия входит в социализм, и даже не входит, а въезжает как по рельсам. И поскольку власть полностью принадлежит нам, то, я думаю, в наших силах *направить эти рельсы в ту*

или иную сторону в зависимости от наших интересов". Интересы же партии Харчев показывает безо всяких двусмысленностей: "Что партии выгоднее - верующий в Бога, ни во что не верующий или верующий в Бога и в коммунизм? Я думаю, из двух зол выбирают меньшее. По Ленину, партия должна держать под контролем все сферы жизни граждан, а так как верующих никуда не денешь, и наша история показала, что религия всерьез и надолго, то искренне верующего для партии легче сделать верующим также и в коммунизм. И тут *перед нами встает задача: воспитание нового типа священника. Подбор и постановка священников - дело партии!"* "В этом нужна партийная наука".

Итак, Харчев признал, что "Церковь, несмотря на все... старания, выжила, и не только выжила, но и начинает обновляться", и в связи с такой печальной для госатеизма картиной нужно придать этому обновлению характер дуалистической религии: веры в Бога и веры в отрицающий Его по самой своей природе коммунизм. Не знаю, создана ли новая партийная наука о "новом типе священника", однако тот тип "обновленчества", который вытекает из декларации 1927 года, предоставил свои услуги вождям коммунизма еще задолго до обращения Харчева. Идея, что первые христиане и были как раз первыми коммунистами, известна в РПЦ еще с 60-х годов, а отпевания лидеров коммунизма, вводящие в заблуждение простых верующих относительно мировоззрения этих лидеров и их религиозной политики, начались еще с 1953 г. Просто воинствующие атеисты долго не могли по достоинству оценить эти услуги иерархии. Но вот теперь, когда дела у них совсем плохи, оценили. Результат не заставил себя долго ждать: стали открываться храмы, священники и митрополиты стали выступать в центральной печати и по телевидению, появились пока еще малочисленные воскресные школы. Западный мир рукоплещет, у нас тоже общест-

венность радуется и все проблемы сводит к расширению сферы действия Церкви, забывая, о какой Церкви идет речь.

Послушаем, чему учит паству приходской священник, кандидат богословия РПЦ, о. Георгий Персианов. В интервью центральной газете "Советская культура", читаемой миллионами людей, он сказал:

"Одолей Бог сатану, мир сделался бы плоским, одновалентным" (интервью помещено в номере за 28 сент. 1989 г.).

Итак, что такое одновалентность? Я не большой знаток химии, но все же представляю, что одновалентными называются те вещества, которые могут притягивать к себе только один атом другого вещества. Одновалентный мир - это, образно говоря, мир, "притягивающий" к себе только Бога. Согласно Персианову, такое положение весьма скучно и плоско. Куда лучше, когда мир двувалентен, т. е. притягивает к себе еще и сатану (хотя по православному пониманию зло вообще не имеет собственного бытия, а только паразитирует на добре, искажая и отравляя его). Наличие в мире сатаны, стало быть, есть благо, и потому Бог в понимании Персианова его и не одолел. Видимо, можно отслужить молебен сатане по случаю такого его благодеяния для творения Божия. Согласно Персианову, такова "диалектика творения Божия".

Чего причащаются люди в храме, где служит Персианов? Ведь Тайны Христовы в его понимании наполнены такой диалектикой, что, очевидно, все равно, где причаститься - у него или на "черной мессе". Налицо чистой воды ересь, восходящая к дуалистической религии зороастризма. Не знаю, что читает Персианов за богослужением - Евангелие или книгу "Так говорил Заратустра", - однако подмена Христа Зороастром (Заратустрой) очевидна.

Чем можно объяснить такое учение, зародившееся в

недрах сергианской иерархии? Широтой ли природы священника-еретика или, может, какими-то иными установками? Он сам дает ответ на этот вопрос:

”Если мы будем исходить из той *примитивной точки зрения*, что коммунистический идеал потерпел поражение, так как ему многое не удалось, то ведь и церкви придется ответить на вопрос: ”А многого ли стоит ваш Бог, если не смог создать идеального человека, не смог перебороть злое начало в лице сатаны, дьявола и т. д.?” Мы отвечаем, что в таком подходе упускается из виду диалектика творения Божия”.

Налицо аналогия отношения. Но из нее с логической необходимостью вытекает, что либо коммунистический идеал равен Божественному, богоустановлен, имеет непреходящий характер, либо что Божественный идеал столь же относителен, как и коммунистический. Во втором случае вообще отрицается бытие Божие, а сам Бог становится творением человечества, в первом же случае коммунистический идеал, отрицающий Бога равночестен Самому Богу, по крайней мере, равнодействен. Таким образом, дуализм здесь нового типа: место злого начала (как в зороастризме) занимает коммунизм, который есть тоже благо, так как разнообразит нашу жизнь, чтобы не было ”плоско”, скучно. Думается, новая партийная наука, к созданию которой призывал Харчев, должна пригласить к себе Персианова вести спецкурс по этой науке, во всяком случае, по ее методологии. Ну, а ”новый тип священника” сформировался еще по ”науке”, изложенной в декларации митрополита Сергия: ”ваши радости - наши радости”, - вместе радовались закрытию храмов и отсутствию проповеди, теперь вместе будем радоваться новой дуалистической религии. Далее в своем интервью приходской еретик воспеваает коммунизм за создание в обществе уважения к труду и ”осуществление всеобщей грамотности, образованности”. Не знаю, по какому из

лагерей ГУЛага он судил об уважении к труду, но даже светская печать пишет сейчас о том, что люди при коммунизме совершенно отучились работать и уважают друг друга не по труду, а по тому, кто как "устроился в жизни". Про "всеобщую образованность" вообще нет смысла говорить.

Итак, священник РПЦ наиболее откровенно показал то, что другие ее представители, в том числе и иерархи, высказывают более прикровенно: хорошо, что есть коммунизм-богоборец, он делает мир "двувалентным". А раз это хорошо, значит следует благодарить тех, кто этот коммунизм внедрил в жизнь, что Московская патриархия постоянно и делает. Здесь можно избежать цитат - достаточно взять любое официальное поздравление к Рождеству или Пасхе Московского патриарха Пимена. В последнее время он даже начал благодарить за "восстановление ленинских норм в отношении Церкви". И за всеми этими новыми ересями и раблепными благодарениями вождей богоборчества стоит "новый тип священника", новый тип духовности, дорогу которому проторила пресловутая декларация 1927 года. Именно она и установила фактический дуализм: власть от Бога и Церковь от Бога, значит служение власти - даже атеистической - это одновременно и служение Церкви.

Как было показано, исторической подоплекой новой религии, точнее - той почвой, на которой она смогла внедриться и даже процветать в народном сознании, - был дуализм мирской и церковной власти в управлении Церковью, вытеснивший ее соборность, но сохранявший некоторые ее черты при православном вероисповедании мирской власти. Когда власть стала атеистической, такой дуализм в управлении Церковью, к тому же подменяющий соборность, является ересью. Воля вождей коммунизма, преломляющаяся в сознании полностью зависящих от нее и ею поставленных нескольких

членов Синода, заменяет соборную волю Духа Божия. "Сладкий плен" иерархов, для которых служение госатеизму стало как бы канонической обязанностью и даже догматом, стал главным стимулятором личного усердия по сохранению вероучительного дуализма.

Кандидат исторических наук В. Алексеев на страницах журнала ЦК КПСС "Агитатор" (№ 10 за 1989 г.) рассекречивает некоторые документы о взаимоотношениях Московской патриархии со Сталиным. Характерно название статьи: "Маршал Сталин доверяет Церкви". В. Алексеев подробно описывает, как в голодные фронтовые годы - январь и февраль 1945 г., 4 года тяжелой войны - был организован беспрецедентный прием гостей в лучших отелях Москвы на кремлевские спецпайки:

"На Совет по делам РПЦ Сталин возлагал и обязанность от лица правительства поздравить Алексея с избранием, поднести ему на память подарок. Была определена и стоимость подарка - 25-30 тысяч рублей. Сталин любил делать дорогие подарки. Было решено "отблагодарить" за участие в Соборе и иностранных владык. Наркомпросу было дано поручение выдать 42 предмета из фонда московских музеев и 28 - из Загорского гос. музея, главным образом православного культа, которые были употреблены в качестве подарков восточным патриархам".

"Мудрый вождь" умел делать политику - дарил греческим иерархам за признание ими "каноничности" Московской патриархии то, что было награблено в Свято-Троице-Сергиевой Лавре и принадлежало на самом деле только ей! Так например, патриарху Александрийскому Христофору досталась золотая панагия с драгоценными камнями, золотой крест с драгоценными камнями, полное архиерейское облачение из золотой парчи, митра с драгоценными камнями... Естественно, от патриархов ожидали ответных действий. И они не замед-

лили высказать главного - славословий... Патриарх Александрийский Христофор говорил:

"Маршал Сталин... под руководством которого ведутся военные операции в невиданном масштабе, имеет на то ОБИЛИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ БЛАГОДАТИ и БЛАГОСЛОВЕНИЯ..." ("Агитатор", с. 27-28).

Что ж, Александрийский патриарх помог московским коллегам обнаружить еще одну вероисповедную "валентность" - вождь коммунизма - посредник между Богом и Церковью, открывающий для Церкви волю Божию и сообщающий "обилие благодати и благословения". Здесь дуализма нет, здесь просто новая религия и новая - "сталинская", а не христианская церковь. Дуализм понадобился для оправдания беспрецедентного предательства теократии и подмены ее "сладкой" автократией после разоблачения "божественного" достоинства кремлевского горца.

Итак, это уже "трехвалетное" мировосприятие: поклонение Христу - поклонение заменяющему Его Сталину - поклонение "идеалу коммунизма". Стимулятор для принятия новой религии налицо. Например, в 1947 г., когда вся страна жила на голодных послевоенных пайках, даже хлеб по карточкам, патриарх Алексей получил от Сталина очередной подарок. В. Алексеев пишет:

"Патриарх в письме Г. Карпову ликует: "...Сейчас от отца Колчицкого получил телеграмму, что сегодня патриархия получает машину ЗИС-110. Ура! Я здесь (на правительственном курорте в Ялте) на ней езжу и вижу, какая это замечательная машина". Сталин умел играть на людских слабостях" (с. 30).

Для чего же вождю коммунизма нужно было "заигрывать" с религией после ужасающих гонений и "безбожной пятилетки"? В. Алексеев: "Сталину необходимо было обеспечить церкви определенный престиж в глазах международной общественности. В его планах, как видно, РПЦ отводилась значительная роль в на-

лаживании тесных контактов с антифашистскими, патриотическими движениями, религиозными кругами на Балканах, Ближнем Востоке, Северной Африке. Немалые возможности имелись у РПЦ для установления тесных контактов с влиятельными религиозно-клерикальными течениями в Англии, США, Канаде, способными оказать определенное воздействие даже на правительства..." (с. 26). "Усиленная работа велась РПЦ по отвоеванию приходов в США, Канаде, а также во Франции, Сербии, Албании у т. н. "карловчан" - Зарубежной Русской Православной Церкви... не признававшей Московскую патриархию..." (с. 30).

Вся послевоенная история Московской патриархии - это причудливое сплетение "атомов трех веществ": служения здравствующему вождю, заменяющему собой Христа, служения "идеалу коммунизма", заменяющему собой соборное волеизъявление Духа, и служение тем заповедям Христа в той мере, в какой они не противоречат двум первым служениям.

Отсюда только и может быть понятно, как митрополит, председатель издательского отдела Московской патриархии, профессор богословия в интервью, напечатанном на английском языке в книге Ван Экка, изд-во "Прогресс", 1988, мог сказать, что отсутствие внехрамовой проповеди совершенно нормально для Церкви. Отсюда понятно, почему с такой легкостью иерархи нарушили канонические правила о месте священника на приходе в 1961 г., почему вообще согласны с теми ограничениями церковной деятельности, которые накладывает на них закон 1929 г., почему даже сейчас, когда вследствие "перестройки" есть большие возможности вернуться к каноническому устройению жизни Церкви, они помышляют только о "внешних" завоеваниях, главным образом, связанных с укреплением их собственной власти и авторитета и финансами. Понятна будет и вражда членов Синода с бывшим председателем

Харчевым, который, во-первых, попытался нарушить монополию Хозуправления патриархии и создать кооперативы по производству церковной утвари (решение Совета министров от 29. 12. 88 о запрете таких кооперативов было принято по требованию членов Синода), а во-вторых, попытался все-таки, несмотря на свою идею о "новом типе священника", приблизить патриархию... к ее же каноническим нормам. В интервью, напечатанном в журнале "Огонек", № 44 за 1989 г., бывший председатель так объяснил коллективный донос на него в Верховный Совет СССР членов Синода: "Я - не скрывая своего мнения от синодалов - поддерживал идею альтернативных, демократических выборов в духе Поместного Собора 1917-1918 гг. Ведь не секрет, что последние патриархи РПЦ были не столько выбраны, сколько назначены под сильнейшим давлением государственной власти..." (с. 10). Стоило только ответственному чиновнику внять голосу совести и постараться избавить Церковь от "многовалентного" мировосприятия, как тут же по настоянию членов Синода, поддержанных антиперестроечным партаппаратом, он был уволен.

Весьма ценной является оценка Харчевым отношения руководства Синода к возможным переменам церковно-государственного механизма:

"Я настаивал на необходимости альтернативных, свободных, истинно демократических выборах на всех уровнях руководства... РПЦ. Подозреваю, что некоторые члены Синода по старой привычке больше рассчитывали на поддержку власти, чем на свой авторитет в Церкви... есть также священнослужители, которые вообще хотели бы обойтись без перестройки в государственно-церковных отношениях. Вот вам пример... В те дни, когда в Иванове шла голодовка верующих... в Москве заседал Синод РПЦ. С моей точки зрения, было бы совершенно естественно, если бы он принял обращение к правительству страны - с тем, чтобы оно потребовало

от ивановских руководителей безусловного выполнения Венских соглашений. Синод отмолчался. Во дворце съездов ни единого слова не сказали об этом и вообще о нуждах верующих народные депутаты СССР - священнослужители" (с. 11).

Вывод один: либерализация, приведшая к бурному росту демократических процессов в СССР, грозит Московской патриархии возвращением ей "одновалентного" мировосприятия, т. е. оставит ее наедине с Богом и со своими верующими. Первого она боится, так как ее вероучение давно предало теократию и забыло живое общение с Духом Божиим, второго боится, так как верующие поставят вопрос о личном авторитете руководства и о выборах достойнейших кандидатов. Первое внушает мистический ужас, второе грозит отнять всю "сладость" личного плена у "князей человеческих". Идея "сладкого плена", выдвинутая не так давно Зоей Крахмальниковой, очевидно, является "четвертым атомом", который определяет вероисповедание московских владык. Икорно-водочный "рай на земле", поклонение старушек и личное уважение членов Политбюро нашли в их сознании образ некоего религиозного избранничества - такова, дескать, воля Божия, значит - заслужили. Идея избрания, как был избран 12-ым апостолом Матфий, подменяется здесь идеей личного избранничества на основе неких "заслуг перед Церковью и страной" в виде служения трем другим "атомам мировосприятия": вождю-квазихристу, идеалу коммунизма и в "остальном" уже церковным интересам. Так "валентность" расширяется, мир Московской патриархии становится весьма "многовалентным"...

Разумеется, вышесказанное относится к главному правилу функционирования неканонической надстройки над церковной жизнью - Московской патриархии. Каждый иерарх, священник, мирянин решает все эти вопросы, определяет свою "валентность" сам, индивидуаль-

но. И потому если человек открыто не свидетельствует своими словами и делами о "многовалентности", его можно считать вполне православным и состоять с ним в литургическом общении. Однако вопрос - как это определить?

Думается, что формула отречения от сергианства во всех его проявлениях и подчинение единственной законной юрисдикции РПЦ - ее заграничному Синоду и Первоиерарху - была бы точной гарантией и обязывающим каноническим требованием для пребывания в спасительной сфере Православной Церкви. Одного отречения от сергианских ересей было бы недостаточно, так как оно не могло бы предохранить от литургического и вероучительного общения с еретиками типа Г. Персианова. Подчинение юрисдикции Зарубежной РПЦ имеет в данном случае и канонический, и вероучительный характер. Возрождение каноничности и вероучительной православности в СССР возможно двумя путями: либо поворот религиозной общественности - возможно через разрыв с официальной патриархией - к канонам Собора 1917-18 гг. и создание по сути новой структуры Церкви, которая могла бы рассчитывать на братское общение с православными русскими за рубежом, либо распространение знаний о неведомом ныне в СССР Соборе 1917-18 гг. и событиях 1925-1927 гг., показ канонической основы Зарубежной РПЦ и неканоничности сергианства, его вероучительных отпадений от Православия и создание параллельной Московской патриархии структуры, без общения с ней и без уступок государству с канонической и вероучительной стороны, хотя сейчас и политическая лояльность коммунистам вряд ли была бы полезна для Церкви (правда, политической оппозиции лучше было бы избежать, так как она привела бы к конфронтации с государством в вопросах, далеких от главных задач Церкви).

IV. ОБСТАНОВКА СЕГОДНЯ: ПОИСК СОБОРНОЙ ЦЕРКВИ

Вопрос: как Вы относитесь к перестройке? - является по законам формальной логики провокационным. К сожалению, практически все политики Запада и большинство населения в СССР на эту провокацию поддается и начинает гадать, как оно относится, тщетно пытаясь вычленить в этом понятии какие-то отдельные компоненты, чтобы их более определенно охарактеризовать. Этому заблуждению способствует и отсутствие официальной дефиниции, целей, задач, причин и методов перестройки. На самом деле термином "перестройка" обозначаются *два* понятия: "либерализация" и собственно "перестройка", "изменение структуры". Либерализация - вынужденная под прессом экономического кризиса и возрастающей технологической отсталости от Запада, явление безусловно положительное, собственно, именно оно и вызывает восторги на Западе. А вот "перестройка" структуры, или по меткому выражению Валерия Сендерова - "перестройка прошлого", - это переориентация партократии под вынужденную либерализацию с целью не только не отдать, но сохранить и по возможности укрепить свои позиции в изменившейся обстановке. Здесь речь идет о сохранении коммунизма как идеологии, как атеистического идеала, но с вынужденным временным компромиссом с некоммунистическими идеалами - как политическими, так и религиозными. Именно так действовал Ульянов-Ленин в 1918 г. при заключении Брестского мира - пойдём на вынужденный компромисс, уступки, а при изменении обстановки - скажем, революции в Германии - переиграем все свои обязательства в свою же пользу.

Позитивна либерализация церковной жизни. Массовый приток молодежи и интеллигенции в Церковь, начавшийся еще в 70-е годы, обрел явные черты,

появилась доселе неизвестная в СССР религиозная общественность: группы, союзы, даже партии единомышленников-христиан. Иногда они формируются по чисто религиозному признаку, иногда - сначала по каким-то другим принципам, в том числе и политическим. Но в основе большинства этих групп и течений лежит все же внутренняя потребность духа человеческого в адекватном ему религиозном самовыражении и в обретении абсолютного стержня бытия. И молодежь, и интеллигенция не церковны, не имеют подчас простейших познаний о Церкви и ее учения, а богослужение на иностранном для них славянском языке непонятно.

Причины этого разные: и наследие запретов на религию, гонения на Церковь, и неспособность самой Церкви в лице официальной Московской патриархии (а может быть - и нежелание) "ловить человек" - интеллигентов. Ведь с интеллигенцией надо разговаривать на цивилизованном языке, что-то разумно объяснять, вводить ее в уже весьма удаленную от общества литургическую жизнь. Патриархия, долгие годы существовавшая в форме обрядов и для обрядов, таких кадров практически не имеет, и потому те служители, которые уже сделали в ней карьеру и приобрели вес и авторитет среди "простых" прихожан - неграмотных старушек, вообще не рады "перестройке-либерализации". К тому же легализация ранее запрещенных треб или влекших наказание для людей, в них участвовавших (например, крестивших детей), уменьшила "левые" доходы духовенства - крещения на дому, за которые им платили намного больше, чем в храме. Открытие новых храмов уменьшает доходы уже существующих, и это тоже многим не нравится. Кроме того, молодежь - это, как правило, нищее студенчество, да и интеллигенция большей частью небогатая - что они принесут в церковную казну? Совсем не то, что носят верующие, что-то накопившие за долгую жизнь и теперь ищущие жертвы Богу.

Поэтому в целом патриархия враждебна перестройке-либерализации, она вполне обошлась бы перестройкой-реконструкцией коммунизма, что сохранило бы ее привилегии при уменьшении налогов и усилении абсолютистской власти. И поэтому можно говорить о тенденции, причем постоянно усиливающейся, к расколу православного населения на две большие группы: традиционную официальную патриархию, могущую рассчитывать на безграмотных старушек, привыкших ходить в свою "церкву" и не разбирающихся в том, кто в ней служит и чему учит, и на людей, в том числе и интеллигентов, которые боятся каких-либо нестроений церковной жизни, наивно полагая, что такая иерархия от них оберегает и их в себе не заключает. И на религиозную христианскую общественность, которая в душе стремится к подлинной церковности, как правило, во вполне традиционных рамках, но не обретает ее в официальной, обрядовой и "застойной" патриархии. Эта общественность "растет и множится", в нее входят активные люди, издающие самиздатские газеты и журналы, стремящиеся понять суть религии и ее место в обществе. По наивности они пытаются поначалу защищать и официальную Церковь, но традиционные протоиереи и владыки публично заявляют, что такие "защитники Церкви нам не нужны". Что верно, то верно - защитники Церкви московским иерархам не нужны, ибо в конечном счете они неизбежно придут к тому, что Церковь нужно защищать в первую очередь от этих самых иерархов и протоиереев.

Религиозная христианская общественность, все в большей степени противостоящая патриархии, имеет внутри себя две основные тенденции. Первую условно можно назвать "обновленчеством" (но не в смысле преемственности обновленцам 20-х годов, а вполне буквально). Здесь налицо доминирование стремлений ввести русский язык для богослужений, чтобы они стали

наконец понятны, упростить сами богослужения, ввести во всеобщее употребление труды религиозных философов (богословское наследие Церкви им, как правило, неизвестно), характерно также легкомысленное отношение к догматике и канонам Церкви; недостатки патриархии видятся им, главным образом, в нарушениях моральных норм и в сотрудничестве с госатеизмом; богослужение как воспроизведение Тайной Вечери они не воспринимают и потому не очень благочестивы по части церковных праздников.

Вторую тенденцию можно условно назвать традиционно-канонической. Здесь налицо стремление сохранить все в богослужебной практике, богословии и канонах, как есть, но с исправлением сергианских деформаций - не только политических, но и вероучительных и канонических. Представители этой тенденции зачастую входят в конфликт с "обновленцами", так как игнорируют естественное для неофитов стремление понимать богослужение сразу же, игнорируют также и стремление к творческой активности в сфере мысли, считая, что нужно ограничиться традиционной патристикой. Кроме того, у этой группы христиан, в отличие от первой, нет потребности возрождения христианской общины и соборности Церкви, они, как правило, довольны, если у них есть "свой" по духу и мысли батюшка.

В смысле тяготения к какой-либо юрисдикции "обновленцы" тяготеют к пророческой свободе, плохо ими себе представляемой, а традиционалисты к Зарубежной РПЦ или ИПЦ (катакомбной).

В худшем случае две эти половины христианской общественности могут разделиться совершенно, и дело пойдет к расколу РПЦ на три части: сергианско-шаманскую, "обновленческую" и консервативно-традиционную, которая сейчас очень тянется к Зарубежной РПЦ. Это было бы слишком прискорбно и имело бы тяже-

лые последствия для дела христианизации России, особенно сейчас, когда госатеизм подрывает христианство уже не лобовыми атаками, а через активную пропаганду магии, сатанинских и сексуально-сатанинских рок-групп.

Позитивное развитие представляется в единстве христианской общественности и ее монолитном противостоянии сергианской иерархии, в едином созидании Тела Христова на оскверненной земле. Для этого необходима определенная литургическая реформа в духе не какого-то модернизма, который никому по сути и не нужен, а в духе возврата к уже бывшим и опробованным Церковью моделям богослужений, да и всего строя общинно-соборной жизни.

Чтобы не повторять технических ошибок обновленцев 20-х годов, создавших еще более чуждую народу службу, чем была, было бы разумно сохранить все ныне действующие каноны Литургии, но добавить к ним, по крайней мере, еще два: широко распространить Литургию св. Апостола Иакова, желательно на языке, близком к русскому, с громким чтением всех молитв при открытых Царских Вратах и создать еще один более короткий чин (либо это может быть сокращенный чин самой же Литургии св. Иакова) при минимуме пения и максимуме понимания, так чтобы все присутствующие все видели и слышали и во всем могли действительно участвовать. Язык лучше всего использовать славянский, но адаптированный подобно тому, как он адаптировался и следовал за развитием русского языка вплоть до XVII века, когда этот процесс был искусственно заторможен. В конце концов, свв. Кирилл и Мефодий переводили богослужение на славянский именно для того, чтобы оно было понятно, а не наоборот! Необходима естественная возвышенность стиля и слога, когда речь идет о возвышенных вещах, но она должна быть понятной. Увеличение чинопосле-

дований уменьшит вероятность магического восприятия Таинств, нередко встречающееся, особенно у неопитов и инославных, и лучше приспособит богослужение - исторически зафиксированную проповедь перед тайносовершительной формулой и тайносовершительным жестом, удостоверяющим во вхождении в Богочеловечество Иисуса Христа - к потребностям самой проповеди в миру...

Необходима и реформа церковной жизни в смысле возрождения общин. Основой для этого является Собор 1917-18 гг. Но этот Собор только начал позитивный процесс, нужны ответственные решения, продолжающие его линию. Пока нужно претворение в жизнь уже имеющихся решений о порядке созыва Соборов, избрания епископата и Синода. Осуществление этих решений является историческим моментом, когда может произойти жизненно важное соединение внутренней и Зарубежной Церкви, ибо, во-первых, многие смогут вернуться из-за рубежа на Родину, а во-вторых, тогда будут преодолены все канонические препятствия для такого соединения. Исключительно важной представляется активность Зарубежной РПЦ в деле подготовки народа внутри страны к введению этой демократической и канонической, по-настоящему свободной структуры церковного устройства. Здесь необходима поистине просветительская деятельность, в которой Зарубежная РПЦ уже может опираться на своих быстро растущих послушников внутри страны. Кроме того, любые реформы в СССР, в обстановке богословского неведения и еретических стереотипов мышления, внедряемых сергианской пропагандой, могут иметь подлинный, православный успех только при участии Зарубежной РПЦ, промыслительная роль которой представляется в первую очередь в сохранении до нынешнего дня чистоты Православия. Только Зарубежная Церковь может дать сейчас эталон канонической и вероучительной чистоты и пред-

охранить от уклонений в различные крайности, которые без таковой помощи неизбежны.

Можно привести конкретный пример, который очень точно показывает обстановку и уровень восприятия приходящей в Церковь молодежи. На этом примере хорошо видно, что необходимо в первую очередь для победы Православия в России, для восстановления в ней подлинной церковной теократии. Материал взят из лучшего на сегодня бюллетеня - "Вестника Христианского Информационного Центра", созданного на базе независимого религиозно-философского журнала "Выбор" (соиздатели В. Аксютин и Г. Анищенко) и издаваемого Евгением Поляковым (г. Москва).

"Вестник" № 36 за 1989 г. сообщает, как в Воронеже образовалась группа верующей, вернее - уверовавшей, молодежи, которая решила заполнить естественный для патриархии вакуум живого церковного слова - создать церковную типографию. Любопытно, что даже комсомольские вожаки их поддержали но нужно было согласовать это с епархиальным управлением. Секретарь сего управления архимандрит Никон (Миронов), приняв прошение на имя митрополита, тут же передал его в КГБ (это в статье аргументируется), после чего у "пошедших на поводу у поповщины" комсомольцев и у самих воронежских верующих был пренебрежительный разговор с 1 секретарем комсомола, "накачанным" в КГБ. А архимандрит Никон при следующей встрече с церковными активистами прямо заявил: "Эх, было бы это несколько лет назад, я бы вам показал!"

А вот результат "просветительской" деятельности московской иерархии в лице митрополита Мефодия (кстати, уволенного за всевозможные злоупотребления, в том числе и валютные, с должности председателя Хозуправления патриархии) и его высокопреподобного секретаря:

10. 9. 1989 в Воронеже создается Движение "Неза-

висимая Христианская Инициатива". Ее руководитель 25-летний Игорь Бредихин заявляет: "...Мы, христиане, не хотим больше молчать. Наши надежды на то, что церковное руководство скажет за нас свое слово, оказались несостоятельными. Узурпированная и экономически задавленная государством Церковь обнаружила неспособность быть духовным пастырем и выразителем воли христианского народа. (До сюда - всё правильно. - С. В.) Поэтому христианский народ должен *независимо* от нее выразить свою волю..." - До чего ж надо довести людей, чтобы они, будучи верующими, не сектантами, захотели выражать волю христиан независимо от Церкви! - "Мы, собравшиеся здесь христиане разных конфессий (а вот и вероучительные крайности! - С. В.) авт.), хотим одного: возобновления прерванной христианской традиции на Руси и национального возрождения России..." (№ 28 "Вестника"). Далее И. Бредихин излагает позитивные задачи, стоящие перед движением, среди которых главная - религиозный ренессанс в стране. Любопытны и характерны следующие пункты программы:

"- За прямые демократические выборы руководящего церковного аппарата и проведение периодической отчетности..." Вот потребность в возврате к неизвестным канонам Собора 1917-18 гг.! Если никто не просветит Игоря об этом Соборе и о канонах Церкви, можно хорошую идею превратить в сектантский субъективный произвол и собор подменить съездом или новгородским вече.

"- Воссоединение всех дискретных церквей в единую, нераздельную, Вселенскую Соборную и Апостольскую Церковь"! Знать бы Игорю, что Церковь и может быть только одна, как один ее Глава Христос, и речь идет не о набившем оскомину экуменизме в его протестантско-социалистической трактовке, а о расширении границ этой Единой Вселенской Церкви, ибо все, что вне ее -

просто не есть Церковь, хотя и может быть на пути к ней.

”- Минимизация значения догматически-обрядовой стороны христианства перед его внутренним мировоззренческим и нравственно-этическим содержанием”. Тут остается только руками развести! Ладно б минимизировали непонятную для них обрядовую сторону, а то и догматическую, которая, как следует из текста, не относится к внутреннему содержанию и даже мировоззрению Церкви...

”- Наше движение объединяет в своих рядах всех разделяющих его программные положения свободомыслящих христиан, *независимо* от их конфессиональной принадлежности и религиозных убеждений”. Любопытно было бы узнать, как люди с противоречащими друг другу религиозными убеждениями могут признать одну программу ”объединения Церкви”? И до каких границ простирается их ”свободомыслие”?

”- Мы поднимаем знамя философских идей Владимира Соловьева и призываем объединиться под этим знаменем всех тех, кому дорога дальнейшая историческая судьба христианства”.

Видимо, труды В. Соловьева - это единственное, что читал автор этого тезиса о христианстве, но это не вина его, а беда - где взять катехизисы, учебники Догматического богословия? Патриархия несет всю полноту ответственности за крестный ход с хоругвью, на которой один прославленный В. Соловьев. Митрополит Питирим обычно сетует на отсутствие бумаги, но в начале октября 1989 г. по Московской программе телевидения он сделал заявление, что, как только откроет собственную типографию, напечатает и подарит мусульманам древнюю копию Корана. Дескать, читай, Игорь Бредихин, кроме В. Соловьева еще и коран, тогда ко знамени этого философа еще и зеленое знамя пророка Магомета добавишь!

Скорбная картина конфессиональной путаницы и морального упадка Московской патриархии отшвыривает людей от Церкви и заставляет сочинить по неведению такие тезисы, что разрушает в их сознании и без того едва живой образ Церкви. Откуда им знать, что Церковь преп. Сергия и преп. Старца Серафима, святого Патриарха Тихона и Святителя Филиппа существует, но, увы, вдали от их дома! Яд сергианства поразил все сферы религиозной жизни в СССР. Даже уважаемые и бесстрашные христиане, достойные по своей жизни всяческого уважения, как, например, священники катакомбной Церкви, говорят, что, согласно трудам современных религиозных философов и богословов, грехопадение "является одним из необходимых условий творчества, как пути восхождения человека к Богу. Ради удовлетворения этой потребности человека Бог и попустил грехопадение. Это сделано ради нас и с нашего согласия" ("Вестник" № 26). И здесь змий-сатана становится по рассуждению человеческому, все хотящему рационально изъяснить и разложить по полочкам рассудка, благодетелем человека и выразителем воли Творца! Опять дуализм, опять забвение того, что "Бог не искушается злом и Сам не искушает никого" (Иак. 1, 13), что Бог заповедал Адаму творчество и Богопознание без грехопадения и что поэтому грехопадение не может быть основой творчества - иначе придется признать, что Бог, давая первую заповедь познания: не вкушай, действительно обманывал Адама, как уверил его сатана.

К сожалению, в независимой религиозной печати можно встретить много весьма сомнительных высказываний, ложных трактовок тех или иных религиозных мыслителей дореволюционного периода или в эмиграции. Эти мыслители имели солидное классическое образование, читали всё в подлинниках и имели право на рискованные трактовки и смелые идеи. Печально, когда

люди без систематического богословского и философского образования, без знания древнегреческого языка и потому не читав даже Библию в оригинале (я не говорю уже про древнееврейский или латынь!), тем не менее, прочитав несколько вырванных из контекста общего течения религиозной мысли сочинений, начинают свободно импровизировать на догматические темы. Один выпускник Московской Духовной Академии, священник, уверял, что знает, чем отличается христианство от неоплатонизма, но не может это словесно выразить. Степень кандидата богословия он не получил (редчайший случай!), но только потому, что во время вполне удачной защиты вдруг обвинил в ереси неоплатонизма проректора и секретаря ученого совета! Те, понятное дело, обиделись, и пришлось обличителю ересей искать покровительства у оппонента ректора Академии митрополита Ювеналия, который и дал ему самый богатый приход в Московской епархии.

Чистота догматического сознания Церкви - залог чистоты канонической и нравственной ее членов. Зарубежная РПЦ сохранила эту чистоту, и время пришло принести плоды. Путь воссоединения православных людей, живущих на оккупированных мировым коммунизмом территориях, с эмигрировавшими православными - это: 1) Отречение живущих в СССР от всех проявлений сергианства и вхождение в юрисдикцию Зарубежной РПЦ; 2) создание параллельной структуры Зарубежной Церкви в СССР через контакты с общественно-религиозными организациями, с широкой общественностью, использование для этого юридически зарегистрированных общественных организаций; 3) широкая пропаганда истории Зарубежной Церкви и деяний Поместного Собора 1917-18 гг., а также канонов; 4) литургическая реформа сообразно задачам миссионерства и контексту жизни в СССР, рассчитанная, прежде всего, на молодежь.

Разработка политическими силами, идущими к свободной России, программ взаимоотношений Церкви и государства должна учитывать нынешнее состояние общества и ориентироваться на то, чтобы способствовать возвращению Церкви к теократии через соборность и общинную структуру. Мировоззренческим принципом здесь может быть христианская истина, что свобода не бывает абстрактной и, чтобы не быть лишь формальной, нуждается в определенном уровне знаний о бытии; без этих знаний стихии мира поработят свободу, но с ними она распознает зло и сохранит самое себя. Такие знания дает христианство, и для действительного свободного общества оно жизненно необходимо. Но ценности веры не должны фиксироваться в юридических формулах, ибо тогда опять будет велика опасность превращения морали в идеологию, тяготеющую к тоталитаризму. Точкой пересечения закона и веры может выступать категория личности, ее самоценности, вытекающей из христианского мировоззрения, но не отрицаемой в других религиях. Христианское определение личности может лечь в основу законодательства, и тогда само законодательство не должно больше пересекаться с конфессиональными положениями. И его исходная категория, логически простираемая на все сферы общественного бытия, будет придавать ему характер, максимально доброжелательный к религии и в плане общественной морали целиком опирающийся на нее. Собственно, все ценности закона будут строиться на ценности личности, ее свободы и развития, и потому законодательство будет, во-первых, конкретно, во-вторых, свободно, в-третьих, гуманно. Отсутствие пересечений оградит структуру Церкви от вмешательства извне и сохранит за Церковью статус свободного органа теократии на земле.

Ноябрь 1989 г.

Москва

Умозрения Павла Флоренского - венец православной эстетики

Эстетика в системе православного мировоззрения прошла долгий исторический путь, пролеглий через несколько культур, захвативший множество народов и почти 20 столетий. Поздняя античность, Византия, Древняя Русь и русский религиозный ренессанс конца XIX - начала XX вв. - основные этапы исторической жизни православия и развития его эстетики. Можно указать и на главные фигуры мыслителей, внесших наибольший вклад в дело формирования православного эстетического сознания. За два тысячелетия их набралось немало. Не все из них могут быть отнесены к православию в узко конфессиональном значении этого слова. Кое-кто из творцов православной (в широком вселенском смысле) эстетики жил вроде бы вне официальной сферы христианства, но объективно оказался среди ее создателей.

В качестве предтечи и первой фигуры ряда без сомнения может быть названо имя Филона Александрийского. Замыкает и венчает его крупнейший и последний отец православной церкви, выдающийся мыслитель XX века Павел Флоренский. Первый был старшим современником Христа, еще не узревшим света Его учения, но

уже предчувствовавшим Его и готовившим теоретические пути Его бесчисленным ученикам. Последний осознавал себя богоизбранным теоретиком и практиком православия, но его мощному гению было уже тесно в традиционных рамках исторически сложившегося вероисповедания. Неслучайно строгие ригористы православной церкви до сих пор сомневаются в ортодоксальности духовного наследия о. Павла.

Между этими выдающимися фигурами видится многочисленный строй высоко духовных творцов православной эстетики, в котором особо выделяются Климент и Афанасий Александрийские, великие каппадокийцы (Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский), Иоанн Златоуст, Псевдо-Дионисий Ареопагит, Иоанн Дамаскин, Феодор Студит, отцы VII-го Вселенского собора, патриархи Герман, Никифор и Фотий, Симеон Новый Богослов, Григорий Палама; в славянском мире - Иоанн, экзарх Болгарский, на Руси - Андрей Рублев, Епифаний Премудрый, Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, отцы Стоглава, Оптиные старцы, Ф. Достоевский, В. Соловьев и представители религиозного ренессанса начала XX в., среди которых самой крупной фигурой был без сомнения П. А. Флоренский. Для полноты картины необходимо назвать и некоторые имена (а их тоже немало) из числа мыслителей, не входящих в ряд собственно православных умов, но внесших значительный вклад в дело православной эстетики. Это неоплатоники Плотин и Прокл, крупнейший отец римской церкви Августин, русские художники и теоретики искусства Иосиф Владимиров (XVII век) и Василий Кандинский (XX век).

Всматриваясь в столь яркое созвездие имен и столь длительный период развития, западная наука, кажется, вправе упрекнуть православие в отсутствии четко сформулированной и последовательно изложенной эстетической системы. Ее нет даже у прекрасно

владевшего всем наследием средиземноморско-европейской культуры и философии о. Павла, хотя практически все его многочисленные сочинения на самые разные темы (не считая уже чисто искусствоведческих) пронизаны эстетическими интуициями, а его главный богословско-философский труд "Столп и утверждение Истины" - это прежде всего еще и эстетический трактат. Здесь мы сталкиваемся с главной и специфической особенностью православной эстетики - она принципиально *имплицитна*, то есть не выделена и не выделима из целостности культуры как живого организма. Это хорошо чувствовали и осознавали многие православные мыслители и особенно глубоко - Павел Флоренский.

В эстетике он видел существеннейшую часть культуры, если не ее душу. И нет никаких сомнений в том, что при его аналитических способностях он мог бы создать, может быть, глубочайшую из всех существующих ныне дисциплину - эстетику. Но он не сделал этого, вероятно (далеко не все труды Флоренского опубликованы), потому, что не видел смысла в такой дисциплине. Эстетическое для Флоренского не есть какая-либо локализуемая область бытия или сознания; оно не есть и какое-либо определенное свойство бытия. Для него, как и для главной линии традиционного православия, - это некая *энергия*, пронизывающая все бытие, тождественная духовности и практически не поддающаяся формализации, то есть вербальному, да еще систематическому выражению. Поэтому сегодня эстетика Флоренского, как и всего исторического православия, может быть реконструирована лишь с большей или меньшей долей точности на основе глубокого изучения всего его духовного наследия. В данной статье предпринимается попытка наметить один из возможных путей в этом направлении.

Противопоставляя свое понимание "эстетичности" концепции К. Н. Леонтьева, П. А. Флоренский четко сформулировал свою эстетическую позицию: "Таким образом, для К. Н. Леонтьева "эстетичность" есть самый общий признак; но для автора этой книги он - самый *глубокий*. Там красота - лишь оболочка, наиболее внешний из различных "продольных" слоев бытия; а тут - она не один из многих продольных слоев, а сила, пронизывающая *все* слои *поперек*. Там красота далее всего от религии, а тут она *более* всего выражается в религии. Там жизнепонимание атеистическое или почти атеистическое; тут же - Бог и есть Высшая Красота, чрез причастие к Которой все делается прекрасным. /.../ И, тогда как у Леонтьева красота почти отождествляется с геенной, с небытием, со смертью, в этой книге красота есть Красота и понимается как Жизнь, как Творчество, как Реальность"¹.

Это, пожалуй, главное и наиболее полное формулирование Флоренским своего понимания эстетического, из которого ясно, *какое* высокое значение он придавал ему и *почему* эстетика в православии не имеет статуса самостоятельной дисциплины. Ее предмет практически неотделим от предмета богословия. "Все прекрасно в личности, когда она обращена к Богу, и все безобразно, когда она отвращена от Бога"².

Развивая и завершая христианско-неоплатонические идеи в эстетике, Флоренский усматривает основное выражение красоты в *свете* как видимом, так и духовном. И разъясняет он это важнейшее положение православной эстетики, обращаясь к физическому свету. Уже в нем видит он главное свойство прекрасного - самоценность. "Свет уже и в чувственном созерцании есть преимущественно само по себе прекрасное, интуитивно прекрасное"³. Все остальное в материальном мире прекрасно не в собственном смысле, не объектив-

но, а через доставляемую им человеку некую "интеллектуальную удовлетворенность", которая возникает на основе соотнесенности частей формы, ритмической организации и т. п. "Свет же прекрасен помимо всяких расчленений, помимо формы, - в себе, и он делает собою прекрасным все зримое"⁴.

Красота как своеобразное "выявление того, что делается объективным", как фактор объективации, сущностно связана со светом, "ибо все являемое является именно светом". И эта *являемость* понимается Флоренским не столько в психофизиологическом (который в принципе не отрицается), сколько в *онтологическом* смысле, что автор подтверждает ссылками на апостола Павла. На этой основе становится понятным и его переход к абсолютной Красоте и духовному свету. "Итак, если красота есть именно являемость, а являемость - свет, то, повторяю, красота - свет, и свет - красота. Абсолютный же свет есть абсолютно-прекрасное, - сама Любовь в ее законченности, и она делает собою духовно-прекрасным всякую личность. Венчающий Собою любовь Отца и Сына Дух Святой есть и предмет и орган созерцания прекрасного"⁵.

При таком понимании красоты наиболее глубокими ее ценителями, посвятившими себя только и исключительно созерцанию "света неизреченного", выступают у о. Павла духовные старцы, подвижники. Они-то фактически и являются главным эстетическим субъектом, а *аскетика* предстает в прямом смысле православной *эстетикой*. Не случайно, подчеркивает Флоренский, аскетику "святые отцы называли не наукою и даже не нравственной работою, а искусством, - художеством, мало того, искусством и художеством по преимуществу, - "искусством из искусств", "художеством из художеств"⁶. Главный плод и цель этого искусства - особое неформализуемое знание, "созерцательное ведение", которое, в отличие от теоретического знания -

"философии" (любви к мудрости), именуется любовью к красоте - "филокалией" ("любокрасием"). Именно поэтому сборники аскетических творений назывались "Филокалиями". О. Павел считает, что русский перевод их как "Добротолюбие" не очень удачен. Точнее было бы называть эти сочинения "Красотолюбием" или понимать "доброту" в утвердившемся наименовании не в современном, а в древнем, более "общем значении, означающем скорее красоту, нежели моральное совершенство"⁷. И в примечании он дополняет: "Несомненно, что в понятии "добротолюбия", как и в греческом "филокалия" основной момент художественный, эстетический, но не моральный"⁸.

"Красотолюбие" не только открывает аскету особое ведение, но и *реально* приобщает его к красоте. Аскетика, считает Флоренский, "создает" не столько "доброе", сколько "прекрасного" человека. В этом ее специфика. Отличительная черта святых подвижников - совсем не их "доброта", которая бывает и у людей грешных, "а *красота* духовная, ослепительная красота лучезарной, святоносной личности, дебелому и плотскому человеку никак недоступная"⁹. Наука "красотолюбия" позволяет человеку достичь преображения плоти, обретения первозданной красоты творения еще в этой земной жизни. Лицо подвижника *реально* становится "светоносным ликом", из него изгоняется "все невыраженное, недочеканенное", и оно "делается художественным портретом себя самого, идеальным портретом, проработанным из живого материала высочайшим из искусств, "художеством художеств". Подвижничество есть такое искусство". Это лицо поражает всех своим сиянием и красотой, несущими вовне "внутренний свет" подвижника¹⁰. Именно в таком *созидании красоты* усматривал о. Павел один из главных смыслов эстетики.

Знатоки и ценители истинной красоты - святые

подвижники выступают поэтому у Флоренского и главными судьями в оценке истинности духовной жизни, церковности. Ибо критерием "правильности" этой жизни, считает он, является красота - "особая красота духовная, и она, неуловимая для логических формул, есть в то же время единственный верный путь к определению, что православно и что нет. Знатоки этой красоты - старцы духовные, мастера «художества из художеств»"¹¹.

Эстетика аскетизма, как известно, начала складываться у христианских пустынножителей и монахов уже с IV в. и совершенствовалась на протяжении всей истории Византии, Афона, а позднее и Древней Руси¹², но наиболее ясно и точно она была сформулирована о. Павлом Флоренским в начале нашего столетия. В святых подвижниках он узрел средоточие, концентрацию эстетического, разлитого во всем тварном мире. "Духоносная личность прекрасна, - писал он, - и прекрасна дважды. Она прекрасна *объективно*, как предмет созерцания для окружающих; она прекрасна и *субъективно*, как средоточие нового, очищенного созерцания окружающего"¹³. Подвижник, таким образом, является одновременно и объектом и субъектом эстетического. Путем аскетического подвига он преобразил самого себя, и в нем открылась для созерцающих его "прекрасная первозданная тварь". С другой стороны, и "для созерцания святого" в процессе его духовного просвещения открывается первозданная красота универсума. Он сам являет собой красоту, пребывает в красоте и созерцает красоту. Таково, по мнению о. Павла, прекрасное бытие истинного члена Церкви, ибо "церковность есть красота новой жизни в Безусловной красоте, - в Духе Святом"¹⁴.

Итак, святой подвижник, реально приобщаясь к жизни в "Безусловной красоте", преодолевает границу между двумя мирами универсума: дольным и горним; и

совершает эту сложнейшую онтологическую метаморфозу на уровне эстетического - на путях любви к красоте - филокалии. О высоте и значимости этой акции свидетельствует хотя бы тот факт, что, по Флоренскому, подвижник таким образом поднимается фактически на уровень Софии, ибо она и "есть первоизданное естество твари, творческая Любовь Божия". В онтологии о. Павла София - Премудрость Божия как раз и является той тварью, которая преодолевает границу между горним и дольным, соединяет собой эти миры. Она "есть Великий Корень целокупной твари (т. е. *всецелостной* твари, а не просто *всей*), которым тварь уходит во внутри-Троичную жизнь и чрез который она получает себе Жизнь Вечную от Единого Источника Жизни"¹⁵. София в понимании Флоренского - это некое неуловимое состояние перехода от Бога к твари; она уже не Бог, не божественный свет, но еще и не тварь, "не грубая инертность вещества"; это некая "метафизическая пыль", парящая "на идеальной границе между божественною энергиею и тварною пассивностью; она - столь же Бог, как и не Бог, и столь же тварь, как и не тварь. О ней нельзя сказать ни "да", ни "нет"..."¹⁶ София - первое и тончайшее произведение Божией деятельности. Для тварного же мира она - средоточие творческой энергии, оплодотворяющее искусство, т. е. эстетическую деятельность человека, и, следовательно, - важное звено в эстетической системе православия.

Размышляя о Софии, Флоренский вспоминает, что она предстала будущему просветителю славян Константину-Кириллу Философу еще в годы его отрочества в образе "прекраснейшей Девы царственного вида", и этот символ Кирилл бережно пронес через всю свою жизнь, передав его и славянам. "Этот символ и сделался первой сущностью младенческой Руси, имевшей воспринять от царственных щедрот византийской культуры"¹⁷. Вторым "символом русского духа", сложившимся уже на рус-

ской почве, Флоренский, как известно, почитал "Троицу" Андрея Рублева.

Но вернемся на грешную землю. Подвижничество - не единственный путь преодоления границы между дольным и горним. Есть и другие, не менее эффективные пути, и все они так или иначе связаны со сферой эстетического.

На уровне индивидуального восхождения души к невидимому миру Флоренский указывает на сновидения, которые витают где-то на границе двух миров, одновременно разделяя и соединяя их. О. Павел различает два вида сновидений - вечерние и предутренние. Первые носят по преимуществу *психофизиологический* характер - отражают впечатления, накопившиеся в душе за день; вторые - *мистичны*, "ибо душа наполнена ночным сознанием", опытом посещения небесных сфер¹⁸. Первые возникают при восхождении души от дольного мира к горнему и являются образами и символами только что оставленного мира; вторые, - символом небесных видений.

Подобный процесс происходит при любом переходе из сферы в сферу. В частности, и в художественном творчестве, когда душа "восторгается из дольного мира и восходит в мир горний. Там без образов она питается созерцанием сущности горнего мира, осязает вечные ноумены вещей и, напитавшись, обремененная ведением, нисходит вновь в мир дольный"¹⁹. Здесь ее духовный опыт облекается в символические образы, которые, будучи закрепленными, являют художественное произведение. Почти в полном соответствии с популярной в начале века теорией З. Фрейда (хотя и исходя из противоположных ему предпосылок) Флоренский заключает: "Ибо искусство есть оплотневшее сновидение"²⁰.

Соответственно, он и в искусстве (художестве) различает два рода образов. Образы *восхождения* из

дольнего в горнее - "это отброшенные одежды дневной суеты, накипь души, которой нет места в ином мире", это духовно пустые элементы нашего земного существования. И художник заблуждается, когда принимает их за истинные откровения и стремится фиксировать в своем творчестве. Напротив, "образы нисхождения - это выкристаллизовавшийся на границе миров опыт мистической жизни"²¹. Он и должен лежать в основе истинного искусства.

Художество восхождения, как бы оно сильно ни действовало на воспринимающего, - это "пустое подобие повседневной жизни" - натурализм, дающий "мнимый образ действительности". Напротив, художество нисхождения - символизм - "воплощает в действительных образах иной опыт, и тем даваемое им делается высшею реальностью"²². Только такое искусство выражает Истину; оно глубоко и реалистично и достойно уважения. К нему Флоренский относил, прежде всего, византийскую и древнерусскую живопись, а в ней - иконопись - "закрепление небесных образов, оплотнение на доске дымящегося окрест престола живого облака свидетелей"²³. Именно поэтому икона у Флоренского выступает доказательством бытия Божия. Он убежден, что из всех философских доказательств наиболее убедительным является следующее: "Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог"²⁴.

Западноевропейское религиозное искусство, особенно начиная с периода Возрождения, он, напротив, считал ложным, как остановившееся на оболочке вещей и забывшее об их сущности. Это - натурализм, занимающийся "лишь имитацией чувственной действительности, никому не нужным дублированием бытия"²⁵.

Здесь необходимо отметить, как глубоко совпали вдруг конечные выводы православной эстетики, возросшие на идеях неоплатонизма и патристики и на духовном опыте византийско-древнерусской художе-

ственной практики, с художественными установками постсезанновского европейского искусства, наиболее полно сформулированными еще в 1910-е годы крупнейшим живописцем XX в. Василием Кандинским, прежде всего в его книге "О духовном в искусстве". Для взглядов самого Кандинского в этом нет ничего удивительного, так как он как духовная личность сформировался в России и не без сильного влияния древнерусского искусства. Но ведь он выражал в равной мере и идеи сезаннизма и европейского символизма, далеких от русской иконы и православия в целом. В начале XX в., и при том на русской почве, осуществилась плодотворная встреча православной эстетики, в ее последней, завершающей стадии, с главной тенденцией европейского художественного авангарда - устремленностью к духовности в искусстве, к поискам наиболее адекватного, идеального, надмирного, абсолютного и т. п. Западноевропейское художественно-эстетическое мышление, пройдя со времени Ренессанса сложный и небесплодный путь служения дольнему миру, к концу XIX столетия вдруг снова ощутило тоску по абсолютной духовности и попыталось вернуться к ней в теории и практике крупнейших представителей авангарда (особенно русского) начала XX века.

Возьмемся, однако, к Флоренскому. Истинное искусство возникает только при нисхождении души из горнего мира, когда она способна еще запечатлеть воспринятые там идеи, "лики вещей" в символических образах, которые суть не просто знаки. Искусство в понимании Флоренского никак не психологично, но *онтологично*; оно ориентировано на "откровение первообраза", на *выявление* новой, доселе неизвестной нам реальности. "Художник не сочиняет из себя образа, но лишь снимает покровы с уже, и притом премирно, сущего образа: *не накладывает* краски на холст, а как бы расчищает посторонние налеты его "записи" ду-

ховной реальности"²⁶. Так что символический образ в искусстве у Флоренского - это сама реальность, но более высокого уровня, чем реальность видимого мира. В наиболее полном смысле таковой реальностью обладает *икона*.

Преодоление границы между двумя мирами осуществляется не только на путях индивидуального творчества (мистического или художественного), но и с помощью *соборного восхождения в культе*.

Философия культа - важнейшая, если не главная, часть духовного наследия о. Павла, и здесь не место говорить о ней подробно. Но и без указания на нее невозможно правильно понять эстетику последнего из великих отцов православной Церкви. В его понимании культ, составляющий основу культуры, - место встречи двух миров; это - "выделенная из всей реальности та ее часть, где встречаются имманентное и трансцендентное, дольнее и горнее, здешнее и тамошнее, временное и вечное, условное и безусловное, тленное и нетленное"²⁷. Духовным ядром культа, его средоточием является богослужение, вокруг которого, сопровождая его или полностью выделяясь из него, группируются остальные деятельности, составляя в целом человеческую культуру. Художественная деятельность существует как вне богослужения, культа, так и внутри него. Последняя, в понимании Флоренского, имеет несомненно более высокую значимость.

Богослужение организуется с помощью системы целого ряда искусств, которая обозначается Флоренским как "церковное искусство" и осмысливается как "высший синтез разнородных художественных деятельностей"²⁸. В этом синтезе участвуют архитектура, живопись, декоративно-прикладные и музыкально-поэтические искусства, хореография священнослужителей, зрительная (цвето-световая) и обонятельная (благовонная) атмосфера в храме.

Каждый вид церковного искусства создавался с учетом его функционирования в системе с другими видами и может быть правильно воспринят и понят только в процессе такого функционирования, то есть в процессе храмового действия.

В частности, такие особенности икон, как "преувеличенность некоторых пропорций, подчеркнутость линий, обилие золота и самоцветов, басма и венчики, подвески, парчовые, бархатные и шитые жемчугом и камнями пелены - все это, в свойственных иконе условиях, живет вовсе не как пикантная экзотичность, а как необходимый, безусловно неустрашимый, единственный способ выразить духовное содержание иконы, т. е. как единство стиля и содержания, или иначе - как подлинная художественность"²⁹. Именно поэтому Флоренский категорически выступает против экспонирования икон в музее. В отрыве от храмовой атмосферы, теплого, дробного, цветного, колеблющегося освещения множеством свечей и лампад они представляются о. Павлу лишь "шаржами" на иконы; в то время как в храме они "лицом к лицу" являют созерцающему их "платоновский мир идей"³⁰.

В храмовом синтезе, полагал Флоренский, "всё сплетается со всем". Даже такой, казалось бы, незначительный элемент, как вьющиеся по столпам и фрескам "ленты голубоватого фимиама", играет важную роль в системе действия. Своим движением струи фимиама "почти беспредельно расширяют архитектурные пространства храма, смягчают сухость и жесткость линий и, как бы расплавляя их, приводят в движение и жизнь"³¹. Органически соединенные с этим пластика и ритм движения священнослужителей, игра и переливы света на складках драгоценных тканей, благовония, "особые огненные провеивания атмосферы", вокальное и поэтическое искусства сливаются на эстетическом уровне в целостную музыкальную драму. "Тут всё

подчинено единой цели, верховному эффекту кафарсиса этой музыкальной драмы”³².

На протяжении многих столетий складывавшееся сложное храмовое действо православного культа только у П. А. Флоренского получило свое окончательное осмысление не только со стороны сакрально-литургической, но и как чисто эстетический феномен, хотя подходы к такому осмыслению наметились уже у многих византийских толкователей богослужения. О. Павел обобщил и на основе художественно-эстетического и духовного опыта своего времени придал им логическое завершение. Художественно-эстетическая сторона церковного искусства была осмыслена им как эффективное средство возведения участников богослужения от мира дольного к горнему.

Богослужение осуществляется в храме, который во всех отношениях понимается Флоренским, завершающим православную традицию, как символ и путь ”горнего восхождения”. Сама архитектурно-пространственная организация храма направлена от внешнего к внутреннему, от материального к духовному, от земли к небу, которое *внутри*, в ядре храма. Это алтарь с его содержимым. ”Пространственное ядро храма намечается оболочками: двор, притвор, самый храм, алтарь, престол, антиминс, чаша, Святые Тайны, Христос, Отец”³³. Весь алтарь в храме - ”пространство неотмирное”, в полном и прямом смысле духовное небо со всеми его обитателями. Границу между алтарем и храмом, небом и землей образуют ”видимые свидетели мира невидимого”, живые символы единения двух миров - святые твари, которых народная молва издавна называет ”ангелами во плоти”. Они обступают алтарь и как ”живые камни” образуют стену иконостаса.

Под иконостасом в его подлинном значении Флоренский понимает не доски, камни и кирпичи, а *живую стену свидетелей*, обступивших престол Божий и возве-

щающих тайну всем молящимся в храме. "Иконостас есть видение. Иконостас есть явление святых и ангелов - ангелофания, явление небесных свидетелей, и прежде всего Богоматери и Самого Христа во плоти, - свидетелей, возвещающих о том, что по ту сторону плоти. Иконостас есть сами святые"³⁴. И если бы все верующие в храме обладали духовным зрением, то они всегда видели бы этот строй свидетелей "Его страшного и славного присутствия", и никакого другого иконостаса не потребовалось бы. К сожалению, этого нет, и из-за немощи духовного зрения молящихся Церковь вынуждена создавать "некоторое пособие духовной вялости", своеобразный "костыль духовности" - вещественный иконостас, стену с иконами, на которых небесные видения закреплены вещественно, "связаны краскою"³⁵.

Без этого материального иконостаса для духовно слепых алтарь закрыт "капитальной стеною", "глухой стеной". Иконостас "пробивает в ней окна", через которые можно увидеть происходящее за ними - "живых свидетелей Божиих"³⁶. Отсюда основное назначение икон как главного элемента иконостаса - служить окнами в мир иной. На этом строится все богословие и вся эстетика иконы у П. Флоренского.

Складывавшаяся столетиями в византийской и древнерусской культурах философия иконы нашла у крупнейшего мыслителя начала XX в. свое наиболее полное выражение. Она еще ждет своего специального изучения. Здесь я хотел бы только указать на некоторые ее основные положения в контексте эстетической системы о. Павла.

Для него икона прежде всего "эстетический феномен", "высший род" искусства, находящийся на вершине художественно-эстетических ценностей³⁷. При этом эстетическое здесь понимается не в смысле баумгартеновской "эстетики", но в том углубленно-мистическом

значении, которое веками складывалось в православной культуре, закрепилось в сборниках "Филокалии" и было сформулировано Флоренским применительно прежде всего к аскетике.

Согласно этому пониманию икона, являясь эстетическим феноменом, не ограничивается только художественной сферой, она существенно выходит за ее рамки. Икона, писал Флоренский, "не есть художественное произведение, произведение самодовлеющего искусства, а есть произведение свидетельское, которому нужно и искусство, наряду со многим другим"³⁸. Этим он стремился предостеречь читателей от чисто художнического, эстетского подхода к иконе, ограничивающегося только изобразительно-выразительным (хотя и очень высоким!) уровнем иконы.

Настоящая живопись, - полагал он, - это нечто большее, чем только живописная поверхность. Она "имеет целью вывести зрителя *за* предел чувственно воспринимаемых красок и холста в некоторую реальность, и тогда живописное произведение разделяет со всеми символами вообще основную их онтологическую характеристику - *быть тем, что они символизируют*"³⁹. Здесь сформулирован важнейший принцип религиозной, и притом именно православной, эстетики. Как известно, ни в платонизме и восходящей к нему западноевропейской идеалистической эстетике, ни тем более в материализме искусство не претендует на то, чтобы быть чем-то иным, чем собственно произведение искусства. И это не исключает, а скорее напротив, определяет его знаково-символическую функцию, художественно-эстетическую ценность. Православной эстетике этого всегда было недостаточно.

Со времен патристики ее теоретики усматривали в иконе, наряду со множеством других, еще и *харизматическую* функцию, т. е. видели в ней носитель энергии (и благодати) изображенного архетипа⁴⁰.

Отсюда распространенная в православном мире вера в чудотворные иконы. О. Павел доводит эти идеи до логического завершения. Икона не только возводит зрителя к архетипу. Для верующего она сама является архетипом и реально выводит его сознание в мир духовный, показывает ему "тайные и сверхъестественные зрелища"⁴¹. Иконописец, утверждает Флоренский, не создает образ, не сочиняет, не пишет изображение. Своей кистью он лишь снимает чешую, затянувшую наше духовное зрение, раздвигает занавес (или открывает окно), за которым стоит сам оригинал. "Вот, - пишет о. Павел, - я смотрю на икону и говорю себе: "Се - Сама Она" - не изображение Ее, а Она Сама, чрез посредство, при помощи иконописного искусства созерцаемая. Как чрез окно, вижу я Богоматерь..."⁴²

В православии духовная онтология в глубинных своих основаниях принципиально недоступна человеческому разуму. Это хорошо сознает и о. Павел и не стремится до конца понять онтологическую суть иконы как *реального явления сущности*. Для него важно убедить современников, зараженных позитивизмом, "ни в коем случае не застревать на психологической, ассоциативной ее (иконы. - В. Б.) значимости, т. е. на ней, как на изображении"⁴³. Икона - это прежде всего *символ*, который, в понимании Флоренского, всегда онтологически неотделим от своего первообраза, он как бы его явление, энергия, свет. Именно в таком онтологическом смысле, считает о. Павел, понимали икону и иконопочитатели периода византийского иконоборчества⁴⁴.

Православному сознанию икона всегда представляется "как некоторый факт Божественной действительности", поэтому в ее основе всегда лежит "подлинный духовный опыт", "подлинное восприятие потустороннего". Если этот опыт впервые закреплен в иконе, она почитается как "первоявленная" или "пер-

вообразная". С нее могут быть сняты копии, более или менее близкие к ней по внешнему виду, большего или меньшего мастерства. Однако "духовное содержание" не будет зависеть от их формы и мастерства. Оно у всех не подобное, но - "то же самое", что и у подлинника; хотя и показанное через более или менее "тусклые покровы и мутные среды"⁴⁵. В этом онтологический и сакральный смысл иконы.

Им в основном определяется и ее художественно-изобразительный строй - собственно своеобразная и ни на что не похожая специфика *иконописи*. По выражению Флоренского, иконопись, в отличие от живописи и графики, является "конкретной метафизикой бытия". "В то же время как масляная живопись наиболее приспособлена передавать чувственную данность мира, а гравюра - его рассудочную схему, иконопись существует как наглядное явление метафизической сути ею изображаемого"⁴⁶. Именно потребностью выразить конкретную метафизичность мира и определяются основные приемы иконописания.

Иконопись не интересуется ничем случайным, ее предмет - подлинная природа вещей, "Богозданный мир в его надмирной красоте". Поэтому в иконописном изображении нет (не должно быть) ни одного случайного элемента. Оно все, во всех своих деталях и подробностях, есть образ первообразного мира - "горних, пренебесных сущностей"⁴⁷. Икона, по Флоренскому, это целостный художественный организм. Конкретно являемая в иконе целостная метафизическая сущность определяет и ее целостность, которой подчиняются все изобразительно-выразительные средства. Икона, наконец, "есть образ будущего века", она дает возможность "перескочить время" и увидеть образы будущего, которые "насквозь конкретны", поэтому говорить о случайности каких-либо элементов - дело бессмысленное⁴⁸.

О. Павел имеет в виду, конечно, не конкретные образцы иконописи, но прежде всего икону в ее сущности, идеальную икону. В конкретных же иконах могут встречаться случайные и ненужные элементы, но не они определяют ее сущность. "Случайное в иконе не есть случайное иконы"⁴⁹. Оно происходит от неопытности или неумения иконописца, или по причине его яркой художественной индивидуальности.

Последняя существенна для живописи постренессансной ориентации. Яркая творческая индивидуальность - важнейший показатель ценности произведений "возрожденского", в терминологии Флоренского, типа культуры. Напротив, в иконописи, характерной для "средневекового" типа культуры, она ведет к появлению множества случайных элементов, затемняющих истину. Избежать этого помогает артельная работа иконописцев, когда над каждой иконой работает несколько мастеров. Взаимно поправляя друг друга "в произвольных отступлениях от объективности", работая соборно, они добиваются главного для иконописи - "незамутненности соборно передаваемой истины"⁵⁰.

Что же служило критерием этом "незамутненности"? Чем руководствовались иконописцы в своей деятельности "открывания окон" в горний мир? Согласно Павлу Флоренскому, такими критериями являлись *духовный опыт* и *иконописный канон*.

В прямом и точном смысле, полагал автор "Иконостаса", иконописцами могут быть только святые, ибо только им открываются небесные видения, которые должны быть воплощены в иконе. Однако духовным опытом святых обладали лишь отдельные иконописцы в многовековой истории иконописания, ряд которых, согласно христианскому преданию, возглавлял апостол Лука. Чаще же они руководствовались опытом святых отцов, не имевших иконописного дара. Поэтому Флоренский, следуя православной традиции, восходящей

еще к VII Вселенскому собору, считает истинными творцами икон святых отцов, направлявших "своим духовным опытом руки иконописцев, достаточно опытных технически, чтобы суметь воплотить небесные видения, и достаточно воспитанных, чтобы быть чуткими к внушениям благодатного наставника"⁵¹. При общем соборном духе средневековой культуры, "при средневековой спайке сознаний" такое творческое содружество способствовало, по мнению о. Павла, наиболее совершенной организации иконописания.

Работать "сообща" со святым могли далеко не все ремесленники. Иконописцы, которых Флоренский уважительно именуется "техниками кисти", не были столь далеки от духовности, чтобы не осознавать возвышенности и святости творимого ими дела. Поэтому в церкви они занимают место между служителями алтаря и простыми мирянами. Выдающихся же мастеров иконописания в древности называли *философами*. И хотя они не написали ни одного слова в теоретическом смысле, они "свидетельствовали воплощенное слово пальцами своих рук и воистину философствовали красками"⁵². В этом плане их приравнивали к богословам, ибо "свидетельство о мире духовном" и называлось в древности философией независимо от того, в какой форме оно воплощалось.

Итак, духовный опыт самих иконописцев или святых отцов являлся основой иконописания и критерием истинности икон. Однако святые отцы не всегда оказывались "под рукой" у многочисленных иконных мастеров православного мира. Поэтому визуальный духовный опыт, относящийся к иконописанию, был закреплен в иконописном *каноне*, понимаемом Флоренским как *духовное предписание* святых отцов "техникам кисти".

Полемизируя с опытом всего новоевропейского и современного ему искусства и теории искусства, Флоренский утверждает, что норма, канон всегда не-

обходимы настоящему художественному творчеству. В каноне закреплён многовековой духовный опыт человечества и работа в его рамках приобщает к нему художника, "...трудные канонические формы во всех отраслях искусства всегда были только оселком, на котором ломались ничтожества и заострялись настоящие дарования. Подымая на высоту, достигнутую человечеством, каноническая форма высвобождает творческую энергию художника к новым достижениям, к творческим взлетам и освобождает от необходимости творчески твердить зады: требования канонической формы, или точнее, дар от человечества художнику канонической формы есть освобождение, а не стеснение"⁵³. Здесь о. Павел сформулировал важнейший эстетический принцип, которым православное искусство руководствовалось на протяжении всей своей истории (как в Византии, так и в Древней Руси). Наметившийся в русском церковном искусстве с XVII века отход от принципа каноничности настораживает П. А. Флоренского. Обращаясь к своим современникам - Врубелю, Васнецову, Нестерову и другим новым иконописцам, создавшим такое количество новых икон, какого не знала вся церковная история, - он вопрошает их, уверены ли они в том, что они сказали в них правду. У автора "Иконостаса" такой уверенности нет.

В конечном счете, заявляет он, Церковь мало интересуется форма. Для нее главное - истина, которой она требует от искусства. И в этом смысле "церковное понимание искусства и было и есть и будет одно - реализм"⁵⁴, т. е. реальное явление истины. А последняя, как было уже показано, открывается далеко не всем. Человечество на протяжении своей истории по крохам собирало ее и опыт коллективного познания, или "сгущенный разум человечества"⁵⁵, закрепило в художественных канонах. Истинный художник, считает Флоренский, стремится не к субъективному самовыраже-

нию, не к увековечиванию своей индивидуальности, а желает "прекрасного, объективно-прекрасного, т. е. художественно воплощенной истины вещей"⁵⁶ и на этом пути канон оказывает ему неоценимую услугу.

При этом канон никак не стесняет творческие возможности иконописца, о чем ярко свидетельствует сопоставление ряда древних икон "одного перевода: двух не отыщется икон тождественных между собою"⁵⁷. В каноне "всечеловеческая" истина воплощена наиболее полно, наиболее естественно и предельно просто. Художнику, усвоившему его, "в канонических формах дышится легко: они отучают от случайного, мешающего в деле движения. Чем устойчивее и тверже канон, тем глубже и чище он выражает общечеловеческую духовную потребность: каноническое есть церковное, церковное - соборное, соборное же - всечеловеческое"⁵⁸. Это религиозно-эстетическое кредо лежало в основе всей художественной практики средневекового православия. Однако тогда оно так и не было окончательно сформулировано, хотя в середине XVI в. отцы Стоглава уже были близки к этому. Неслучайно П. Флоренский активно опирается на материалы этого собора в своем "Иконостасе".

В средневековом православном искусстве иконописный канон охватывал практически всю систему изобразительно-выразительных средств. Композиционная схема, организация пространства, фигуры, их позы и жесты, формы практически всех предметов, как и их набор, цвет, свет, характер личного и доличного письма и т. п. - всё в иконе было канонизировано, и каждый канонизированный элемент и прием имел свое глубокое значение. Острый ум о. Павла не оставил ни один из них без внимания. Однако это уже тема для специального разговора.

В заключение мне хотелось бы подчеркнуть, что в лице крупнейшего мыслителя и провидца первой поло-

вины нашего столетия православное эстетическое сознание, почти угасшее в конце XVII в. и еле теплившееся на протяжении двух столетий где-то в сокровенных глубинах русских монастырей да в душах отдельных искателей святоотеческой Истины, обрело вдруг мощный ум и сильный, по-юношески задорный голос. На заре новой культурной эпохи он ясно и четко сформулировал всё то, чем жило это сознание на протяжении всего Средневековья, и представил духовные откровения православия, дополнив их новейшим духовным опытом, человечеству нарождающейся научно-технической эры на доступном и понятном ему языке. Вслушиваясь в этот голос, который сегодня все громче и настойчивее начинает звучать в России, невольно задаешься вопросом: не есть ли он новый "глас вопиющего в пустыне"?

* * *

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах свящ. Павла Флоренского. М., 1914, с. 585-586.
2. Там же, с. 586.
3. Там же, с. 98.
4. Там же.
5. Там же, с. 98-99.
6. Там же, с. 99.
7. Там же.
8. Там же, с. 666.
9. Там же, с. 99.
10. Там же, с. 7-8.
11. Там же.
12. Подробнее см.: Культура Византии. IV - первая половина VII в. М., 1984, с. 530-532; Культура Византии. Вторая половина VII-XII в. М., 1989, с. 427-428; 450-455; Бычков В. В. Важный аспект ранне-византий-

- ской эстетики. Сборник радова византолошкогo института. Т. XXIII. Белград, 1984, с. 31-47.
13. Столп, с. 321.
 14. Там же.
 15. Там же, с. 326.
 16. Свящ. Павел Флоренский. Собрание сочинений. 1. Статьи по искусству. Под общей редакцией Н. А. Струве. Париж, 1985, с. 60.
 17. Собр. соч., 1, с. 70-71.
 18. Иконостас. - Богословские труды. Сб. 9. М., 1972, с. 88.
 19. Там же, с. 89.
 20. Там же.
 21. Там же.
 22. Там же.
 23. Там же, с. 100.
 24. Для иконопочитателей VII-IX вв. икона Христа являлась главным аргументом в доказательстве истинности Воплощения Господа. См.: Бычков В. В. Теория образа в византийской культуре VII-IX веков. Старобългарска литература, 19. София, 1986, с. 68.
 25. Собр. соч., 1, с. 87.
 26. Там же, с. 88. Эта мысль проходит через всю эстетику Флоренского. В другой работе, например, мы читаем: "Цель художества - преодоление чувственной видимости, натуралистической коры случайного и проявление устойчивого и неизменного, общечеловеческого и общезначимого действительности" (там же, с. 320).
 27. Священник Павел Флоренский. Из богословского наследия. - Богословские труды. Сб. 17. М., 1977, с. 89.
 28. Собр. соч., 1, с. 41-42.
 29. Там же, с. 50.
 30. Там же.
 31. Там же, с. 51.
 32. Там же, с. 52.
 33. Иконостас, с. 96.
 34. Там же, с. 97.
 35. Там же.
 36. Там же.
 37. См.: Собр. соч., 1, с. 85.
 38. Иконостас, с. 133.
 39. Там же, с. 99.
 40. См.: Бычков В. В. Теория образа в византийской культуре, с. 64, 72.
 41. Иконостас, с. 99.
 42. Там же, с. 100.
 43. Там же.

44. Там же, с. 101.
45. Там же, с. 102-103.
46. Там же, с. 123.
47. Там же.
48. Там же, с. 124.
49. Там же, с. 125.
50. Там же, с. 133.
51. Там же, с. 110; ср. также: с. 99.
52. Там же, с. 142.
53. Там же, с. 105.
54. Там же, с. 106.
55. Там же.
56. Там же.
57. Там же, с. 107.
58. Там же, с. 109.



Александра ОРЛОВА

П. И. Чайковский о музыке

К 150-летию со дня рождения композитора

Мысли Петра Ильича Чайковского, отраженные в его обширном литературном наследии, известны лишь узкому кругу специалистов и некоторым любителям музыки. Широкого распространения они не получили, так как сосредоточены в академических, научных изданиях. Имеющиеся же популярные публикации в Советском Союзе подобраны тенденциозно и не отражают истинного лица художника.

Эстетические взгляды Чайковского, разумеется, в первую очередь раскрывает его собственная музыка. Но и не только она. Композитор охотно делился своими мыслями в переписке с близкими ему людьми, в критических статьях и дневниках. Он часто говорил о задачах художника, о тайнах своего мастерства, о роли музыки в жизни человека.

Высказываний Чайковского о музыке и музыкантах много. Ограничусь лишь суждениями, в которых наиболее явственно отражаются художественные взгляды композитора, его отношение к своей профессии, оценка собственного творчества.

Вполне возможно, что современному читателю некоторые мысли Чайковского, в частности, его отношение к отдельным композиторам, покажутся устаревшими и

даже ошибочными. Но чтобы судить о Чайковском-художнике, чтобы понять его эстетику, его идеалы, отразившиеся в музыке, интересно увидеть его таким, каким он был в действительности, без прикрас и умолчаний.

Большинство же мыслей композитора не теряет своего значения и в наши дни.

Приведу лишь несколько примеров.

"Не верьте тем, которые пытаются убедить /.../, что музыкальное творчество есть холодное рассудочное занятие. Только та музыка может тронуть, потрясти и задеть, которая вылилась из глубины взволнованной вдохновением артистической души"¹.

Или:

"Ничего нет бесплоднее, как *искание* оригинальности и самостоятельности. Гениальные творцы никогда об этом не помышляли. Они ищут *красоты*, а уж какая она, оригинальная или заимствованная, это оказывается потом" (X, 203).

А вот высказывания о роли музыки в жизни человека.

"...она <музыка> *откровение*. И в этом именно ее победоносная сила, что она открывает нам недоступные ни в какой другой сфере элементы *красоты*, созерцание которых /.../ навсегда мирит нас с жизнью. Она просветляет и радует. Уловить и проследить процесс музыкального наслаждения очень трудно, но с *опьянением* оно не имеет ничего общего" (VI, 289).

Композитор не раз говорил, как важна музыка в жизни людей. И когда он создавал свои произведения, в поле его зрения прежде всего был человек, его духовные потребности. Он утверждал:

"Ни музыка, ни литература, ни какое бы то ни было искусство, в настоящем смысле этого слова, не существуют для простой забавы; они отвечают гораздо более глубоким потребностям человеческого общества,

нежели обыкновенная жажда развлечения и легких удовольствий”².

Этому не противоречат следующие слова:

”Я вообще не понимаю, чтоб можно было преднамеренно писать для толпы или для избранников; по-моему, нужно писать, повинуваясь своему непосредственному влечению, нисколько не думая угодить той или другой части человечества” (VI, 170).

В другом месте Чайковский говорит о задачах, стоящих перед ним, как и перед другими композиторами.

”Есть нечто неудержимое, влекущее всех композиторов к опере: это то, что только она дает вам средство общаться с *массами* публики. Мой ”Манфред” будет сыгран раз, другой и надолго скроется, и никто, кроме горстки знатоков, посещающих симфонические концерты, не узнает его. Тогда как опера, и именно только опера, сближает вас с людьми, роднит вашу музыку с настоящей публикой, делает вас достоянием не только отдельных маленьких кружков, но, при благоприятных условиях, всего народа. Я думаю, что в этом стремлении нет ничего предосудительного, т. е. не тщеславие руководило Шуманом, когда он писал ”Генофеву”, или Бетховеном, когда он сочинял своего ”Фиделио”, а естественное побуждение расширить круг своих слушателей, действовать на сердца по возможности бóльшего числа людей. Не следует только при этом гоняться за внешними эффектами, а выбирать сюжеты, имеющие художественную цену, интересующие и задевающие за живое” (XII, 159-160).

Уже из этих высказываний Чайковского вырисовывается образ художника. Но в них он поднимает принципиальные вопросы, лишь косвенно упоминая о себе.

Посмотрим же, как он говорит о себе самом.

Вся жизнь Чайковского пронизана музыкой. Вот как вспоминает он о той поре, когда впервые ощутил свое призвание.

"Мои склонности к музыке проявились в 4 года /.../ Я начал сочинять с тех пор, как узнал музыку" (XIII, 244).

"Музыка "Дон Жуана" <Моцарта> была первой музыкой, произведшей на меня потрясающее впечатление. Через нее я проник в тот мир художественной красоты, где витают только величайшие гении. Тем, что я посвятил свою жизнь музыке, я обязан Моцарту" (VII, 181).

И еще:

"Мне кажется, что испытанные в годы юности художественные восторги оставляют след на всю жизнь и имеют огромное значение /.../ я объясняю /.../ <этим> то, что из всех существующих опер после "Дон Жуана" я наиболее люблю "Жизнь за царя" <Глинки>, именно "Жизнь за царя", а не "Руслана!" (МС, 368).

Он не переставал повторять в разные годы:

"Как я благодарен обстоятельствам моей жизни и музыкальной карьеры, которым я обязан тем, что Моцарт для меня ни на волос не утратил своей безыскусственной обаятельной прелести. Что за чудные ощущения я испытываю, когда погружаюсь в его музыку! Это не имеет ничего общего с теми музыкальными восторгами, которые причиняют Бетховен, Шуман, Шопен и вообще бетховенская и послебетховенская музыка. Последняя нас тревожит, волнует, восхищает, но не ласкает, не убаюкивает, как музыка Моцарта. Играя и читая Моцарта, я чувствую себя моложе, бодрее, почти юношей!" (IX, 255).

Теме "Моцарт и я" посвящены многие высказывания Чайковского. Вот еще одно:

"Вы говорите, - писал композитор своему другу

Надежде Филаретовне фон Мекк, - что мой культ Моцарта есть противоречие с моей музыкальной натурой. Но, может быть, именно оттого, что в качестве человека своего века я надломлен, нравственно болезнен, я так люблю искать в музыке Моцарта, по большей части служащей выражением жизненных радостей, испытываемых здоровой, цельной, не *разъедаемой рефлексом* натурой, успокоения и утешения. Вообще мне кажется, что в душе художника его творческая способность совершенно независима от его симпатий к тому или иному мастеру. Можно любить, например, Бетховена, а по натуре быть более близким к Мендельсону /.../ Отсутствие родства натур между двумя художественными индивидуумами не исключает их взаимной симпатии" (VII, 213).

Став на путь музыканта-профессионала, неустанно работая, достигнув известности, Чайковский писал:

"...неужели /.../ без труда и усилия что-нибудь дается? /.../ Иные вещи требуют кусания ногтей, выкуривания громадного количества папирос, прохаживания себя по комнате, прежде чем дойдешь до *изобретения* основного мотива. Иногда, напротив, пишется ужасно легко; мысли так и копошатся, и одна гонит другую. Все зависит от известной настроенности и расположения духа. Но даже когда их нет, нужно уметь заставить себя работать. Иначе никогда ничего не выйдет" (V, 388).

Труд, труд и еще раз труд - излюбленная тема писем Чайковского. Он не устает твердить о дисциплине художника.

"Нет никакого сомнения, что даже и величайшие музыкальные гении работали иногда не согреты вдохновением. Это такой гость, который не всегда является на первый зов. Между тем *работать* нужно всегда, и настоящий, честный артист не может сидеть сложа руки под предлогом, что он не расположен. Если

ждать расположения и не пытаться идти навстречу к нему, то легко впасть в *лень* и *апатию*. Нужно терпеть и верить, что вдохновение неминуемо явится тому, кто сумел победить свое *нерасположение*. Я думаю, что вы не заподозрите меня в самохвальстве, если я скажу, что со мной очень редко случаются те *нерасположения*, о которых я говорил выше. Я это приписываю тому, что одарен терпением и приучил себя побеждать себя. Я счастлив, что не пошел по стопам моих русских собратьев, которые, страдая недоверием к себе и отсутствием выдержки, при малейшем затруднении предпочитают отдыхать и откладывать” (VII, 154-155).

И еще:

”Насчет *ремесленного* отношения к делу в сфере художества. С тех пор, как я начал писать, я поставил себе задачей быть в своем деле тем, чем были в этом деле величайшие музыкальные мастера: Моцарт, Бетховен, Шуберт, т. е. не то, чтобы быть столь же великим, как они, а быть так же, как они, сочинителями на манер *сапожников*, а не на манер *бар*, каковым был у нас Глинка, гения коего, впрочем, я и не думаю отрицать. Моцарт, Бетховен, Шуберт, Мендельсон, Шуман сочиняли свои бессмертные творения совершенно так, как сапожник шьет свои сапоги, т. е. изо дня в день и, по большей части, *по заказу*. В результате вышло нечто колоссальное. Будь Глинка сапожник, а не барин, у него вместо двух (правда, превосходных) опер, было бы их написано пятнадцать, да в придачу к ним штук десять симфоний. Я готов плакать от досады, когда думаю о том, что бы нам дал Глинка, родись он не в барской среде доэмансипационного времени. Ведь он только показал, *что* он может сделать, а не сделал и двадцатой доли того, что мог /.../ Но будучи бесповоротно убежден, что музыкант, если он хочет дорасти до той высоты, на которую по размерам своего дарования может рассчитывать, должен воспитать в себе

ремесленника, я вовсе не думаю, чтобы и в других сферах искусства это было нужно" (XV-б, 148-149).

*

Часто и много Чайковский говорит о своем творчестве.

"Авторство приносит самые лучшие моменты земного счастья, - но ценою больших неприятностей и многих страданий. Говорю это по опыту", - признавался композитор (X, 14).

"Не мне, конечно, определять достоинства моих писаний, но могу, положа руку на сердце, сказать, что они все (за немногими исключениями) пережиты и прочувствованы мной и исходят непосредственно из моей души" (IX, 305).

И еще на ту же тему:

"Мне кажется, что я действительно одарен свойством *правдиво, искренно и просто* выражать музыкой те чувства, настроения и образы, на которые наводит текст. В этом смысле я реалист и коренной русский человек" (XVI-а, 17).

О своих художественных принципах Чайковский много и подробно говорит в связи с созданием оперы "Евгений Онегин". Эти высказывания могут послужить ключом к раскрытию тайн творчества композитора.

Надо отметить, что друзья и близкие всячески отговаривали Чайковского от сочинения оперы на сюжет пушкинского романа в стихах. А композитор не уставал отстаивать правильность своего выбора.

"Очень может быть, что вы правы, говоря, что моя опера не сценична. Но /.../ мне на несценичность плевать /.../ Я написал эту оперу потому, что в один прекрасный день мне с невыразимой силой захотелось положить на музыку все, что в "Онегине" просится на

музыку. Я это сделал как мог. Я работал с неопи-
санным увлечением и наслаждением, мало заботясь о
том, есть ли движение, эффекты. Если вы находите это,
например, в какой-нибудь "Аиде", то /.../ ни за какие
богатства в мире я не мог бы /.../ написать оперу с
подобным сюжетом, ибо мне нужны люди, а не куклы; я
охотно примусь за всякую оперу, где хотя и без
сильных и неожиданных эффектов, но существа, подоб-
ные мне, испытывают ощущения, мною тоже испытывае-
мые и понимаемые. Ощущений египетской принцессы,
фараона, какого-то бешеного нубийца я не знаю, не
понимаю. Какой-то инстинкт подсказывает мне, что
эти люди должны были двигаться, говорить, а следова-
тельно, и выражать свои чувства совсем как-то осо-
бенно, не так, как мы. Поэтому моя музыка, пропитан-
ная, помимо моей воли, шуманизмом, вагнеризмом,
шопенизмом, глинкализмом, берлиозизмом и всякими
другими *измами*, будет вязаться с действующими ли-
цами "Аиды", как изящные, галантерейные речи ге-
роев Расина, говорящих друг с другом на *вы*, вяжутся
с представлениями о настоящем Оресте, настоящей
Андромаше и т. д. Это будет *ложь*. И эта-то ложь
мне противна" (VII, 21).

В противовес "Аиде" Чайковский приводит как об-
разец "Кармен" Бизе, говоря о ней, что это "одна
из прелестнейших опер нашего времени" (там же). И
продолжает:

"Вы спросите, да чего же мне нужно? Извольте,
скажу! Мне нужно, чтобы не было царей, цариц, народ-
ных бунтов, битв, маршей, словом, всего того, что
составляет атрибут *grand opéra*. Я ищу интимной, но
сильной драмы, основанной на конфликте положений,
мною испытанных или виденных, могущих задеть меня
за живое. Я не прочь и от фантастического элемента,
ибо тут нечем стесняться и простору фантазии нет
границ. Ну, словом, Аида так далека от меня, я так

мало трогаюсь ее несчастной любовью к Радамесу, которого тоже не могу себе представить, - что моя музыка не будет прочувствована, как того требует всякая хорошая музыка" (VII, 22).

(Замечу в скобках, что "Евгений Онегин" стал самой популярной и любимой оперой и не только среди произведений Чайковского. А сам композитор после создания этой оперы написал "Орлеанскую деву", в которой есть и король, и торжественный марш, и иные атрибуты именно так называемой "большой оперы". Но при этом сколько простой человечности внес композитор в этот героический сюжет! И в образе Орлеанской девственницы, в характерах короля и его приближенных проявляются живые чувства обыкновенных людей.)

Очень интересно освещает Чайковский самый процесс создания своих произведений.

"Прежде всего я должен сделать очень важное для разъяснения процесса сочинения подразделение моих работ на два вида: 1) сочинения, которые я пишу по собственной инициативе, вследствие непосредственного влечения и неотразимой внутренней потребности; 2) сочинения, которые я пишу вследствие внешнего толчка, по просьбе друга или издателя, *по заказу* [...]. Спешу оговориться [...]. Качество сочинения не находится в зависимости от принадлежности к тому или иному отделу. Очень часто случалось, что вещь, принадлежащая ко второму разряду, несмотря на то, что первоначальный толчок к ее появлению на свет получался извне, выходила вполне удачной, и, наоборот, вещь, задуманная мной самим, вследствие побочных обстоятельств удавалась менее. Эти побочные обстоятельства, от которых зависит то состояние духа, в котором пишется сочинение, имеют громадное значение. Для артиста в момент творчества необходимо полное спокойствие. В этом смысле художественное творчество всегда *объективно*, даже и музыкальное. Те, которые

думают, что творящий художник в момент *аффектов* способен посредством своего искусства выразить то, что он чувствует, ошибаются. И печальные и радостные чувства выражаются всегда так сказать *ретроспективно*. Не имея особенных причин радоваться, я могу проникнуться веселым творческим настроением и, наоборот, среди счастливой обстановки произвести вещь, проникнутую самыми мрачными и безнадежными ощущениями. Словом, артист живет двойною жизнью: общечеловеческою и артистическою, причем обе эти жизни текут иногда не вместе /.../ Для сочинений, принадлежащих к первому разряду, не требуется никакого, хотя бы малейшего, усилия воли. Остается повиноваться внутреннему голосу, и если первая из двух жизней не подавляет своими грустными случайностями вторую, художническую, то работа идет с совершенно непостижимою легкостью. Забываешь все, душа трепещет от какого-то совершенно непостижимого и невыразимо сладкого волнения, решительно не успеваешь следовать за ее порывом *куда-то*, время проходит буквально незаметно. В этом состоянии есть что-то *сомнамбулическое* /.../ Рассказать эти минуты нет никакой возможности. То, что выходит из-под пера или просто укладывается в голове (ибо очень часто подобные минуты являются в такой обстановке, когда писать и думать нечего), в этом состоянии всегда *хорошо* /.../ Для сочинения второго разряда иногда приходится себя *настраивать* /.../ Иногда вдохновение ускользает, не дается. Но я считаю *долгом* для артиста никогда не поддаваться, ибо *лень* очень сильна в людях /.../ Вдохновение - это такая гостья, которая не любит посещать ленивых /.../ Я пишу или по внутреннему побуждению, окрыляемый высшей и не поддающейся анализу силой вдохновения, или же просто *работаю*, призывая эту силу /.../ Мой призыв к вдохновению никогда почти не бывает тщетным /.../ Таким образом,

находясь в нормальном состоянии духа, я могу сказать, что сочиняю всегда, в каждую минуту дня при всякой обстановке. Иногда я с любопытством наблюдаю за той непрерывной работой, которая сама собой, независимо от предмета разговора, который я веду, от людей, с которыми нахожусь, происходит в той области головы моей, которая отдана музыке. Иногда это бывает какая-то подготовительная работа, т. е. отделяются подробности /.../ в другой раз является совершенно новая, самостоятельная музыкальная мысль, и стараешься удержать ее в памяти. Пишу я свои эскизы на первом попавшемся листе /.../ весьма сокращенно. Мелодия никогда не может явиться в мысли иначе, как с гармонией вместе /.../ музыкальная мысль является окрашенной уже той или другой инструментовкой. Иногда же при инструментации изменяется первоначальное намерение /.../ Этот период работы /.../ чрезвычайно приятен, интересен, подчас доставляет совершенно неописанные наслаждения, но вместе с тем сопровождается беспокойством, какою-то нервной возбужденностью. Сон при этом плох; про еду иногда все забываешь. Зато приведение проекта в исполнение совершается очень мирно и покойно. Инструментировать уже вполне созревшее сочинение очень весело" (VII, 413-317).

Далее Чайковский разъяснил:

"Говоря о процессе сочинения, я недостаточно ясно выразился насчет того фазиса работы, когда эскиз приводится в исполнение. Фазис этот имеет капитальное значение. То, что написано сгоряча, должно быть потом проверено критически, исправлено, дополнено и в особенности сокращено ввиду требований формы /.../ Это не только переписка <с эскиза>, но обстоятельное, критическое рассмотрение проектированного, сопряженное с исправлениями, изредка дополнениями и весьма часто сокращениями" (VII, 320-321).

Интересные мысли о себе Чайковский часто высказывал в спорах со своим другом, в прошлом учеником - композитором Сергеем Ивановичем Танеевым. Так, работая над Всенощной, Чайковский писал, что не считает для себя возможным следовать советам Танеева имитировать старинную музыку:

"...могу ли я, по свойствам своей музыкальной организации, заниматься подобным делом? Да если б и занялся, то ничего бы, кроме сухих звукосочетаний, из сего бы не вышло. Ведь чтобы писать так, как Палестрина³, и достигнуть того, что он достигнул, нужно быть человеком его века; нужно носить в сердце теплую, наивную веру, нужно забыть весь яд, которым отравлена больная музыка нашего времени! Невозможно это! Я более, чем кто-либо, заражен этим ядом!" (X, 203).

Спорили они и о программной музыке. Критикуя Четвертую симфонию Чайковского, Танеев заметил, что эта симфония имеет программу. Чайковский ответил:

"...я с этим вполне согласен. Я не вижу только, почему вы считаете это недостатком. Я боюсь противоположного, т. е. я не хотел бы, чтоб из-под моего пера являлись симфонические произведения, ничего не выражающие и состоящие из одной пустой игры в аккорды, ритмы и модуляции /.../ Но не этим ли и должна быть симфония, т. е. самая лирическая из всех музыкальных форм? Не должна ли она выражать то, для чего нет слов, но что просится из души и что хочет быть высказано?" (VII, 200).

В процессе работы над каждым новым сочинением (исключения бывали очень редки) Чайковский увлекался им, считая лучшим из всего до тех пор написанного. Для композитора типичны такие признания:

"Кажется, это /.../ лучше всего, что я написал" (V, 208).

Или:

”Симфония, которую я доканчиваю, до такой степени поглотила меня, что я не в состоянии приняться ни за что другое /.../ Мне кажется, что это мое лучшее произведение в отношении законченности формы” (V, 287-288).

(Речь идет о Второй симфонии, которую через несколько лет композитор кардинально переделал.)

А потом наступало разочарование. Исключения крайне редки. Из крупных вещей композитор неизменно ценил и любил оперы ”Евгений Онегин” и ”Пиковая дама”, Четвертую и Шестую симфонии (впрочем, о последней можно говорить предположительно, т. к. через несколько дней после ее исполнения Чайковский скончался).

Но основное его чувство, постоянно его мучившее, - неудовлетворенность собой.

”...не могу сказать про себя, что хоть одна из моих вещей есть безусловное совершенство. Хоть бы самая маленькая! Во всякой я вижу все-таки не то, что я могу сделать. А может быть, это и хорошо! Может быть, это и есть стимул к деятельности. Кто знает? Не потеряю ли я энергию к работе, когда, наконец, останусь безусловно доволен собою” (VII, 501).

Эта вечная неудовлетворенность преследует Чайковского всю жизнь. Характерна запись в дневнике накануне дня его рождения:

”Сейчас стукнет 44 года. Как много прожито и, по правде, без ложной скромности, как мало сделано! Даже в моем настоящем деле; ведь положи руку на сердце, ничего совершенного, образцового нет. Все еще ищущу, колеблюсь, шатаюсь”⁴.

(Напоминаю: к тому времени, кроме прочих произведений, были созданы: ”Евгений Онегин”, Четвертая симфония, увертюры-фантазии ”Ромео и Джульетта” и ”Франческа да Римини”, Фортепианное трио, Скрипичный и Первый фортепианный концерты.)

Лейтмотив его жизни:

"...до последнего моего издыхания я буду, должно быть, только стремиться к мастерству и никогда его не достигну" (VIII, 138-139).

А вот конкретный случай беспощадного суда над своим новым произведением: 6 ноября 1891 года в Москве Чайковский дирижировал новой симфонической балладой "Воевода". А после этого неудовлетворенный автор уничтожил партитуру (к счастью, сохранились оркестровые голоса и после смерти композитора партитура "Воеводы" была восстановлена). Вот как он объяснил свой поступок:

"...я нисколько не раскаиваюсь, ибо глубоко убежден, что это сочинение, компрометирующее меня. Будь я неопытный юноша - другое дело, но убеленному сединами старцу (ему был 51 год! - А. О.) следует идти вперед (даже и это возможно, ибо, например, Верди продолжает развиваться, а ему под восемьдесят) или же стоять на высоте, прежде достигнутой. Если и впредь случится такая же штука - опять раздеру на клочки, а то и совсем брошу писать. Ни за что в мире не хочу, как Антон Григорьевич <Рубинштейн>, марать бумагу, когда уже давно все выдохлось" (XVI-а, 276).

Зато какой радостью было для него, если спустя длительное время он не разочаровывался, а оставался доволен своим творением. Просматривая перед печатанием оркестровых голосов Четвертую симфонию, композитор удовлетворенно заметил:

"Для меня было большим и очень приятным сюрпризом, что я, оказывается, не только не охладел к ней /.../, но, напротив, проникся к этому своему чаду очень сильной и живой симпатией" (XIV, 435).

Вся жизнь его заключалась в музыке. В творчестве он видел весь смысл своего существования.

"Я буквально не могу жить, не работая" (XIV, 552).

Только во время путешествия он не писал (хотя, как уже говорилось, сочинял всегда, даже разговаривая с людьми). Сколько раз пытался отдохнуть от работы - и ничего из этого не выходило. Вот его собственное признание:

"Как непрочны всегда бывают все мои предположения посвятить себя продолжительное время отдыху! Едва я начал проводить ряд совершенно праздных дней, как почувствовал какое-то неопределенное состояние тоски и даже нездоровья /.../ Не выдержал и немножко позаялся /.../ - и что ж? Тотчас очутился здоровым и бодрым, и покойным. Оказывается, что за исключением путешествия, я не в состоянии и двух дней прожить без дела" (IX, 262).

И в другой раз:

"На меня вдруг совершенно неожиданно напала хандра, да такая, что целый день не мог ее рассеять /.../ скоро открыл причину ее. Я сообразил, что просто нужно начать работать" (VII, 112).

Как правило, работа у Чайковского шла легко и вдохновенно. Это особенно видно при создании "Пиковой дамы". Процесс рождения этой оперы можно подробно проследить не только по автографам эскизов, по письмам композитора, но и по его дневнику, где зафиксирован каждый день работы над оперой. Позже Чайковский признавался:

"Я писал ее с небывалой горячностью и увлечением, живо перестрадал и перечувствовал все происходящее в ней (даже до того, что одно время боялся призрака Пиковой дамы), и надеюсь, что все мои авторские восторги, волнения и увлечения отзовутся в сердцах отзывчивых слушателей" (XV-б, 237).

И шутливо замечал:

"Мне кажется, что история всего мира разделяется на два периода. Первый период - все, что произошло от

сотворения мира до сотворения "Пиковой дамы". Второй период начался /.../ когда "Пиковая дама" сотворена" (XV-б, 114).

А ведь в применении к истории оперного искусства Чайковский оказался недалек от истины!

После создания этой оперы он как бы резюмирует свое отношение к оперному жанру. Отвечая на вопрос С. И. Танеева: "...как следует писать оперы?", - Чайковский написал:

"Вопрос о том, *как следует писать оперы*, я всегда разрешал, разрешаю и буду разрешать чрезвычайно просто. Их следует писать (впрочем, точно так же, как и все остальное) так, *как Бог на душу положит*. Я всегда стремился как можно *правдивее, искреннее* выразить музыкой то, что имелось в тексте. *Правдивость* же и *искренность* не /.../ результат умствований, а непосредственный продукт внутреннего чувства /.../ Итак /.../ принявшись за сочинение оперы, я давал полную волю своему чувству, не прибегая ни к рецепту Вагнера, ни к подражанию классическим образцам, ни к стремлению быть оригинальным. При этом я нисколько не препятствовал веяниям духа времени влиять на меня. Я сознаю, что не будь Вагнера, я бы писал иначе; допускаю даже, что и *кучкизм*⁵ сказался в моих оперных писаниях; вероятно, и итальянская музыка, которую я страстно любил в детстве, и Глинка, которого я обожал в юности, сильно действовали на меня, не говоря уже про Моцарта. Но я никогда не призывал ни того, ни другого из этих миров, а предоставлял им распоряжаться моим музыкальным нутром, как им угодно /.../ все это делалось само собою, и если я в чем уверен, так это в том, что в своих писаниях я являюсь таким, каким меня создал Бог и сделали воспитание, обстоятельства, свойства того века и той страны, в коей я живу и

действую. Я не изменил себе ни разу. А каков я, хорош или дурен, - пусть судят другие" (XVI-а, 29).

Характерна история создания Шестой симфонии. Вначале Чайковский сочинил симфонию, которая, однако, не удовлетворила автора. Вот что он рассказал:

"Просмотрел я внимательно и, так сказать, отнесся объективно к новой своей симфонии, которую, к счастью, не сумел инструментировать и пустить в ход. Впечатление самое для нее нелестное /.../ ничего сколько-нибудь интересного и симпатичного в ней нет /.../ Что же мне остается делать? Махнуть рукой и забыть о сочинительстве? Очень трудно решиться. И вот я думаю, думаю и не знаю, на чем остановиться. Во всяком случае, невеселые провел я эти три дня" (XVI-б, 208).

Письмо написано в Берлине, в самом начале концертной поездки Чайковского (он выступал как дирижер). И вот что произошло дальше. В промежутке между концертами композитор два дня провел в городке Монбельяр. Поехал он туда со специальной целью - повидать старую свою гувернантку, которую не видел сорок четыре года. После разговоров о прошлом и воспоминаний с ней о любимой матери, смерть которой всю жизнь мучила Чайковского, он был в состоянии глубокого потрясения. Мысли о матери, о детских годах, о прошедшей жизни завладели им целиком. И вот тут-то созрел новый замысел.

"Во время путешествия у меня явилась мысль другой симфонии, на этот раз программной, но с такой программой, которая останется для всех загадкой, пусть догадываются /.../ Программа эта самая, что ни на есть проникнутая субъективностью, и нередко во время странствования, мысленно сочиняя ее, я очень плакал" (XVII, 42-43).

И лишь когда симфония была завершена, он однажды намекнул на главное ее содержание:

"...последняя моя симфония /.../ проникнута настроением, очень близким к тому, которого преисполнен и Реквием" (XVII, 193).

А в процессе работы над симфонией Чайковский писал:

"Кажется, что у меня выходит лучшее из всех сочинений" (XVII, 42).

И утверждал до последней минуты:

"Я положительно считаю ее наилучшей и в особенности *наискреннейшей* из всех моих вещей. Я ее люблю, как никогда не любил ни одно из других моих музыкальных чад" (XVII, 155).

Мне кажется, что проживи Чайковский еще много лет, он не переменил бы своего мнения об этом произведении.

*

Выше приводились слова Чайковского о том, что он обладает железным характером, когда дело касается работы, и заставляет себя упорно трудиться, чтобы вызвать творческое настроение. Говорилось и о том, как он сетует, что Глинка не приучил себя к систематическому труду, так как был воспитан в иной среде и в иную эпоху.

Мысли о творческой работе и о долге художника Чайковский высказывал неоднократно. И здесь уместно привести его мнение о некоторых композиторах. В этих высказываниях - не просто оценка тех или иных авторов, а как бы взгляд на них через призму собственного "я".

Читатель, вероятно, уже заметил, что среди русских композиторов выше всех Чайковский ставил М. И. Глинку - своего великого предшественника, основоположника отечественной классической музыки. Но при этом необходимо иметь в виду, что Чайковский судил

о Глинке не с позиций нашего времени, когда литература об этом композиторе обогатилась архивными находками, когда опубликованы письма Глинки (Чайковскому неизвестные) и стал возможным более широкий и объективный подход к творчеству и личности "отца русской музыки" (Шостакович). В оценке Глинки Чайковский находился на уровне воззрений своего времени.

Вот что говорил он об авторе "Жизни за царя" и "Руслана и Людмилы":

"Какое исключительное явление Глинка! Когда читаешь его мемуары, обнаруживаешь в нем человека доброго и милого, но пустого и даже пошлого, когда проигрываешь его мелкие пьесы, - никак нельзя поверить, что то и другое написано тем же человеком, который создал, например, *архигениальное, стоящее наряду с высочайшими проявлениями творческого духа великих гениев "Славься!"*⁶. А сколько других удивительных красот в его операх, увертюрах! Какая поразительная оригинальная вещь "Камаринская", из которой все русские позднейшие композиторы (и я, конечно, в том числе) до сих пор черпают самым явным образом контрапунктические и гармонические комбинации, как только им приходится обрабатывать русскую тему плясового характера /.../ Глинка сумел в небольшом произведении сконцентрировать все, что целые десятки второстепенных талантов могут *выдумать и высидеть* ценою сильного напряжения" (IX, 176-177).

О Глинке сохранилась обширная запись в дневнике Чайковского, в основном повторяющая только что приведенные строки. Кроме того, там сказано, что создав "Славься!", "Глинка вдруг одним шагом стал наряду (да! наряду!) с Моцартом, с Бетховеном и с кем угодно" (Д, 214). Но при этом Чайковский резко отзывается о камерных произведениях Глинки и его романсах, прояв-

ляя типичную для его времени оценку музыки 20-30-х годов XIX века.

Резко отрицательное отношение вызывали у Чайковского композиторы Могучей кучки, которых он считал дилетантами. Настоящим профессионалом он признавал лишь Римского-Корсакова. Среди писем Чайковского имеется одно, где поименно оценивается каждый из них. Письмо это заканчивается следующими словами:

"Какое грустное явление! Сколько дарований, от которых, за исключением Корсакова, трудно ожидать что-нибудь серьезного! /.../ Мусоргский и в своем безобразии говорит языком новым. Оно некрасиво, да свежо. И вот почему можно ожидать, что Россия когда-нибудь даст целую плеяду сильных талантов, которые укажут новые пути для искусства. Наше безобразие все-таки лучше, чем жалкое бессилие, замаскированное в серьезное творчество" (VI, 331).

(В последней фразе явно ощущается намек на творчество И. Брамса, которого Чайковский не признавал; по мнению самого Чайковского Брамс платил ему тем же.)

Справедливость требует упомянуть, что композиторы Могучей кучки также отрицательно относились к Чайковскому. Столкнулись различные эстетические взгляды. "Кучкисты" считали, что в музыке Чайковского отсутствует русский элемент, находили, что он эклектик. А Мусоргский издевательски называл Чайковского "поклонником красоты" - и только.

В то время, как многие композиторы увлекались новаторскими идеями Рихарда Вагнера - создателя музыкальной драмы, - Чайковский принципиально не принимал оперной реформы немецкого композитора. Отдавая дань гениальности Вагнера, позицию его он находил неприемлемой.

"Вагнер, несмотря на свой громадный творческий дар /.../ принес искусству вообще и опере в особен-

ности лишь отрицательные заслуги. Он научил нас, что прежние рутинные формы оперной музыки не имеют ни эстетических, ни логических *raison d'être*. Но если нельзя писать оперы, как прежде, то следует ли их писать, как Вагнер? Отвечаю решительно: *нет*. Заставить нас 4 часа сряду слушать бесконечную симфонию, богатую роскошными оркестровыми красотами, но бедную ясно и просто изложенными мыслями; заставить певцов 4 часа сряду петь не самостоятельные мелодии, а прилаженные к симфонии нотки, причем нередко нотки эти, хотя и высокие, совершенно заглушаются громами оркестра - это уж, конечно, не тот идеал, к которому современным авторам следует стремиться /.../ его знаменитая оперная реформа /.../ равняется нулю. Что касается драматического интереса его опер, то я признаю всех их очень ничтожными и подчас ребячески наивными" (XI, 304).

Принципиально важное значение (не говоря о том эстетическом наслаждении, которое она ему доставляла) Чайковский придавал опере "Кармен". По мнению русского композитора, именно "Кармен" отвечала на вопрос, какой должна быть современная опера.

"...*"Carмен"* /.../ в полном смысле *chef d'oeuvre*, т. е. одна из тех немногих вещей, которым суждено отразить в сильнейшей степени музыкальные стремления целой эпохи. Мне кажется, что переживаемая нами эпоха отличается от предыдущих той характеристической чертой, что композиторы гоняются (*во-1-х, они гоняются*, чего не делали ни Моцарт, ни Бетховен, ни Шуберт, ни Шуман) за *хорошенькими и пикантными эффектами*. Что такое так называемая *новая русская школа*, как не культ разных пряных гармонизаций, оригинальных оркестровых комбинаций и всякого рода чисто внешних эффектов /.../ Прежде *сочиняли, творили*, теперь (за очень немногими исключениями) *подбирают, изобретают*. Такой процесс музыкального измышления, разумеется,

чисто рассудочный, и поэтому современная музыка, будучи очень остроумна, пикантна и курьезна - холодна, не согрета чувством. И вот является француз, у которого все эти пикантности и пряности являются не результатом выдуманности, а льются потоком, льстят слуху, но в то же время трогают и волнуют. /.../ Это обаятельно, прелестно от начала до конца; пикантных гармоний, совершенно новых звуковых комбинаций - множество, но все это не исключительная цель; Bizet - художник, отдающий дань веку и современности, но согретый истинным вдохновением. И что за чудный сюжет /.../ Я уверен, что лет через десять "Carmen" будет самой популярной оперой в мире (IX, 196-197).

Пути развития русского и европейского музыкального искусства, взаимное проникновение музыкальных культур разных стран всегда интересовали Чайковского.

"По-моему, европейская музыка есть сокровищница, в которую всякая национальность вносит что-то свое на пользу общую. Каждый западноевропейский композитор - прежде всего или француз, или немец, или итальянец и т. д., а потом уже европеец. В Глинке национальность сказалась ровнехонько настолько же, насколько и в Бетховене, и в Верди, и в Гуно; и если в моих сочинениях вы слышите русские отголоски, то я в сочинениях Massenet и Bizet на каждом шагу обоняю специфический французский запах. Пусть нашему зерну суждено дать роскошное дерево, характеристически отделяющееся от своих соседей, - тем лучше; мне приятно думать, что оно не будет так тщедушно, как английское, так хило и бесцветно, как испанское, а, напротив, сравнится по высоте с немецким, итальянским, французским. Но как бы ни старались, из европейского сада мы не уйдем, ибо наше зерно волею судеб попало на почву, возделанную прежде нас ев-

ропейцами; корни оно пустило там уже достаточно давно и глубоко, и теперь уже у нас не хватит сил его оттуда вырвать. Вообще желаю от души, чтобы наша музыка была сама по себе и чтобы русские песни внесли в музыку *новую струю*, как это сделали другие народные песни в свое время" (IX, 239-240).

Эти слова Чайковского показывают широту его взглядов и свидетельствуют, что размышления о путях музыкального искусства, интерес к прошлому и мысли о будущем никогда его не покидали. Мысли о судьбах музыкальной культуры и о своем месте в ней сопутствовали ему всю жизнь. Композитору принадлежат пророческие слова:

"Моя вера в справедливый суд *будущего* непоколебима. Я заранее, при жизни, вкушаю уже наслаждение той долей славы, которую уделит мне история русского искусства" (VII, 189).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. П. И. Чайковский. Собрание сочинений. Литературные произведения и переписка. М., 1959-1981, том VII, с. 154. (В дальнейшем при цитировании писем сразу в тексте, в скобках римскими цифрами обозначен том и арабскими - страницы.)

2. П. И. Чайковский. Музыкальные статьи. М., 1953, с. 65.

3. Палестрина - Джованни Пьерлуиджи да Палестрина (ок. 1525 - 1594) - итальянский композитор, автор церковной хоровой музыки.

4. Дневники П. И. Чайковского. М., 1923, с. 14 (в дальнейшем: Д, 14).

5. "Кучкизм" - подразумевается направление петербургских композиторов, известное под названием Могучая кучка или Новая русская школа. В эту группу входили: М. А. Балакирев (1836-1910), А. П. Бородин (1833-1887), Ц. А. Кюи (1835-1918), М. П. Мусоргский (1839-1881) и Н. А. Римский-Корсаков (1844-1908).

6. "Славься!" - финальный хор из оперы Глинки "Жизнь за царя".

Петербургский период Георгия Иванова

*Новая книга Вадима Крейда**

Отрадным явлением литературной жизни русского Зарубежья можно считать появление книги Вадима Крейда "Петербургский период Георгия Иванова". Она являет собой лучший образец серьезной литературоведческой работы. Большое внимание к детали сочетается у Крейда с пониманием творчества Г. Иванова в целом, с проникновением в его поэтический мир — от истоков вдохновения до тайн Ремесла. Автор подробно описал развитие ивановской поэзии на фоне множества литературных течений — как родственных, так и противоположных, его поэтические увлечения и разочарования (Кузмин, Северянин) и, наконец, логический путь к акмеизму, — течение, наиболее подходившее к творческому темпераменту этого поэта.

Автор литературоведческих книг и статей, Вадим Крейд также и поэт, и, может быть, именно поэтический дар в сочетании с большой эрудицией, дал ему возможность шире, глубже и даже интереснее представить первый, очень важный период творчества Г. Иванова, длившийся 13 лет — от 1909 до 1922 гг. В книге 14 глав, есть подробные примечания к каждой, библиография и указатель имен. Отдельная глава посвящена сборнику "Сады". По мнению автора, это самая значительная книга "петербургского" Георгия Иванова.

В предисловии Крейд говорит, что "слава первого поэта русского зарубежья" как бы затмила первый период его творчества. Да, многие считали Иванова "первым поэтом" первой эмиграции. Что греха таить? — у каждой эмиграции были и есть свои "первые поэты" (даже во множественном числе). И, конечно же, "титутлы" раздавались не всегда справедливо; например, Цветаева не считалась "первой" — даже у немногочисленных своих почитателей. Известно также, что Ива-

* Вадим Крейд. "Петербургский период Георгия Иванова". Эрмитаж, 1989 г.

нов никогда не "гремел", хотя к "русскому" Парижу вряд ли это слово подходит. Поэт вообще был далек от "гремящей" и "мускулистой" поэзии поздних футуристов, он вообще был далек от всякой "громкой" поэзии, был он далек и от т. н. "московской школы" - к этой теме мы еще вернемся. Более "внутренняя", нежели "внешняя" поэзия Иванова в сущности своей не была направлена на какие-нибудь определенные события или веяния времени, хотя они не могли не отражаться в его стихах. В поэзии Иванова, с ее грустно-ироническим настроением, была "бесцельность" в зайцевском применении этого слова к поэзии: "Нет самого в поэзии важного: бесцельности - оттого шумно и смертно" (Б. Зайцев. "Жуковский", с. 80). Стихи Иванова выпевались как бы сами по себе, а вместе с тем были подчинены единому и в общем довольно суровому закону: взыскательному вкусу поэта, пробудившемуся у него рано. Об этом многократно говорит в своей книге В. Крейд. Вот высказывание Гумилева о молодом поэте: "Первое, что на себя обращает внимание... это стих. Редко у начинающих поэтов он бывает таким утонченным" (с. 32). Т. е. в ивановском стихе было чувство гармонической формы, не допускающее дисгармоничности, - всего преувеличенного, искаженного, включая повышения голоса и других нажимов на педали. В наш довольно громкий век это качество лишило поэта громкой славы, вернее шумной славы, столь опасной для молодых поэтов. Однако же прочно существует "гармония таинственная власть" стихов "негромкого" поэта Георгия Иванова.

Биография его до сих пор еще не написана, а без знания ее многие стихотворения теряют часть смысла, будучи прочитаны "вне времени и пространства". Жизнеописание поэта не входило в замысел книги Вадима Крейда. Но он дает краткие биографические данные об Иванове и бегло говорит о событиях, повлиявших на те или иные стихотворения поэта. Вообще же сведения о жизни Г. Иванова пока еще скудны и неудовлетворительны. Основным источником являются в общем мемуары Ирины Одоевцевой, жены поэта, да разбросанные по всевозможным периодическим изданиям весьма скупые упоминания о нем современников.

Об Иванове было довольно много устных и печатных высказываний, как о человеке со странным характером и странной наружностью. Вот несколько эксцентричное замечание Ахматовой: "Я помню Адамовича в Доме литераторов на Бассейной. Его и Георгия Иванова, которого я терпеть не могла и боялась из-за красных губ и

пробора" (с. 161). А вот и неверное предсказание Мандельштама: "Но я боюсь, что раньше всех умрет / Тот, у кого тревожно-красный рот / И на глаза спадающая челка" (с. 34). В "Краткой литературной энциклопедии", - пишет В. Крейд, - заметка об Иванове состоит из 15 строчек и содержит 15 фактических ошибок. И дальше он пишет: "...человек, о котором было сказано столько уничижительных слов насчет его "аморальности", в самом главном, в неприятии революции как демонической и аморальной стихии, оказался несоизмеримо честнее и бескомпромисснее, чем многие блюстители прописной морали" (с. 79). И: "Своих антисоветских взглядов Г. Иванов не менял никогда - вплоть до конца своей жизни" (с. 164). Автор приводит и слова Юрия Анненкова: "Нарождаются Демьяны Бедные... Другие стараются сохранить свое лицо. Среди этих (немногих) - Георгий Иванов" (с. 79). А вот предречение самого Иванова, - оно, быть может, не столь обнаженное и отчаянное, как некоторые строчки у Блока, но все же, как пронзительно сказано: "На смену этим блеклым позолотам - / Какая ночь настанет навсегда" (с. 63).

То было странное, можно сказать - сюрреалистическое время. Перед "ночью навсегда" кипела, - увлекала, обжигала и отравляла петербургская богемная литературная жизнь, полная новых поисков, взлетов и падений. Трудно было стоять от этого вдалеке. Юный поэт и не пытался уйти от "соблазнов", а наоборот, - "со всем жаром молодости и неопытности отдается он мишурному романтизму петербургской нетрезвой богемы, связанной с эгофутуристами. Именно в этих кругах надо искать источник тех качеств поэзии Г. Иванова, за которые его неоднократно называли «проклятым поэтом»" (с. 23-24).

Здесь мне хотелось бы сказать, что источник "качеств" поэзии Иванова можно искать не только у русских эгофутуристов, но и у французских декадентов. Например, у Бодлера в его недоброй славы книге "Цветы зла". Название первого сборника стихов Иванова "Отплытье на о. Цитеру" с северянинским подзаголовком "Поэзы" могло быть заимствовано не только у созвучного поэту художника А. Ватто, но и у Бодлера. В. Крейд пишет, что распространен был неверный перевод названия картины Ватто: "Отплытие на остров...", вместо "Отплытия с острова...". Г. Иванов будто бы использовал распространенное название. Но он мог заимствовать его и у Бодлера. В "Цветках зла" есть известное стихотворение "Voyage à Cythère", т. е. бодлеровский "вояж" был именно по направлению к

острову, а не от него, как у Ватто. (Крейд упоминает, что Иванов переводил французских поэтов, среди них и Бодлера.) Однако суть даже не в названии сборника, а в тех "качествах" поэзии, за которые его могли называть "проклятым поэтом". Автор "Цветов зла" мог быть довольно влиятельным учителем, мог быть "декадентской отравой" для молодого поэта, жившего среди петербургской нетрезвой (не только в буквальном смысле) литературной богемы накануне всероссийской катастрофы.

Автор прекрасно описывает петербургскую литературную жизнь того времени, ее школы и течения, столь отличные от таковых московских. "Пожалуй, никогда в истории русской литературы пропасть, отделяющая московских и петербургских поэтов, не была столь глубокой, как в начале двадцатых годов... Черты, отличавшие литературную Москву от Петербурга, проявлялись очень постепенно на протяжении 19-го столетия. И только в начале 20-го века черты эти стали настолько контрастными, что лишь с того времени можно говорить о собственно петербургской поэтике. Такие поэты, как Пастернак, Цветаева и даже Маяковский и Есенин, который фактически начал свою литературную карьеру в Петербурге, остался, тем не менее, чужд литературной атмосфере этого города. В письме от 24 июня 1917 г. он писал: «Бог с ними, этими питерскими литераторами... Об их отношении к нам судить нечего, они совсем с нами разные. Им всё нравится подстриженное, ровное и чистое» (с. 97-98). Это необыкновенно интересное замечание Есенина.

Кратковременно Г. Иванов увлекается футуризмом, но "из моего футуризма ничего не вышло" (с. 17). Крейд находит поэтический темперамент поэта противоположным "футуристическому темпераменту". Но он приводит и еще одно важное обстоятельство: "Г. Иванов станет и останется петербургским поэтом: русский же футуризм - преимущественно не петербургское явление" (с. 17). В. Крейд считает, что даже "не блоковский «город мой», но пушкинский «град Петров», блистательный Санкт-Петербург с его имперской традицией и строгой красотой - в этом состоит историческое и эстетическое видение поэта. Кажется, что Иванов никогда не писал более оптимистических и радостных стихов, чем строфы о Петербурге" (с. 50).

Своей дубинкой суковатой
Стуча, проходит Петр, и вслед

В туманной мгле зеленоватой
С придворными Елисавет.

(с. 50)

Или эти строки:

...И сердце радостно трепещет,
И жизнь по-новому светла,
А в бледном небе ясно блещет
Адмиралтейская игла.

(с. 51)

Тема Петербурга осталась в творчестве поэта на протяжении всей его жизни. Этой теме посвящены и все значительные прозаические произведения Иванова. Он был как бы одержим "городом Петра": "В Петербурге, как в фокусе, сосредоточилось российское «все»" (с. 124). Или: "Петербург - идея, остальная Россия только тень Петербурга, только материя, воплотившая идею" (с. 124).

В. Крейд полемизирует с известным калифорнийским славистом Владимиром Марковым, считающим "петербургского" Иванова поэтом не "настоящим". Крейд отвергает и "миф" о двух различных поэтах - Иванове "петербургском" и "парижском". Для него Иванов "петербургский" столь же значителен, как и Иванов парижского периода, - он видит одно целое в обоих периодах творчества поэта и подчеркивает зрелость даже в ранних стихах Иванова.

Тщательно и, можно сказать, вдохновенно автор разбирает характерную манеру выражения поэта - его излюбленные мотивы и образы, типичную для него нелюбовь к названиям стихотворений, его эпитеты, особое отношение к реальности, как к произведению искусства, некое искусственное восприятие окружающего и духовный скептицизм... Подробно он останавливается на сборнике "Сады", изданном в 1921 г. "Если бы Г. Иванов не создал ничего в дополнение к своим шести петербургским книгам, - пишет Крейд в предисловии, - он и в этом случае вошел бы в историю русской литературы как поэт большого дарования, как видный акмеист и, конечно, как автор «Садов»" (с. 5).

В 1922 году Георгий Иванов покинул Россию навсегда, хотя тогда, как и многие, он этого не предчувствовал, - думал, что уезжает ненадолго. Этой датой заканчивается первый - петербургский период творчества поэта, скончавшегося во Франции в 1958 году.

Будем надеяться, что "посвященный читатель", т. е. человек, не только любящий поэзию, но и обладающий достаточным поэтическим вкусом, прочтет внимательно

книгу Вадима Крейда. Она является достойным и прекрасно документированным исследованием раннего периода творчества Г. Иванова, известного поэта "Серебряного века", ставшего в эмиграции по мнению многих "первым поэтом" русского Зарубежья.

Валентина Синкевич

Размышления у разбитого корыта...*

Да, граждане, вот раньше была жизнь! Газеты писали о достижениях, рапортах и великих стройках. Радио — о достижениях, рапортах и великих стройках. ТВ о дорогом Леониде Ильиче и коротко о погоде... Иногда было все же о тех, кто кое-где у нас порой, так сказать, честно жить не хочет, или о тех, кто, значит, клеветает, подрывает и на потребу работает... Но наказание им грядет и неминуемо. А в основном, у нас развитой социализм и новая, значит, социальная общность — единый советский народ...

А как в будущее посмотришь, так дух захватывает. Хочется петь и смеяться, как детям. Откроешь какого-нибудь социального фантаста и читаешь, — "Шоссе взлетело на эстакаду. По обе стороны раскинулся старинный город Джерси-сити, позади виднелись неровными столбиками полуразрушенные нью-йоркские небоскребы — символ свергнутого строя. Вот он, незалеченный след минувшей гражданской войны, последней в истории войн против угнетения!"

Значит, и у них не далее как скоро начнется! Тогда мы к ним в турпоездку на развалины съездим по профсоюзной путевке, если в соцсоревновании победим. Вот так раньше мечталось...

А сейчас? И то не так и это не этак у нас оказы-

* Л. Петрушевская. "Новые Робинзоны" (Хроника конца 20 века). "Новый мир" № 8, 1989 г.

А. Кабаков. "Невозвращенец". "Искусство кино" № 66 1989 г.

вается. И не социализм у нас и даже не развитой, а на вопрос какой, — непечатное слово получается. Ну, а уж об общности советских людей, то как свежую газету раскроешь, а там — "Сейчас не проходит дня и ночи без выстрелов, взрывов мин, поджогов и погромов. Обстреливаются машины, захватываются заложники, перекрываются завалами автомобильные и железные дороги. Местная милиция не пресекает, а молчаливо поощряет, порой даже сама участвует в этих шабашах".

И какие-то, как они сами говорят, "новые люди" с трибун энергично уверяют, что профессора рабочих не поймут и надо "Рабочие фронты" организовывать в противовес другим "фронтам", а еще лучше рабочие отряды для помощи слаборазвитой милиции в ее борьбе с организованной преступностью. И надежда вся, это они говорят, на "афганцев", которые огни и воды прошли, знают, не в пример профессорам, как вести себя в районе боевых действий...

(А названия-то все какие боевые: фронты, отряды, боевики... Приучили нас к борьбе, ну, не можем мы жить без амбразуры, так и рвемся в битву за плюрализм.)

Профессора, они, конечно, пока еще к автоматной стрельбе не приучены. Но с другой стороны, не живут же они в башне из слоновой кости, как пациенты 4-го Управления Минздрава. Они тоже талоны на мыло и колбасу получают и профессорши их по очередям рысачат. Ну, может, какому профессору его друг из заграницы пайком помогает? Друга-то в свое время за клевету и потребу от социализма отлучили. Вот он там, значит, живет в обществе потребления, в стоящих еще небоскребах, о родине скучает и профессору посылки шлет.

Мы в свое время послушали бы этого профессорского друга, но нам с трибун говорили компетентные товарищи, те, которые сейчас говорят, что они "новые", так вот они нас заверяли, что этот друг так врет, так врет... и лучше бы мы план выполняли, а то к празднику Новой Конституции рапортовать не о чем.

Вот такая наша реальная жизнь. А когда такая, если можно так сказать, — жизнь, то неминуемо хочется заглянуть в будущее. Что же нас там всех ожидает? Может, проблеск какой? Слава КПСС, у нас сейчас глазность и что не запрещено, то разрешено...

Новый монолог Людмилы Петрушевской, талантливого драматурга и прозаика, главы "жесткого" направления нашей изящной словесности, называется "Новые Робинзоны". В нем, конечно, никакие разрушенные Нью-Йорки не описываются, и действие происходит в заброшенной

русской деревеньке, где доживают свой век три старухи. В эту деревеньку "в начале всех дел, с грузом набранных продуктов" удаляется семья: мама, папа (бывший турист-альпинист, геолог) и дочь (от лица которой ведется монолог). За бесценок купив дом с участком и расширив его за счет соседских, брошенных, они вскапывают огород, заводятся козами, сажают картошку, из свалывшихся найденных тулупов шьют пимы, рукавицы, подстилки - в общем, начинают вести натуральное хозяйство, консультируясь со справочником садовода-огородника, уповая на свои силы, да на советы и опыт бабки Анисьи.

В районе уже "все было прикрыто, навеки и безнадежно". Деньги заменились - мылом, солью, пакетами супов и консервами. Подготовив дом в деревеньке к зиме, дальновидный отец стал обустривать запасное убежище в лесу... И ходил к нему разными путями, чтобы не горить тропку. Дочь сильно тоскует по своим подругам и друзьям, оставшимся в далеком мире, а отец "был счастлив своей новой судьбой и не вспоминал о городе, в котором оставил много врагов", родителей в квартире с "генеральскими потолками", иногда (берег батареек) слушал радио - "передавалось все очень лживое и невыносимое", и продолжал готовить свое новое логово. И не напрасно...

Когда семья уже переселилась в лес, их деревенский дом был внезапно занят "какой-то хозкомандой", у огорода поставлен часовой. И у бабки Анисьи свели козу, оставив только баночку молока.

"Зима замела снегом все пути к нам, у нас были грибы, ягоды сушеные и вареные, моченые яблоки... даже бочонок соленых огурцов и помидоров. На делянке под снегом укрытый, рос озимый хлеб. Были козы. Были мальчик и девочка для продолжения человеческого рода, конка, была собака, с которой отец надеялся охотиться на зайцев. С ружьем отец охотиться боялся, он боялся даже рубить дрова из-за опасения, что нас засекут по звуку. В глухие метели рубил дрова. У нас была бабушка, кладезь народной мудрости и знаний. Вокруг нас простиралось холодное пространство.

Отец однажды включил приемник и долго шарил эфир. Эфир молчал. То ли сели батареек, то ли мы действительно остались одни на свете. У отца блестели глаза: ему опять удалось бежать!"

Вот такая сельская идиллия вырисовывается. Ну, а в городе?

Ну, а в городе, как свидетельствует Александр Кабаков в киноповести "Невозвращенец", военный переворот

генерала Виктора Панаева, не зря, видно, сельский Робинзон любил повторять "Над всей Испанией безоблачное небо", как в воду глядел, геологоразведчик. И батарейки у него в приемнике точно сели, потому как зимой 1992 года радио еще передавало новости: "Вчера в Кремле начал работу Первый Чрезвычайный Учредительный Съезд Российского Союза Демократических Партий... В качестве гостей на съезд прибыли зарубежные делегации - Христианско-Демократической Партии Закавказья, Социал-Фундаменталистов Туркестана, Конституционной Партии Объединенных Бухарских и Самаркандских Эмиратов, католических радикалов Прибалтийской Федерации, а также Левых коммунистов Сибири (Иркутск)... Вчера в Персидском заливе неопознанные самолеты подвергли очередной ядерной бомбардировке караван мирных судов, принадлежащих США. Корабли шли под нейтральным польским флагом..."

Москва превратилась в зону боевых действий гражданской войны. Без оружия и выходить на улицу не стоит, автомат заменил зонтик. Разруха. Голод. Прокопченные руины. Беженцы из провинции в рваных обноскох спят вповалку в метро... Мясо яка по семьдесят талонов за килограмм (в одни руки 400 г), а сапоги женские, зимние, производство США - по шестьсот талонов. Молебен в соборе за победу православного оружия, перед отправкой полков в Трансильванию... Заложники, еврейские погромы, расстрел бюрократов с семьями... Знаменитая певица, жившая когда-то на улице Горького, снова переименованную в Тверскую, поет для футбольных фанатов, курсирующих на пароме между Англией и Данией. И незабвенные "афганцы" участвуют, правда, одни уже обменяли свои "калашниковы" на "тали" (талоны), но другие продолжают громить оставшиеся еще у некоторых граждан "мерседесы".

Киноповесть, написанная в июне 1988 года, на мой взгляд, уступает прекрасной прозе "Монолога" Петрушевской и представляет собой скорее всего своеобразный литературный клип, в котором тенденции сегодняшней провинциальной жизни доведены до абсурда и перенесены в столицу. Но не откажешь автору в явном предвидении - за год, прошедший от написания до публикации, многое уже воплотилось в явь, вспомните цитату, приведенную мною в начале. И талоны в Москве, в последнем городе, который еще держался, введены с мая 1989 года, пока только на сахар, но талоны на сапоги выдаются на предприятиях уже давно.

Может быть, и "Монолог" Петрушевской - не взгляд в будущее, а просто обыденная реальность наших дней,

может, кто-то "из самых хитрых" уже готовит убежище в лесу. А мы, оптимисты, еще радуемся журналам и обсуждаем заседания Верховного Совета, выставляя очереди за сигаретами с фильтром.

Лучше всего, в психологическом отношении, в нашем "нерушимом союзе" живет пессимистам или "гнупецам" (гносным пессимистам), они ничего хорошего не ждут и, кстати, редко ошибаются. (У "Робинзонов" Петрушевской хотя бы козы и картошка припасены.)

И среди теперешних газетных и журнальных перспектив не видно оптимистических прогнозов, кроме заявлений типа - иного не дано... что заставляет вспомнить пословицу - или грудь в крестах или голова в кустах... Любим мы крайности, граждане.

В этой разногласии мнений, когда все без исключения клянутся в своей приверженности перестройке и клянут тех, кто ей отчаянно сопротивляется, не называя имен, вырисовывается несколько направлений.

Стойкая верность социалистическим идеям с ее неизменным атрибутом - "народным вождем", уверенно ведущим к намеченной светлой цели.

Возрождение рыночной экономики, с запоздалым призывом Бухарина "Обогащайтесь".

Усиление власти диктатора-демократа, который, железным кулаком сдерживая страсти, следит за постепенной демократизацией и вырабатывает законы, которые, со временем, заменят его диктатуру.

Ну, что такое "народные вожди" и их социалистические принципы, которыми они никак не могут поступиться, мы уже знаем. Да и сейчас видим, как они законы вырабатывают и постановления, правда, они, как говорят, все время "левеют и умнеют", но законы пока что не работают, хотя "вожди" и имеют юридическое образование. А сколько им "умнеть и леветь" нужно будет, этого никто не знает. Может, они вообще неспособные...

А способных, это тех, которые за рынок, за "человеческие лица", они вряд ли к утверждению законов допустят, потому как при рынке они не у дел останутся со своими способностями...

Да и наш российский закон, он ведь что дышло - куда повернешь...

Кто поворачивать будет?

"Диктатор-демократ" или "народный вождь", что одно и то же, по нашей национальной склонности к монархизму, - монарх, желателен просвещенный.

Так если уж нас все время тянет, господа, в эту сторону, так что же натуре насиловать? Ну, погоря-

чились однажды, так хоть сейчас образумимся, учтя прежние ошибки. Возродим монархию, хоть и наследников постреляли!

Ничего в ней страшного нет. Это все учебники истории нас запугали. Да, вот, опять же, господа, - Британия, Швеция, Дания, я не знаю, даже Япония, уж на что вообще дитя 21 века, а имеет своего божественного микадо и ничего...

Датчане и, как писал наш пролетарский классик поэзии, "прочие разные шведы" построили реальный съой социализм и при коронованных особах.

Ну, а уж нам и сам Бог велел, господа!

"Господа" - это не я придумал, это у Кабакова такое обращение в 1992 году обнаружилось, еще "тайный советник" и "его превосходительство", и Днепропетровск он в Катеринослав переименовал. Но не довел до логического завершения, но, может быть, на его Учредительном Съезде и выберут генерала Панаева новым самодержцем?

Так, может, мы сами, пока не поздно, ведь о переворотках редко, очень редко, господа, в газетах предупреждают, в основном в тайне держат или передадут на крайний случай, вспомните "Над всей Испанией...", и к власти в безоблачной Испании пришел генерал Франко, а о нем мало кто слышал.

А так мы сами, всенародным порядком или даже на предстоящем внеочередном съезде КПСС, выберем Михаила Горбачева, как лидера и инициатора... Ведь был же у нас уже прецедент после "смутного времени" - тоже выбрали Михаила I. Ну, сейчас, чтоб демократичность соблюсти, выдвинем альтернативные кандидатуры. Ельцина или Лигачева.

И установим конституционную монархию, не будем с абсолютизмом зарываться. Можем лозунг возродить - "Самодержавие. Православие. Народность". Против "народности" даже социалистический реализм ничего не имел. Православие сейчас - сами знаете. А Самодержавие - ведь все равно в народе наших вождей - царями называли, а уж они... (ни один царь воинское звание выше полковника не мог иметь). Так что духовность повысится, корни отыщем и возрождаться начнем.

Поскольку дворянство прежнее у нас ликвидировано как класс, то предлагаю образовать новое - партийное дворянство, со своими пайковыми привилегиями и губернскими предводителями, которые будут о его нравственности и культуре печься...

А уж экономику - экономистам, биологию - биологам, без всяких коммунистических методов. И Думу

образуем, и Правительство, и люди туда пойдут разночинные, уже умные, а не те, которые еще собираются учиться. Зачем им туда - они дворяне, не лыком шиты...

В Правительстве нам оставшиеся профессора пригодятся, да заклеянные ранее, приват-доценты и присяжные поверенные...

Народ будет спокоен, потому как царь есть - Михаил I (или II, но это как решат, продолжать нумерацию или нет), так вот царь о народе заботу проявляет, никаких новых революций не объявляет и никто на его место не посягает...

Вот тут-то и заковыка, ведь и на "помазанника" посягнуть могут и без революций... Ох, господа, и народонаселение же у нас! Вот в Великобритании что-то последнее время цареубийств не наблюдается, надо справки навести - как это им удастся. Но даже в противном случае, ведь Самодержавие останется. И будем петь "Боже, царя храни...", а то ведь соберутся скоро на свой съезд члены КПСС и запоют опять про "разрушение мира, до основанья"...

Как-то двусмысленно получится в современных условиях.

Вот такие размышления у меня произошли, господа, после прочтения этих двух произведений и наблюдения текущей жизни.

Евгений Крохмаль



КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

К о л к е р Юрий Иосифович родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института. Публиковать свои стихи начал с 1972 года. Помимо стихов пишет публицистические, критические, литературоведческие статьи. Эмигрировал в июне 1984 года. В настоящее время живет в Лондоне.

Р ж е в с к и й Леонид Денисович (1905–1986). Родился в Москве, закончил филологический факультет Московского университета и аспирантуру Московского Государственного педагогического института им. Ленина, где затем и преподавал до начала войны на филологическом факультете.

В результате перипетий войны после ее окончания оказался на Западе. До 1953 года работал для Института по изучению истории и культуры СССР - в Мюнхене. С 1953 по 1955 - главный редактор журнала "Грани". 1955–1963 - преподаватель Лундского университета в Швеции. Затем переезжает в США. 1963–1964 - профессор русского языка и литературы Оклахомского университета в г. Норман, штат Оклахома. 1964–1974 - профессор, а затем почетный профессор ("профессор-эмиртус") Нью-Йоркского университета. В 1975 году вышел в отставку, но до последних дней жизни продолжал регулярно читать лекции в Летней школе языков Норвичского университета, штат Вермонт.

В эмиграции Л. Ржевский сложился как замечательный писатель и литературовед, носитель классических традиций русской литературы. Далеко не полный перечень его произведений включает: роман "Между двух звезд" (изд-во им. Чехова, 1953); повесть "...показавшему нам свет" (изд-во "Посев", 1960); сборник из трех повестей "Двое на камне" (Товарищество зарубежных писателей, 1960); сборник повестей и рассказов "Через пролив" (Товарищество зарубежных писателей, 1966); роман "Две строчки времени" (изд-во "Посев", 1972); роман "Дина" (издание "Нового Русского Слова", 1979). В 1976 году вышел большой сборник литературоведческих работ Л. Ржевского "Прочтенье творческого

слова". Многочисленные его публикации появлялись в разных эмигрантских изданиях - "Гранях", "Мостах", "Новом журнале", "Континенте" и др.

С и н к е в и ч Валентина Алексеевна родилась в 1926 году в Киеве. Во время Второй мировой войны попала в Европу. С 1950 года живет в США, в настоящее время - в Филадельфии. По профессии - библиотечный работник. Автор нескольких поэтических сборников, в том числе "Огни", "Наступление дня", "Цветение трав". Редактирует поэтический альманах "Встречи" (начавшийся когда-то как "Перекрестки"). Много выступает по всей Америке с чтением стихов перед русской и англоязычной аудиторией. Автор многочисленных эссе о литературе и рецензий на русские и иностранные книги в эмигрантской и американской прессе (по-английски пишет для газеты "Филадельфия Инквайр").

Ш н е е р с о н Мария Анатольевна родилась в 1913 году в Екатеринославе. Окончила филологический факультет Ленинградского университета. В 1955 году защитила кандидатскую диссертацию. Свыше 25 лет работала педагогом и занималась изучением русской классической литературы XIX века. Ряд работ Марии Шнеерсон был опубликован в СССР. С 1979 года живет в США. С 1980 года ее статьи, посвященные современной русской литературе, публикуются в "Гранях", "Новом Русском Слове" и др. зарубежных периодических изданиях. В 1984 году вышла книга М. Шнеерсон "Александр Солженицын. Очерки творчества" (изд-во "Посев").



**Главный редактор
Е. А. Брейтбарт-Самсонова**

Адрес редакции журнала «Грани»:
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,
D 6230 Frankfurt a. M. 80
Тел. (069) 34 46 71

Непринятые рукописи не возвращаются.

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

ЖУРНАЛ "ПОСЕВ"

"Посев" - общественно-политический журнал, выходит за рубежом с 1945 года.

"Посев" участвует во внутрироссийской политической борьбе за право, свободу и справедливость. Эта задача определяет направленность журнала, который:

поддерживает российское освободительное движение во всех его проявлениях;

стоит на позициях национально-государственных интересов России;

участвует в обсуждении современных и будущих проблем российского государства (политических, экономических, социальных, идеологических, духовных);

стремится к выявлению в России конструктивных сил, осознающих необходимость оздоровительных перемен во всех областях жизни страны и готовых к активному участию в их проведении.

С 1976 года журнал "Посев" выходил также в виде ежеквартального издания, предназначенного специально для переправки в страну и распространения среди советских граждан за рубежом. С 1990 года сливаются два издания - ежемесячный "Посев" и его кварталное издание. "Посев" в новой форме будет выходить каждый второй месяц на 160 страницах.

